

Цветков Сергей Александр Первый

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ
АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

Часть первая

Бабушкин парадиз

Вдали от трона взрос, еще не знаешь ты

Сей чести пагубной, заманчивой мечты.

Ты самовластия не испытал отравы,

И голос не прельщал тебя льстецов

лукавый.

"Афалия", трагедия, взятая

из Священного Писания, г. Расина.

Пер. с фр. ижживением Н. Новикова

и компании. Москва, 1784

I

Дай Бог кому детей родить,

тому б их и взрастить!

Русская пословица

1777 год открыл самую веселую и счастливую пору екатерининского царствования.

Победоносно закончились польская и турецкая войны, влияние России на европейские дела неуклонно возрастало, Вольтер и Гримм превозносили до небес государственную мудрость "святой Катерины Петербургской". Дворянство, стряхнув оцепенение, вызванное ужасами пугачевщины, бурно наслаждалось приятностями жизни.

Двор и столица задавали тон. Сменялись фавориты и фавориты фаворитов. Потемкин уступил на время свое место блестящему Завадовскому и вновь вернул расположение императрицы. Вельможи обменивались церемонными поклонами и обескураживающими оплеухами. Камер-пажи и фрейлины, получив свою порцию розог, шли разыгрывать чувствительные пасторали на эрмитажных собраниях. Вист, фараон и макао, словно смерч, уносили деревеньки и мужичков. Оглушительно хлопали пробки и пистолеты. На российском Парнасе после кончины Сумарокова гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный секретарь государыни Василий Петров, гордившийся званием "карманного ее величества стихотворца". С успехом шла "Дидона" Княжнина. Богданович, написав "Душеньку", пребывал "на розах". Никому не известного Державина выпустили из гвардии в статскую службу, признав неспособным к военной. Фонвизин путешествовал по Франции и в письмах к своему другу генералу П. И. Панину клял парижскую нечистоту, "какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно".

Этот год, казалось, подал надежду и на восстановление мира в семье императрицы.

Сильное душевное потрясение, которое испытал великий князь Павел Петрович после смерти первой супруги*, вновь сблизило его с матерью**. Екатерина поспешила прописать сыну лучшее средство от меланхолии женитьбу.

"Я начала с того, - рассказывает она в своих "Записках", - что предложила путешествия, перемену мест, а потом сказала: мертвых не воскресить, надо думать о живых. Разве оттого, что воображали себя счастливым, но потеряли эту уверенность, следует отчаиваться в возможности снова возвратить ее? Итак, станем искать эту другую..."

- Кто она, какова она? - стал расспрашивать заинтересованный Павел. Брюнетка, блондинка, маленькая, большая?

- Кроткая, хорошенькая, прелестная, - отвечала императрица, - она именно такая, какую можно было желать: стройна, как нимфа, цвет лица смесь лилии и розы, прелестнейшая кожа в свете, высокий рост, с соразмерной полнотой, и легкость поступи, одним словом,

сокровище: сокровище приносит с собою радость...

Сокровищем, о котором говорила Екатерина, была вюртембергская принцесса София-Доротея. Павел отправился на встречу с ней в Берлин. Поездка не разочаровала его. Вскоре императрица получила от него письмо:

"Я нашел невесту свою такову, какову только желать мысленно себе мог: недурна собою, велика, стройна, не застенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что если она сделала действие в сердце моем, то не без чувства и она с своей стороны осталась... Вы желали мне жену, которая бы доставила нам и утвердила домашнее спокойствие и жить благополучно. Мой выбор сделан..."

14 августа 1776 года Павел вернулся в Царское Село, а спустя две недели туда же приехала и София-Доротея, которая, приняв Православие, получила имя Марии Федоровны. 26 сентября состоялось ее бракосочетание с великим князем, и в марте следующего года она почувствовала себя беременной.

Екатерину весьма занимал вопрос о поле ребенка, которого носила невестка. Она вообще предпочитала мальчиков девочкам, но на этот раз ее интерес был гораздо серьезней, чем простое любопытство. Мало кто догадывался об истинных намерениях императрицы, и меньше всех - счастливая великокняжеская чета. Екатерина уже вынашивала мысль о наследнике, настоящем наследнике своего дела. Павел, не скрывавший своего недовольства существующим порядком правления, раздражал честолюбивую императрицу, считавшую себя продолжательницей петровских преобразований. Рождение внука, которого она могла бы выпестовать, вылепить по своему образу и подобию, с тем чтобы потом передать ему трон, минуя сына, казалось ей подходящим выходом из сложившегося положения. Отсутствие в то время ясного закона о престолонаследии, который обеспечивал бы твердый порядок передачи власти, облегчал ей исполнение задуманного.

Лишь одно событие в этом году нарушило спокойное течение петербургской жизни. 10 сентября в десять часов утра Нева ринулась на столицу. Весь Петербург, кроме Литейного и Выборгской стороны, скрылся под водой, поднявшейся почти на четыре метра. По улицам плавали на шлюпках, и обер-полицмейстер Н. И. Чичерин приплыл в яlike от своего дома у Полицейского моста прямо в Зимний дворец. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего дворца через каменную набережную; другое судно было отнесено ветром от берега в лес. В Коломне и Мещанской волнами и ветром разнесло больше ста домов, одна изба переплыла на противоположный берег Невы. Пострадали знаменитые сады и рощи Петербурга. В "Академических ведомостях" после наводнения было напечатано объявление о продаже с одной дачи на Петергофской дороге двух тысяч мачтовых сосен, вырванных с корнем бурей. Число человеческих жертв не поддавалось учету. На взморье смыло острог, в котором было до трехсот человек. К вечеру, когда вода схлынула, кругом города на одиннадцать верст находили в полях трупы людей и животных.

В заботах о восстановлении разрушенной столицы прошла вся осень. Наконец радость вновь вернулась в Зимний. 12 декабря, за час с небольшим до полудня, великая княгиня Мария Федоровна разрешилась от бремени сыном.

Сейчас же о сем радостном событии жителям столицы было возведено 201 пушечным выстрелом с Петропавловской крепости и Адмиралтейства, а в придворной большой церкви отправлен с коленопреклонением благодарственный молебен. В шесть часов вечера придворные принесли императрице поздравления.

Екатерина сияла. 14 декабря она написала веселое письмо Гримму, своему *souffre-douleur**, с которым привыкла делиться своими впечатлениями.

"Я бьюсь об заклад, что вы вовсе не знаете того господина Александра, о котором я буду вам говорить. Это вовсе не Александр Великий, а очень маленький Александр, который родился 12-го этого месяца в десять и три четверти часа утра. Все это, конечно, значит, что у великой княгини только что родился сын, который в честь святого Александра Невского получил торжественное имя Александра и которого я зову господином Александром... Но, Боже мой, что выйдет из этого мальчугана? Я утешаю себя тем, что имя оказывает влияние

на того, кто его носит; а это имя знаменито. Его носили иногда матадоры... Жаль, что волшебницы вышли из моды; они одаряли ребенка чем хотели; я бы поднесла им богатые подарки и шепнула бы им на ухо: сударыни, естественности, немножко естественности, а уж опытность доделает все остальное".

Так с самого рождения судьба определила Александру самую неблагодарную роль - роль человека, на которого другие возлагают свои надежды.

20 декабря состоялось крещение великого князя. В большую церковь Зимнего дворца новорожденного на глазетовой подушке внесла герцогиня Курляндская (урожденная княжна Евдокия Борисовна Юсупова). Крестной матерью Александра была сама императрица, а заочными восприемниками - император Священной Римской империи Иосиф II и прусский король Фридрих II Великий. Таким образом, будущий творец Священного союза уже с самой колыбели оказался связан духовными узами с монархами Австрии и Пруссии.

Торжества по случаю рождения Александра продолжались всю зиму. В феврале 1778 года Екатерина писала Гримму:

"До поста осталось каких-нибудь две недели, и между тем у нас будет одиннадцать маскарадов, не считая обедов и ужинов, на которые я приглашена. Опасаясь умереть, я заказала вчера свою эпитафию".

А виновник веселья был совершенно спокоен: спал, просыпаясь, брал грудь и снова засыпал.

Екатерина II - Гримму, из Зимнего дворца, в марте:

"Что касается господина Александра, то о нем и речи нет; как будто бы его не было. Ни малейшего беспокойства с тех пор, как он явился на свет... Это принц, который здоров, вот и все... Боюсь за него только в одном отношении, но об этом когда-нибудь скажу вам на словах: domeкайте".

Гримму, посвященному в личные дела императрицы, было легко догадаться, о чем идет речь. Екатерина опасалась тех, кого она именovala "m-r et m-me de Secondat"*** или "die schwere Bagage"***, а проще говоря - родителей Александра, великого князя Павла Петровича и великую княгиню Марию Федоровну, которые могли затруднить ей выполнение плана по воспитанию наследника, "будущего венценосца", как она откровенничала в своей заграничной корреспонденции.

Чтобы устранить это препятствие, она признала Павла Петровича и Марию Федоровну неспособными дать воспитание сыну и взяла все родительские заботы на себя. Александр был изъят из родительских покоев и помещен в одной из комнат на половине императрицы.

Екатерина приступила к делу воспитания внука во всеоружии просветительской философии и передовых педагогических теорий того времени. Руссо и Локк были заново проштудированы ею, чтобы получить из их идей квинтэссенцию педагогической мудрости. Разум и природа были призваны в главные наставники Александра с целью воспитать его в принципах естественной добродетели.

Основное внимание Екатерина сосредоточила на укреплении здоровья внука и приучении его с малолетства к перенесению всяческих физических невзгод, как того требовали Локк и Руссо. Сразу после крестин Александра поместили в большой прохладной комнате, где температура не превышала 15 градусов; помещение ежедневно проветривали. Ребенок лежал на кожаном матрасе в железной кроватке на ножках, во избежание поползновений нянек покачать его. Взрослые не должны были понижать голоса, находясь в комнате, которая к тому же была обращена окнами к Адмиралтейству, чтобы заранее приучить ухо младенца к пушечным выстрелам. Императрица заставляла Александра спать не в определенные часы, а по обстоятельствам, брать грудь не только постоянной кормилицы*, но и других женщин. Купали его ежедневно - сначала в тепловатой, потом и в холодной воде; летом, в жару, - так по два-три раза. Александру так полюбились купания, что он не мог равнодушно смотреть на воду: сразу просился в нее. Весной его стали выносить на воздух без чепчика, сажали на траву, укладывали спать в тени на подушке. Строго-настрого было запрещено пеленать ребенка и надевать на него чулки; одежду

Александра составляли рубашечка и жилетка, не стеснявшие движений.

В начале 1779 года Екатерина подробнее изложила Гримму свою систему воспитания:

"Я намерена держаться неизменно одного плана и вести это дело по возможности проще; теперь ухаживают за его телом, не стесняя этого тела ни швами, ни теплом, ни холодом и отстраняя всякое принуждение. Он делает что хочет, но у него отнимают куклу, если он с ней дурно обращается. Зато так как он всегда весел, то исполняет все, что от него требуют; он вполне здоров, силен, и крепок и гол; он начинает ходить и говорить. После семи лет мы пойдем дальше, но я буду очень заботиться, чтобы из него не сделали хорошенькой куклы, потому что не люблю их".

Между тем в великокняжеской семье ожидалось прибавление. Императрица смотрела на этот факт педагогически - с точки зрения пользы для любимого внука: "Мне все равно, будут ли у Александра сестры, но ему нужен младший брат".

Она снова угадала. 27 апреля 1779 года Мария Федоровна родила мальчика.

Екатерина II - Гримму, из Зимнего дворца:

"Этот чудак заставил ожидать его с половины марта и, двинувшись наконец в путь, упал на нас, как град, в полтора часа... Но этот послабее старшего брата, и, чуть коснется его холодный воздух, он прячет нос в пеленки, он ищет тепла..."

В то время Екатерина уже задумала свой греческий проект (завоевание Константинополя и раздел Турецкой империи), в ознаменование чего новорожденный получил имя Константин. Памятная медаль, выбитая в честь его рождения, недвусмысленно давала понять, какие надежды возлагала императрица на младшего брата Александра: государыня изображена на ней в лавровом венке; рядом с ней фигуры Веры, Надежды и Любви - последняя с младенцем на руках. Вдали - собор Святой Софии и дата рождения Константина. Объясняя аллегорию, Екатерина говорила: "Константин мальчик хорош; он через тридцать лет из Севастополя поедет в Царьград. Мы теперь рога ломаем**, а тогда уже будут сломаны и для него лучше". Она думала поделить Турецкую империю с Англией, Францией и Испанией, "а остатка довольно для великого князя Константина Павловича, pour un cadet la maison***.

Впрочем, первое время она была разочарована: "Это слабое существо: криклив, угрюм, никуда не смотрит, избегает света. Я за него не дам десяти копеек; я сильно ошибусь, если он останется жив". К счастью, императрица ошиблась, Константин, в отличие от греческого проекта, не только остался жив, но вскоре резвостью и полнотой превзошел старшего брата. Когда они оба чуть подросли и смогли играть друг с другом, Константин, по желанию императрицы, перекочевал в комнату брата и стал с ним неразлучен. Но Александр все равно остался для Екатерины любимцем*. И она продолжала настойчиво проводить в жизнь свой план воспитания, невзирая на то что это вызывало нарастающую раздражительность в Павле. Она как могла старалась привязать Александра к себе: мастерила с ним разные игрушки, принимала участие в его забавах или просто оставляла его рядом с собой во время занятий государственными делами, предоставляя ему заниматься чем вздумается.

В феврале 1779 года императрица уехала в Могилев на встречу с Иосифом II. Там, скупая по внуку, она принялась составлять для него небольшую "азбуку изречений".

Екатерина II - Гримму, 14 мая:

"Все видевшие ее отзываются о ней очень хорошо и прибавляют, что это полезно не для одних детей, но и для взрослых. Сначала ему говорится без обиняков, что он, малютка, родился на свет голый, как ладонь, что все так родятся, что по рождению все люди равны и только познания производят между ними бесконечное различие, и потом, нанизывая одно изречение за другим, как бисер, мы переходим от предмета к предмету. У меня только две цели в виду: одна - раскрыть ум для внешних впечатлений, другая - возвысить душу, образуя сердце".

Так появилась на свет "Бабушкина азбука". Она состояла из нескольких сотен изречений, затрагивающих разные стороны жизни, но в основном нравоучительных, вроде следующих: "Праздность есть мать скуки и многих пороков. Честность есть неоцененное

сокровище. Законы можно назвать способами, коими люди соединяются и сохраняются в обществе и без которых бы общество разрушилось. Платон Афинский советовал рассерженному человеку смотреться в зеркало. Римский император Тит плакал, в который день не учинил какого ни на есть добра. Спросили у Солона: как Афины могут добро управляемы быть? Солон отвечал: не иначе как тогда, когда начальствующие законы исполняют". К изречениям были добавлены "Выборные российские пословицы": "Всеу законы писать, когда их не исполнять"; "Красна пава перьем, а человек - ученьем"; "Милость - хранитель государства" и т. п.

"Бабушкина азбука" стала настольной книгой не только Александра, но и множества других русских детей. В 1781 году она была издана в Петербурге: тираж в 20 тысяч экземпляров разошелся за две недели!

Результаты бабушкиного воспитания сказались очень скоро. С малолетства введенный в круг основных жизненных понятий, Александр рано начал думать о смысле жизни вообще и своей в частности. Его детский ум тревожили недетские вопросы. Уже в три с половиной года он настойчиво требовал ответить ему, "отчего люди на свете и зачем он сам явился на свет". Сердце его начало формироваться так же рано, как и ум. Он был начисто лишен свойственной детям неосознанной жестокости. "У него слезы на глазах, - умилялась императрица, - когда он думает или видит, что у него ближний в беде".

Между тем Павел, замечая, что бабушкина педагогика все больше отдаляет от него сыновей, стал выказывать ей свое неудовольствие. Семейная ссора на этот раз была улажена тем, что императрица отправила великокняжескую чету в путешествие за границу. 14 сентября 1781 года Павел Петрович и Мария Федоровна выехали из Царского Села. Под именем графа и графини Северных они посетили Австрию и Италию и на месяц остановились в Париже, где были на приемах у Людовика XVI и Марии-Антуанетты, встречались с Даламбером и Мармонтелем и просили Бомарше прочесть для них "Женитьбу Фигаро", о которой говорила вся Европа.

Благодаря этой поездке Александр на целых два года оказался отторгнут от родителей и именно в таком возрасте, когда в нем формировались задатки характера и личности. Его развитие шло очень быстро. Юный великий князь проявлял редкую любознательность и неподдельный интерес к жизни дворцовой прислуги. Он бродил по людской, кухне, подсобным помещениям и просил научить его готовить, красить, обивать стены обоями, рубить дрова, столярничать, ухаживать за лошадьми. Едва выучившись читать, поглощал книги запоем. Вскочив поутру с постели, он говорил своим няням: "Я теперь хочу тотчас почитать, а то после мне больше захочется гулять, чем читать, и если я теперь не почитаю, то день у меня пропадет".

На столе у него стоял подаренный Екатериной глобус, и, встретив в книге название города или страны, он сразу искал его на нем.

Екатерина II - Гримму, 11 ноября 1782 года, из Зимнего дворца:

"На днях он узнал про Александра Великого; он попросил лично с ним познакомиться и совсем огорчился, узнав, что его уже нет в живых. Он очень о нем сожалеет".

Ему же, 17 ноября:

"Слушайте, не думайте воображать, что я хочу сделать из Александра разрубателя гордиевых узлов. Ничего подобного... Александр будет превосходным человеком, а вовсе не завоевателем: ему нет надобности быть им".

Пользуясь страстью Александра к чтению, императрица продолжила пополнение его детской библиотеки книжками собственного сочинения. В 1783 году она написала для обоих внуков сказки о царевичах Хлоре и Февее аллегорическое изложение своей педагогической системы.

Царевич Хлор красив, умен, не по летам добр, благонравен, смел, весел нравом, учтив и благопристоен (портрет, быть может, чересчур отвлеченно-идеальный, но Александр мальчик понятливый). Один киргизский хан похищает его в свое кочевье и, убедившись в его великом разуме, заставляет искать розу без шипов (сиречь Добродетель, доставляющую

человеку полное, ничем не отравляемое наслаждение). Жена хана, Фелица, очарованная Хлором, дает ему в спутники своего сына - Рассудок. Из множества дорог, ведущих к цели, они выбирают прямую, хотя и самую трудную, и достигают горы, к вершине которой ведет крутая и каменистая тропинка. Честность и Правда помогают путникам преодолеть все трудности на пути, и на вершине Хлор находит розу без шипов.

Февея Красное Солнышко в детстве не пеленали, не качали, не кутали; игрушки сообщили ему познания обо всем окружающем; в болезнях он был терпелив, летом и зимой много гулял, ездил верхом. Царевич вырос добрым, жалостливым, щедрым, учтивым и приветливым, говорил только правду. В отрочестве он жил в полном послушании у своих родителей, потом женился, вступил на трон и мудрым правлением заслужил славу и любовь народа.

Шестилетний Александр, как губка, впитывал в себя наставления, содержащиеся в бабушкиных сказках. Он уже мыслит самостоятельно и умеет делать выводы из услышанного, недаром Екатерина однажды обмолвилась, что он "сам себя воспитывает".

II

Будь на троне человек.

Г. Р. Державин.

На рождение на Севере порфирородного отрока

В сентябре 1783 года умерла Софья Ивановна Бенкендорф, воспитательница Александра. Императрица решила не подыскивать новую няню, а перейти к следующему этапу воспитания великих князей: "Время пришло, чтобы от них отнять женский присмотр".

Она сама подобрала штат наставников. Законоучителем и духовником Александра и Константина был назначен протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский. Это был выпускник Киевской Духовной академии, долго живший за границей. По возвращении в Россию Самборский многих шокировал своим европеизмом: он брил бороду и носил светский костюм. Но государыня из внимания к долгому пребыванию протоиерея за границей простила ему это извинительное в ее глазах отступление от православных канонов.

Самборский отнесся к своим новым обязанностям чрезвычайно серьезно: говорил жене, что готовится к своему педагогическому поприщу, как к духовному подвигу - ведь его деятельность отразится на всем человечестве! Тем не менее, будучи сам лишен духа Православия, он не сумел привить его и своему воспитаннику (Александр позднее вспоминал: "Я был, как и все мои современники, не набожен"). Христианство он понимал в духе просвещенных прелатов того времени - как либеральный гуманизм, и только; учил великих князей "находить во всяком человеческом состоянии своего ближнего. Тогда никого не обидите, и тогда исполнится закон Божий". Его наставления имели оттенок довольно плоского морализаторства и совершенно не затрагивали глубинных потребностей духа.

Генерал-майор Александр Яковлевич Протасов состоял при великом князе Александре в звании придворного кавалера, то есть воспитателя. Он осуществлял постоянный надзор за поведением воспитанника и жил в соседней со спальней Александра комнате. Александр Яковлевич был верным сыном Православной Церкви и хранителем дворянских преданий и русских традиций; к западным модным влияниям он относился скептически. Будучи человеком строгих правил, порядочным, но недалеким, он имел значительное влияние на Александра до тех пор, пока тот не вышел из отроческого возраста.

Учить великих князей русской словесности, истории и нравственной философии был приглашен Михаил Никитич Муравьев, весьма образованный человек и известный писатель либерально-политического и сентиментально-дидактического направления. Он был одним из немногих учителей, кто старался превратить учение в целенаправленный труд. По его требованию великие князья конспектировали прочитанное, Александр, кроме того, вел журнал занятий: судя по этим записям, его первым упражнением в русском языке был отрывок из сочинения самого Муравьева "Обитатель предместия"; затем идет статья "О славянах и начале Руси", потом "Письмо Плиния к Тациту". В конце тетради заметен

некоторый успех семилетнего ученика в правописании и слоге.

Естественнонаучный цикл преподавали выдающиеся ученые того времени: Паллас - "натуральную историю", Крафт - экспериментальную физику; изучением математики руководил полковник Массон.

Наконец, общий надзор за поведением и здоровьем великих князей был поручен генерал-аншефу графу Николаю Ивановичу Салтыкову. Это был типичный царедворец екатерининского времени, угодливая посредственность и добряк, который твердо знал одно - как жить при дворе; делал, что говорила жена, подписывал, что подавал секретарь. Впрочем, его настоящей партитурой в этом педагогическом оркестре, по выражению Массона, было предохранять великих князей от сквозняка и засорения желудка.

Екатерина II - Гримму, зима 1784 года:

"Господа Александр и Константин между тем перешли в мужские руки, и в их воспитании установлены неизменные правила; но они все-таки приходят прыгать вокруг меня: мы сохраняем прежний тон".

Правилами, о которых говорила императрица, были наставления о воспитании великих князей, написанные ею для Салтыкова и врученные ему 13 марта 1784 года при особом рескрипте. Этот новый педагогический документ состоял из семи разделов: 1) здоровье и его сохранение; 2) подкрепление умонаклонения к добру; 3) добродетель и то, что от детей требуется; 4) учтивость; 5) поведение; 6) знание; 7) обхождение наставников с воспитанниками. Обучение музыке и "виришам" не входило в этот курс. "Музыке и виришам учить не для чего, - написано в наставлении, - тем и другим много времени теряется, дабы достигнуть искусства".

Как видно из этого перечня, роль собственно научного знания в воспитании Александра была невелика, оно рассматривалось Екатериной в духе того времени - лишь как средство для познания природных способностей учащихся, приучения их к труду и отвращения от праздности. На первое место выдвигалось знание людей и жизни, благоволение к роду человеческому, снисхождение к ближним, познание вещей, каковы они должны быть и каковы они есть на самом деле. Стародум в "Недоросле" говорит об этом так: цель всех знаний человеческих - благонравие; просвещение возвышает одну добродетельную душу, наука же в развращенном сердце есть лютное оружие делать зло.

Особо предписывалось уделять по несколько часов в день на "спознание России во всех ее частях". Для этого использовались карты российских губерний с описанием земли, растений, животных, торговли и промыслов, населяющих их народов, их одежды, нравов, обычаев, веры, законов и языка; к картам прилагались рисунки природных и архитектурных достопримечательностей, схемы дорог и т. д.

"Историю русскую им знать нужно, и для них сочиняется", - говорилось в наставлении. Этим Екатерина занялась сама, написав на досуге "Записки касательно российской истории" (популярных исторических книг тогда еще не было). Из-под ее пера вышло вполне добросовестное сочинение. Императрица ко всякому делу подходила серьезно. Она изучила летописи, составила их свод, старалась отыскать в исторических событиях нравственный смысл, в котором тогдашние западноевропейские историки и философы отказывали России*, внушить внукам любовь к родной истории. Даже темным явлениям русской жизни она умела придать какой-то светлый, отрадный колорит - свойство, порочное в историке, но полезное и, более того, необходимое в педагоге.

Итак, учителя и программа обучения были налицо. Не хватало главного учителя.

6 апреля 1754 года в швейцарском городе Ролле (Ваадтский кантон) в семье местных дворян Деларпазов (De l'Arpaz) родился мальчик. Г-н Деларпаз, старый служака, дал ему два имени - Фредерик-Сезар, в честь двух своих любимых героев - прусского короля Фридриха II и Юлия Цезаря. Фамилию мальчик выбрал себе сам, когда вырос: он называл себя на французский манер - Деларп, Деларгарп или Лагарп (De l'Harp, De la Harpe, Laharpe); частица "де" тщательно отбрасывалась им в период революции и была снова присоединена к фамилии после окончания террора. В России его называли Петром Ивановичем Деларгарпом,

когда он был в милости, и просто Лагарпом, когда он подвергся опале и лишился орденов.

Фредерик-Сезар с детства пристрастился к чтению. Он рос восторженным почитателем античности. Гальденштейнская семинария, куда он поступил четырнадцати лет, укрепила в нем любовь к древности. Слава этого привилегированного учебного заведения гремела по всей Швейцарии. Внутренняя организация семинарии была слепком Римской республики: здесь были свой форум, сенат, свои квесторы, трибуны, консулы; воспитанники составляли народ, который объединялся в республику и избирал должностных лиц.

Немудрено, что Лагарп покинул семинарию убежденным республиканцем и крайним радикалом. "Невозможно и определить, - писал французский историк Ленотр, - какая доля ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции! Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего "тирана". Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Человеческая жизнь не в праве была рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам". Доморощенные "сенаторы" Гальденштейнской семинарии воспитали будущего диктатора Гельветической республики.

Лагарп довершил свое образование на философском и юридическом факультетах в Женевском и Тюбингенском университетах.

Получив в двадцать лет степень доктора прав, Лагарп устроился адвокатом при высшей апелляционной камере в Лозанне. В городе существовало литературное общество, проповедовавшее идеи энциклопедистов; среди его членов были двое русских - князья Михаил и Борис Голицыны. Целью общества было изыскание совместными силами истины в области теоретической и нравственной философии, литературы и изящных искусств.

Чтобы вступить в общество, кандидат должен был заполнить следующую анкету:

1. Любите ли вы всех людей без различия их верований, их религии, их образа мыслей и искренне ли желаете всему человечеству добра и нравственного самоусовершенствования?

2. Признаете ли, что никто не должен подвергаться за свои мысли и верования бесславию, преследованиям и наказаниям?

3. Обещаете ли искренне трудиться над отысканием истины и любите ли ее ради ее самой? Готовы ли, найдя истину, с радостью воспринять ее и с полным беспристрастием сообщить ее другим? И т. д.

Вступление в подобного рода общества обычно означает, что человек превратился в ходячую либеральную книжку; в случае с Лагарпом можно добавить - в чрезвычайно говорливую либеральную книжку.

Фигуры профессиональных диссидентов кажутся рельефными только на фоне косности и тупости властей предрежащих. В то время Ваадтский кантон находился под властью двухсот бернских правителей, о которых лозаннский судья говорил Вольтеру, в последние годы жизни обосновавшемуся в окрестностях города: "Господин Вольтер, я слышал, что вы писали против Бога и религии. Это дурно, но я уверен, что Бог вас простит в избытке Своего милосердия. Но берегитесь написать что-нибудь против бернских господ: они не простят вам этого никогда".

Столкновение пламенного идеалиста, горевшего любовью к истине и человечеству, с этими господами было неизбежно. Вскоре судья апелляционной камеры счел нужным предупредить Лагарпа и все литературное общество:

- Мы не потерпим новаторского духа, и вы должны помнить, что вы - наши подданные.

Лагарп, не дрогнув, отвечал:

- А мы не признаем другой власти, кроме республики и законов.

Все это, конечно, означало, что он более не адвокат апелляционной камеры.

Лагарп подумывал об эмиграции в только что освободившиеся из-под власти Англии Соединенные Штаты Америки, когда судьба направила его шаги в прямо противоположную сторону. Гримм от имени Екатерины II попросил его сопровождать одного молодого русского офицера в поездке в Италию. Этот офицер был брат генерала Александра Дмитриевича Ланского, тогдашнего фаворита императрицы. На Лагарпа возлагалась

обязанность излечить молодого человека от губительной любовной страсти к некоей даме. Лагарп справился с этим поручением блестяще - от пагубной страсти не осталось и следа. Ланской в восторге пригласил его в Петербург, чтобы лично выразить свою признательность. В то же время императрица написала Гримму: "Я желаю, чтобы Лагарп сопровождал своего спутника до Петербурга, где, без сомнения, получит приличное назначение".

В начале 1783 года Лагарп был уже в Петербурге. Однако обещанного назначения ему пришлось ждать довольно долго. Лишь 28 марта 1784 года Екатерина сообщила Гримму, что швейцарец будет состоять при великом князе Александре "с особым приказанием говорить с ним по-французски; другому поручено говорить по-немецки; по-английски он уже говорит"*. Но еще в мае она писала: "Мы держим г-на Лагарпа про запас, а покамест он гуляет".

Фактически Лагарпу предлагали место гувернера - пусть и гувернера всея Руси, но все же только гувернера. Честолюбие молодого республиканца было уязвлено. 10 июня он сделал решительный шаг и отослал записку на имя государыни с просьбой назначить его наставником великих князей и изложением предметов, которые он мог бы преподавать: география, астрономия, хронология, математика, история, нравоучение, гражданское законодательство, философия.

В томительном ожидании проходили неделя за неделей, ответа на мемуар Лагарпа не было. Он уже начал подыскивать себе место воспитателя детей одного ирландского лорда. Но императрица наконец решилась. В сентябре она написала Гримму: "Я полагаю, вы знаете, что Лагарпа определили к Александру. Он находит своего воспитанника даровитым".

К моменту, когда Лагарп приступил к занятиям с Александром, великий князь не знал почти ни слова по-французски, а швейцарец весьма плохо понимал по-русски и совсем не говорил по-немецки. С этой первой вставшей перед ним педагогической задачей Лагарп справился блестяще. Он рисовал различные предметы, Александр писал их русские названия, а наставник подписывал внизу их французский перевод. Мало-помалу они начали разговаривать друг с другом; их встречи становились все чаще - сначала раз в неделю, потом раз в день, затем два раза в день.

Лагарп, по его собственному признанию, был преисполнен ответственности перед великим народом, которому готовил властителя. Он начал читать и в духе своих республиканских убеждений объяснять великим князьям греческих и латинских писателей, английских и французских историков и философов. Сохранилось двенадцать томов его лекций - обширнейший курс во славу разума, блага человечества и природного равенства людей и в посрамление деспотизма и рабства во всех их видах. Верный себе, подробнее всего он остановился на римской истории. Лагарп исходил из того, что будущий правитель не должен быть ни физиком, ни математиком, ни юристом, ни вообще каким-нибудь узким специалистом; он должен быть прежде всего честным человеком и просвещенным гражданином. История лучше всего развивает гражданское чувство и политическую нравственность. Поэтому исторические явления и события он рассматривал не как факты, а с точки зрения их соответствия требованиям разума. Он не разъяснял воспитанникам ход и строй человеческой жизни, а на примере тщательно отобранных явлений полемизировал с исторической действительностью, которую учил не понимать, а презирать.

Лекции Лагарпа, написанные и переданные простым и вместе с тем изящным слогом, были для юного Александра не только эстетическим лакомством, политическими и моральными сказками, наполнявшими детское воображение волнующими картинами и образами. Лагарпу нельзя отказать в благородной искренности его убеждений. Когда великие князья подросли настолько, чтобы не только чувствовать, но и понимать идеи швейцарца, они со всей пылкостью юного сердца привязались к своему учителю. Молодость никогда не забывает тех, кто дает ей первые уроки любви и ненависти. "Я всем ему обязан", всякий раз повторял Александр позднее, когда речь заходила о Лагарпе. Последний в свою очередь отзывался о своем воспитаннике в самых восторженных словах, находя в нем

драгоценные задатки высоких доблестей и необыкновенных дарований. "Ни для одного смертного природа не была столь щедра, - писал Лагарп. - С самого младенчества замечал я в нем ясность и справедливость в понятиях". До последнего дня своей жизни он считал, что Александр - исключительная личность, которая является раз в тысячу лет.

Их отношения вскоре приобрели характер искренней и нежной дружбы. Александр запросто навещал своего учителя. Однажды новый лакей Лагарпа не узнал великого князя и оставил ждать в приемной, сказав, что его барин занят. Александр терпеливо просидел больше часа. Когда сконфуженный Лагарп стал перед ним извиняться, он протестующе прервал его:

- Один час ваших занятий стоит целого дня моего, - и наградил лакея.

С юношеской наивностью он думал, что все окружающие разделяют его преклонение перед душевными качествами его учителя.

Действительно, вслух преподавание Лагарпа пока что хвалили, а в нем самом признавали умного, достойного, благородно мыслящего человека, истинного и честного друга свободы (подобная терминология была в большом ходу при дворе Екатерины). Даже те, кто жалел, что он внушает будущему государю ложные идеи о равенстве и народном правлении, признавали, во всяком случае, чистоту его побуждений и называли Лагарпа Аристотелем новейшего Александра.

Конечно, многое в принятом двором тоне по отношению к наставнику великих князей зависело от императрицы, а она не скупилась на похвалы. Каждая страница лекций Лагарпа внимательно просматривалась ей, и многие из них удостаивались ее одобрения.

- Начала, которые вы проводите, укрепляют душу ваших питомцев, говорила Екатерина швейцарцу. - Я читаю ваши записки с величайшим удовольствием и чрезвычайно довольна вашим преподаванием.

Вскоре, однако, обвинения против него получили более основательную почву.

14 июля 1789 года восемьсот-девятьсот парижан и двое русских взяли Бастилию. Русскими были давние знакомые Лагарпа по лозаннскому литературному обществу, братья Голицыны, участвовавшие в штурме с фузеями в руках. Как известно, в крепости оказалось всего семь узников - двое сумасшедших, один распутник и четверо подделывателей векселей. (Еще один заключенный - маркиз де Сад - был переведен из Бастилии в дом для умалишенных за несколько дней до падения знаменитой тюрьмы, иначе бы и он был освобожден как "жертва королевского произвола".*)

В обоих полушариях взятие Бастилии произвело огромное впечатление. Всюду, особенно в Европе, люди поздравляли друг друга с падением знаменитой государственной тюрьмы и с торжеством свободы. Генерал Лафайет, участник войны за независимость в Северной Америке и командующий Национальной гвардией в первый период революции, послал своему американскому другу Вашингтону ключи от ворот Бастилии. Из Сан-Доминго, Англии, Испании, Германии слали пожертвования в пользу семейств погибших при штурме. Кембриджский университет учредил премию за лучшую поэму на взятие Бастилии. Архитектор Палуа, один из участников штурма, из камней крепости изготовил копии павшей тюрьмы и разослал их в научные учреждения многих европейских стран. Камни из стен Бастилии шли нарасхват: оправленные в золото, они появились в ушах и на пальцах европейских дам.

В Петербурге, в Зимнем дворце, падению грозной крепости радовались почему-то особенно бурно. Братья Голицыны сделались героями дня. При дворе свободно распевали "Карманьолу", за которую в Италии вскоре стали сажать в тюрьму. В Вене, Неаполе, Лондоне власти преследовали французов просто за их национальность, а в северной столице спокойно жили родственники коноводов революции**, которые являлись даже ко двору.

Лагарп начал терять высочайшее доверие с разгаром революции, когда французские дворяне-эмигранты стали находить все более радушный прием в Петербурге. На первый случай императрица распорядилась вынести из своей галереи бюсты Вольтера и Фокса (лидера радикального крыла вигов) последнего за то, что он противился войне с Францией.

Цесаревич Павел Петрович перестал здороваться и вообще разговаривать с Лагарпом и демонстративно отворачивался при встрече с ним.

Казнь Людовика XVI и приезд в Петербург графа д'Артуа (брата графа Прованского - будущего Людовика XVII) оказали решительное влияние на образ мыслей императрицы. Получив известие о казни короля, Екатерина пришла в сильнейшее волнение. Дворцовые республиканцы притихли, "Карманьолы" и "Марсельезы" больше не было слышно. 8 февраля 1793 года Россия прервала всякие сношения с Францией. Высочайшим указом предписывалось не терпеть в империи тех французов (разумея под ними учителей и учительниц), которые признают революционное правительство; французских эмигрантов впускать не иначе как по рекомендации французских принцев, графа Прованского, графа д'Артуа и принца Конде.

Для Лагарпа наступили последние дни его пребывания в России.

Преподавание Лагарпа и Муравьева не давало Александру ни точного научного знания, ни даже привычки к умственной работе - то были скорее художественные сеансы артистов от педагогики. Несмотря на все хлопоты царственной бабки (а может быть, именно благодаря им), в его воспитании и образовании был допущен заметный пробел. Было сделано все, чтобы затруднить его знакомство с действительностью. Великого князя учили чувствовать, но не учили думать и действовать. Ему не приходилось ничего решать самому: на все вопросы (большей частью весьма далекие от жизни) ему давали готовые ответы - политические и нравственные догматы, которые не было нужды проверять, а оставалось только затвердить и прочувствовать. Он не знал борьбы школьника с учебником, не испытал побед и поражений на полях учебной тетради, его не познакомили со школьным трудом, с его миниатюрными радостями и горестями, с тем трудом, который только, может быть, и дает школе воспитательное значение. Образование Александра было более блестящим, чем основательным. Его даже не научили как следует родному языку, великий князь говорил по-французски, как дофин, но не умел без ошибок написать русскую фразу и впоследствии говорил полушутя, что сожалеет о невозможности запретить указом употребление буквы "ять".

Эта резко обозначенная в нем еще в юности граница между мечтательной склонностью к добру и неумением (а зачастую и нежеланием) придать своим мечтаньям практическое направление, какая-то старческая дряблость воли не укрылись от взгляда другого воспитателя, Александра Яковлевича Протасова. С удовлетворением наблюдая, как "честность, справедливость, кротость в нем утверждаются"*, слыша отовсюду похвалы "об учтивости, приветливости и снисхождении" великого князя, он в то же время с удивлением и горечью отмечал в своем питомце "совершенную лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтоб желать ведать о внутреннем положении дел, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходящем в Европе. То есть действует в нем одно желание веселиться и быть в покое и праздности". Начинали сказываться уроки Лагарпа и Муравьева. Действительность, признанная его учителями явлением низшего порядка, была изгнана из юношеского ума Александра; он не желал ни знать ее, ни даже признавать ее существование.

Екатерина II - Гримму:

"Эти мальчуганы прелестны. Но пора кончить эти бабушкины сказки".

III

Первая любовь - самая трогательная. Почему? Потому что она почти одинакова во всех общественных положениях, во всех странах, при всяких характерах. Поэтому первая любовь не является самой страстной из всех.

Стендаль. О любви

В 1790 году, посылая Гримму портрет тринадцатилетнего Александра при письме, полном комплиментов красоте и смысленности оригинала, императрица прибавила: "Предвижу для него одну опасность: это женщины, потому что за ним будут гоняться и нельзя ожидать, чтоб было иначе, так как у него наружность, которая все расшевеливает".

Многоопытная Фелица знала, как легко добродетель, даже подмороженная

философией, тает под палящими лучами страстей. Поэтому, узнав в мае 1791 года от Протасова, что "от некоторого времени замечается в Александре Павловиче сильные физические желания, как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошими женщинами", она поспешила застраховать сердце внука своей временной, если можно так выразиться, говоря о пятнадцатилетнем юноше, женитьбой.

Вообще, предусмотрительная бабушка подыскивала Александру невесту уже давно. Еще в 1783 году баденский поверенный в делах Кох представил по ее требованию записку с характеристикой пяти маленьких дочерей наследного принца Баден-Дурлахского; наибольшие похвалы достались на долю четырехлетней принцессы Луизы. Никаких дальнейших указаний со стороны императрицы тогда не последовало, но Екатерина не забыла о маленькой Луизе.

Через семь лет она начала подыскивать доверенное лицо для ведения переговоров о браке. Ее выбор остановился на графе Николае Петровиче Румянцеве (старшем сыне фельдмаршала Румянцева-Задунайского), состоявшем в должности чрезвычайного посланника и полномочного министра на сейме германских княжеств во Франкфурте-на-Майне. Императрица поручила ему под предлогом обычного визита посетить Карлсруэ и там постараться увидеть дочерей наследного принца Баден-Дурлахского; предписывалось особо обратить внимание на двух принцесс: одиннадцатилетнюю Луизу-Августу и девятилетнюю Фредерику-Доротею. "Сверх красоты лица и прочих телесных свойств их, нужно, чтобы вы весьма верным образом наведались о воспитании, нравах и вообще душевных дарованиях сих принцесс, о чем в подробностях мне донести". Государыня подчеркивала, что вести дело надлежит "с крайней осторожностью и самым неприметным для других образом".

Следуя инструкции, Румянцев поехал в Карлсруэ частным образом, взяв с собой только секретаря Комаровского и камердинера. На другой день после приезда он был приглашен наследным принцем на обед. Луиза произвела на русских чарующее впечатление. "Я ничего не видел прелестнее и воздушнее ее талии, ловкости и приятности в обращении", - вспоминал Комаровский.

Румянцев справился с поручением превосходно. 2 марта 1791 года он отослал в Петербург подробный отчет. Екатерина осталась довольна отчетом и поручила Румянцеву узнать, "никого не компрометируя и koliko можно менее гласно", нет ли у наследного принца возражений против брака одной из его дочерей с великим князем Александром Павловичем и не возникнет ли препятствий с переменою веры у невесты.

Никаких препятствий со стороны родителей принцесс не возникло. Принц был в восторге от предложенной блестящей партии. (Что касается религиозного вопроса, то нашелся богослов, который доказал наследному принцу превосходство Православия с таким успехом, что принц воскликнул: "Черт возьми! В таком случае мне остается ожидать той минуты, когда мне тоже посоветуют его принять!"*)

Уладив формальности, Екатерина начала торопить принца с отправкой обеих принцесс в Петербург.

Екатерина II - Н. П. Румянцеву, 4 июня 1792 года:

"Хотя, конечно, ввиду возраста принцесс, можно было бы еще отложить года на два приезд их в Россию, но я думаю, что, прибыв сюда ныне же, в самом этом возрасте, та или другая скорее привыкнет к стране, в которой ей предназначено провести остальную свою жизнь... Вы скажете, что я охотно принимаю на себя окончание их воспитания и устройство участи обеих. Склонность моего внука Александра будет руководить его выбором; ту, которая за выбором останется, я своевременно пристрою".

Принц не возражал и против этого. Осенью 1792 года сестры инкогнито отправились в путешествие. Дорогой им пришлось вынести то, что, по выражению Екатерины II, называется у нас "совершенная распутица и непогода". В воскресенье 31 октября принцессы прибыли в Петербург.

У дома Шепелева, отведенного принцессам, их карета остановилась. При выходе из

экипажа они были встречены гофмаршалом императорского двора князем Федором Сергеевичем Барятинским и придворными кавалерами, камердинером графом Василием Петровичем Салтыковым и двумя камер-юнкерами, которые провели Луизу и Фредерику в их апартаменты. Здесь гостей ожидали сама государыня, графиня Браницкая и граф Платон Зубов - новый, и последний, фаворит императрицы. При встрече произошла небольшая заминка. Луиза сразу угадала в пожилой, располневшей даме императрицу, но, боясь ошибиться, медлила с приветствием. Зубов начал беззвучно шевелить губами, подсказывая, что перед ней находится русская государыня, но тут Екатерина сама с улыбкой подошла к Луизе и сказала:

- Я в восторге оттого, что вижу вас.

Луиза с поклоном поцеловала ей руку; Фредерика последовала ее примеру.

Императрица поделилась своими впечатлениями от первой встречи в письме Румянцеву: "Эта старшая показалась всем, видевшим ее, очаровательным ребенком или, скорее, очаровательной молодой девушкой: я знаю, что дорогой она всех пленила... Из этого я вывожу заключение, что наш молодой человек будет очень разборчив, если она не победит его..." Вечером, после двух посещений принцесс, она приписала: "Чем больше видишь старшую, тем больше она нравится".

Императрица не спешила показать их обществу и самому жениху: после путешествия по российскому бездорожью Луиза кашляла, а у Фредерики текло из носа. Их первый выход состоялся 2 ноября во время *petit diner fin** у цесаревича Павла Петровича, приехавшего с женой в Зимний из Гатчины. На обеде присутствовали все великие князья и княжны. Здесь состоялось первое свидание Луизы с Александром. Оба догадывались о цели этих смотрин, поэтому были неловки и застенчивы. Луиза, увидев Александра, побледнела и задрожала, а смущенный великий князь не сказал ей ни слова и только время от времени бросал на нее быстрые взгляды, казавшиеся ему самому преступными.

Впрочем, девушка очень скоро преодолела свою стыдливость. 4 ноября Екатерина написала своему секретарю Храповицкому: "Жених застенчив и к ней не подходит. Она очень ловка и развязна, *elle est nubile a 13 ans!*"**

Чтобы молодые люди могли привыкнуть друг к другу, императрица ежедневно сводила их вместе на придворных собраниях. 5 ноября на концерте в Эрмитаже Протасов заметил в Александре большое внутреннее волнение. "С этого дня, полагаю я, - записал Александр Яковлевич в своем педагогическом дневнике, - начались первые его к ней чувства". На следующий день в Эрмитаже играли в веревочку, фанты и т. д. Возбужденный игрой, Александр обращался с Луизой повольнее и, возвратясь к себе, долго не отпускал Протасова, беседуя с ним о старшей принцессе; он даже с юношеской неуклюжестью пошутил, что боится найти в своем наставнике соперника. Протасов отвечал ему "по пристойности".

У молодого человека, охваченного первым чувством, нет более властной потребности, чем потребность в друге, с которым он мог бы делиться своими ежеминутными радостями и сомнениями. Таким наперсником Александра невольно оказался пожилой и педантичный Протасов - единственный человек, остававшийся рядом с великим князем в долгие зимние ночи. "Он мне откровенно говорил, - вспоминал Александр Яковлевич свои беседы с Александром, - сколько принцесса для него приятна; что он уже бывал в наших женщин влюблен, но чувства его к ним наполнены были огнем и некоторым неизвестным желанием - великая нетерпеливость видется и крайнее беспокойство без всякого точного намерения, как только единственно утешаться зрением и разговорами; а напротив, он ощущает к принцессе нечто особое, преисполненное почтения, нежной дружбы и несказанного удовольствия общаться с нею, нечто удовольственнее, спокойнее, но гораздо или несравненно приятнее прежних его движений; наконец, что она в глазах его любви достойнее всех здешних девиц".

Действительно, принцесса Луиза сразу покоряла всех, кто ее видел. Императрица писала Румянцеву, что "публика... твердо остановилась на старшей". Луиза имела, по словам Протасова, "пресчастливую физиономию", она была не то чтобы безупречно красива, но

необыкновенно миловидна. Она обладала каким-то особенным, чарующим голосом. Екатерина называла ее сиреной - ее голос, говорила она, так и проникает вам в душу.

В январе 1793 года было получено официальное согласие родителей Луизы на брак с великим князем Александром. Ее немедленно начали учить русскому языку и православным догматам. В этих занятиях прошла весна. 9 мая, в день празднования памяти святого Николая Чудотворца, в большой церкви Зимнего дворца совершилось миропомазание Луизы, которая была наречена Елизаветой Алексеевной. На следующий день состоялось ее обручение с Александром. Обряд совершил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил, кольца молодым меняла сама императрица. Александр, записал Протасов, в течение всего обряда "сохранил всю должную к сему происшествию благопристойность, при особливом душевном удовольствии, сопровождаемом кротостию и смиренномудрием". После обручения был дан парадный обед, во время которого Екатерина, Павел Петрович, Мария Федоровна, Александр и Елизавета Алексеевна восседали за одним столом под большим балдахином. Вечером во дворце был бал, город иллюминировали, колокола не смолкали весь день.

По случаю радостного события Протасову было пожаловано десять тысяч рублей; Лагарп не получил ничего.

Настала пора приступить к исполнению того пункта наставления императрицы 1784 года, который гласил: "Приближаясь к юношеству, показать им надлежит помалу, исподволь свет, каков есть, ограждая сердца их, koliko возможно, от порочного".

С этой целью в Царском Селе, куда вслед за императрицей в середине мая приехали новобрачные, для них был создан особый двор; гофмаршалом его стал полковник граф Николай Головин, гофмейстериней - графиня Е. П. Шувалова. При Александре состояло три камергера и три камер-юнкера, такое же число статс-дам имела Елизавета Алексеевна. Подобным почетом никогда не пользовался цесаревич Павел Петрович, и это обстоятельство ясно свидетельствовало о намерениях государыни относительно будущности Александра и его отца.

Оградить Александра от "порочного" не получилось. Двор, по словам фонвизинского Стародума, это такая просторная дорога, на которой "двое, встретясь, разойтись не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимет уже никогда того, кто на земли". Две дюжины человек, окружившие Александра и Елизавету Алексеевну, сразу вступили в грызню друг с другом, стремясь приобрести единоличное влияние на великокняжескую чету. Пошлость этой обстановки немедленно отразилась на Александре, сказавшись в забавах, мало приличных наследнику престола, и в каламбурах сомнительного качества.

В середине августа императрица возвратилась из Царского Села в Таврический дворец. Следом за ней в столицу приехали Павел Петрович, Мария Федоровна, великие князья и княжны и Елизавета Алексеевна. При дворе началась лихорадочная подготовка к ряду торжеств. Они открылись 2 сентября празднованием мира с Турцией и продолжались две недели. 28 сентября состоялось бракосочетание Александра и Елизаветы Алексеевны.

В этот день в восемь часов утра по сигналу - пяти пушечным выстрелам с Петропавловской крепости - все гвардейские полки под началом генерал-аншефа графа Ивана Петровича Салтыкова выстроились на площади перед Зимним дворцом и на прилегающих к ней улицах. Без четверти час двадцать один выстрел с бастионов Адмиралтейской крепости открыл торжественное шествие из внутренних апартаментов императрицы в большую церковь Зимнего дворца. Молодые шли впереди. На Александре был кафтан из серебряного глазета с бриллиантовыми пуговицами и алмазные знаки ордена святого Андрея Первозванного; Елизавета Алексеевна была облачена в платье того же цвета и материи, украшенное жемчугами и бриллиантами. Екатерина и Павел Петрович с супругой шли следом. По хмурому виду цесаревича было заметно, что отношения матери с сыном окончательно расстроились - вплоть до того, что Павел намеревался даже вовсе не присутствовать на бракосочетании, однако стараниями Марии Федоровны семейный разрыв был предотвращен.

На сей раз вспомнили и о Лагарпе - он был награжден десятью тысячами рублей.

Ближайшей обязанностью шестнадцатилетнего мужа по-прежнему оставалось ученье. Между тем весь пыл Александра уходил совсем на другие занятия. "Весьма боюсь, - говорил приближенный цесаревича Ф. Ф. Ростопчин, - не повредила бы женитьба великому князю: он так молод, а жена его так хороша собою". А Протасов со вздохом отмечал, что после свадьбы великий князь "отстал нечувствительно от всякого рода упражнений... от всякого прочного умствования".

Придворное окружение внушило Александру, что теперь, после женитьбы, он вполне может располагать собой, и великий князь самозабвенно упивался своей независимостью и самостоятельностью: сверх меры шалил с братом и парикмахером Романом, ездил на вахтпарады к отцу в Гатчину, молодецки пил вино и с удовольствием отбросил прежнюю учтивость в обращении с женой. Вид Протасова нагонял на него скуку, и Александр убегал от него в уборную Елизаветы Алексеевны, куда наставник не мог за ним следовать. Единственный учитель, который еще кое-как продолжал с ним занятия, был Лагарп. Но и он со дня на день ожидал своего увольнения.

IV

Алкивиад... мог подражать в равной мере как хорошим, так и плохим обычаям. Так, в Спарте он занимался гимнастикой, был прост и серьезен, в Ионии - изнежен, предан удовольствиям и легкомыслию...

Плутарх. Сравнительные жизнеописания

С 1791 года императрица не считала нужным скрывать от ближайшего окружения свои намерения относительно вопроса о престолонаследии и откровенничала с Гриммом: "Послушайте, к чему торопиться с коронацией? Всему есть время, по словам Соломона. Сперва мы женим Александра, а там со временем и коронуем его со всевозможными церемониями, торжествами и народными празднествами. Все будет блестяще, величественно и великолепно. О, как он сам будет счастлив и как с ним будут счастливы другие!"

Однако в глубине души она осознавала, что самая трудная часть дела состоит не в том, чтобы официально оформить передачу престола внуку, а в том, чтобы заручиться согласием на это самого Александра. Эту задачу она попыталась возложить на Лагарпа, чье огромное влияние на великого князя было неоспоримо. Екатерина полагала, что швейцарский республиканец возьмется посодействовать "избавлению России от нового Тиберия".

Крайние радикалы в теории обыкновенно легко мирятся с самым консервативным порядком вещей в действительности. Лагарп пришел в ужас, догадавшись, орудием каких целей его пытаются сделать. Сохранился его рассказ о событиях осени 1793 года. 18 октября императрица неожиданно потребовала его к себе. Их разговор продолжался два часа. Говорили о разном, но Екатерина несколько раз, словно мимоходом, возвращалась к теме будущего России, давая понять собеседнику настоящую цель аудиенции. Лагарп, как мог, старался не дать посвятить себя в ее планы. Ему это удалось, "но два часа, проведенные в этой нравственной пытке, - вспоминал он, - принадлежат к числу самых тяжелых в моей жизни, и воспоминание о них отравляло все остальное пребывание мое в России".

Опасаясь дальнейших разговоров в том же направлении, Лагарп обрек себя на строгое уединение и являлся ко двору только для занятий с великими князьями. Но, поняв вскоре, что, как бы ни обернулись дела с удалением от престола "Тиберия", ему все равно не удержаться при дворе, он решился на самый благородный и бескорыстный шаг за все время своего пребывания в Петербурге - он постарался напоследок примирить детей с отцом.

С неимоверным трудом он добился аудиенции у Павла Петровича, который не разговаривал с ним уже три года. Любившего военный порядок цесаревича больше всего подкупила та быстрота, с которой Лагарп явился на свидание: получив вечером 26 апреля 1794 года вызов в Гатчину, швейцарец в семь утра уже сидел в дворцовой приемной. В долгой беседе он убедил подозрительного Павла, что Александр и Константин любят и уважают его и что старший великий князь и в мыслях не имеет в угоду Екатерине посягнуть на его права на престол. Цесаревич, так же легко и быстро привязывавшийся к людям,

завоевавшим его доверие, как легко начинал считать врагом того, кто однажды вызвал его неудовольствие, оттаял и к концу беседы уже назвал себя искренним другом того, кого перед тем звал не иначе как "якобинец". Он пригласил Лагарпа на бал, а Мария Федоровна выразила желание танцевать с тем, кто возвратил ей ее сыновей, чем поставила его в неловкое положение, так как у него не было с собой перчаток. Павел выручил своего нового друга, одолжив ему свои, - эту пару перчаток Лагарп благоговейно хранил всю жизнь в воспоминание о дне, в который столь чудесно переродился его давний недоброжелатель. Оба они сохранили самые лучшие воспоминания о единственном свидании, сделавшем их друзьями. Павел Петрович позже признавался Александру, что не может без умиления вспомнить о 27 апреля 1794 года.

Но может быть, самое сильное впечатление поступок Лагарпа произвел на самого Александра, который с новым рвением возобновил занятия с учителем и часто приводил с собой Елизавету Алексеевну.

Теперь Лагарпу оставалось только ждать своей отставки. Во время чтения одной из лекций великим князьям Салтыков внезапно вызвал к себе швейцарца и объявил волю императрицы: поскольку Александр Павлович вступил в брак, а Константин Павлович определен в военную службу (в Гатчину, к отцу), то занятия с ними должны окончиться и выдача жалованья Лагарпу прекращается с текущего года. Несмотря на то что Лагарп давно готовился к этому вызову, он не сумел скрыть своих чувств перед воспитанниками. Когда он возвратился в класс, Александр сразу заметил следы волнения у него на лице и спросил об их причине. Лагарп отвечал уклончиво. Тогда Александр воскликнул: "Не думайте, чтоб я не замечал, что уже давно замышляют против вас что-то недоброе! Нас хотят разлучить, потому что знают всю мою привязанность, все мое доверие к вам!" - и в порыве любви к учителю бросился ему на шею. Лагарп едва мог оторвать его от себя, беспрестанно напоминая, какой нежелательный толк может дать этой сцене какой-нибудь непрошенный свидетель.

Все же занятия с Александром продолжались до самого отъезда Лагарпа из Петербурга. Когда вопрос об увольнении был решен окончательно, Александр написал наставнику, что тот поймет, какое он испытывает огорчение, "оставаясь один при этом дворе, который я ненавижу, и предназначенный к положению, одна мысль о коем заставляет меня содрогаться. Единственно остающаяся мне надежда - думать, что через несколько лет, как вы мне сами сказали, я вас увижу опять. Прощайте, дорогой друг, будьте уверены, что до последней минуты жизни пребуду весь ваш и что никогда не забуду того, чем вам обязан, и всего, что вы для меня сделали".

Отъезд был назначен на 9 мая. В этот день Александр сам инкогнито приехал из Таврического дворца проститься с учителем. Прощание было душераздирающим. "Мне понадобилась вся моя твердость духа, чтобы вырваться из его объятий, покуда он обливал меня слезами", - вспоминал Лагарп. Он вручил воспитаннику письменное наставление и инструкции, в основном касающиеся книг, которые он рекомендовал читать великому князю.

Летом Лагарп был уже в Швейцарии и поселился в окрестностях Женевы.

Результат разговора Лагарпа с Павлом Петровичем сказался в том, что Александр стал чаще видаться с отцом: если до разговора он ездил в Гатчину раз в неделю, в пятницу вечером, чтобы присутствовать на субботнем вахтпараде, то теперь он проводил там большую часть времени.

Гатчина находилась в сорока верстах от столицы и в двадцати - от Царского Села. В 1770 году гатчинское имение было подарено Екатериной II графу Григорию Григорьевичу Орлову. В то время оно состояло из небольшого господского дома и нескольких чухонских деревушек. Кругом расстилалась болотистая местность с речкой Парицей и двумя озерцами - Белым и Черным; столбовая порховская дорога между ними, с постоянными дворами и кабаками, была единственным оживленным местом в этой Богом забытой глуши, известной лишь завзятым охотникам.

С переходом Гатчины в руки Орлова все изменилось; Гатчина приобрела известность. Близ Белого (или Большого) озера по плану архитектора Ринальди Орлов возвел

великолепный барский дом с башнями и разбил правильный парк, упирившийся в столбовую дорогу. На этом строительство прекратилось: граф не хотел портить столь удобные для охоты места.

В 1783 году, после смерти любимца, императрица купила Гатчину для Павла Петровича. С этих пор бывшее орловское имение сделалось любимым местопребыванием цесаревича. За те тринадцать лет, которые наследнику пришлось провести здесь, имение стало образцовым и напоминало уже небольшой городок; вернее, это был свой, особый мирок, созданный Павлом в противовес матери, как идеал новой, уже не екатерининской, а павловской России. А тем, так сказать, первоэлементом, из которого гатчинский демиург намеревался сотворить свою вселенную, была гатчинская гвардия.

Павловское войско создавалось постепенно. В 1796 году в гатчинской гвардии числилось уже 6 батальонов пехоты, егерская рота, 4 кавалерийских полка (жандармский, драгунский, гусарский и казачий), пешие и конные артиллеристы при 12 орудиях - всего 2399 человек; в их число входили 19 штаб- и 109 обер-офицеров. Кроме того, на гатчинских прудах плавала небольшая флотилия.

Главнокомандующим и главным инструктором этих войск был барон Штейнвер, пруссак из военной школы Фридриха II. Цесаревич говорил о нем: "Этот будет у меня таков, каков был Лефорт у Петра Первого".

Впрочем, сам Павел изображал из себя вовсе не полтавского героя, а покойного прусского короля. Гатчинские войска, вплоть до мелочей, были организованы на прусский манер. Из подражания отцу цесаревич возрождал те самые уставы и мундиры "неудоб носимые", которые, будучи введены при Петре III, по словам екатерининского манифеста 1762 года, "не токмо храбрости воинской не умножали, но паче растравляли сердца болезненные всех верноподданных его войск". Форму гатчинских офицеров составлял тесный мундир, просаленный парик, огромная шляпа, сапоги выше колен, перчатки, закрывавшие локти, и короткая трость. Современники единодушно сходились на том, что при въезде в Гатчину нельзя было отделаться от чувства, что попадаешь в какой-то прусский городок. Путешественника встречали трехцветные - черно-красно-белые - шлагбаумы и окрики часовых, в которых, кроме языка, ничто не выдавало русских солдат. На разводах господствовал тот же мелочный порядок, что и в Потсдаме. Малейшая неисправность вызывала безудержный гнев наследника. Офицеров за ничто сажали под стражу, лишали чинов, разжаловали в рядовые, откуда потом лишь малая часть снова возвращалась в офицерский корпус. Каждый день приносил известие о новых самодурствах цесаревича, над которыми потешалась столичная гвардия.

Екатерина не препятствовала созданию гатчинских войск. Ей, привыкшей к подвигам румянцевских и суворовских чудо-богатырей, маниакальное увлечение сына прусской шагистикой казалось смешным. Императрица презирала гатчинцев. Летом, проживая в Царском Селе, она почти ежедневно слышала ружейную и орудийную стрельбу, раздававшуюся со стороны Гатчины. Государыня не мешала сыну играть в солдатики и только, вздыхая, жаловалась, что он "расстучал ей голову своей пальбой".

Презрение императрицы к гатчинцам разделяла вся русская армия. Иначе и быть не могло, так как гатчинские офицеры были сплошь грубые, почти необразованные люди, выгнанные из армейских и гвардейских полков за дурное поведение, пьянство или трусость, "сор нашей армии", по словам современника. Под воздействием гатчинской дисциплины эти люди легко превращались в бездушные машины и не моргнув глазом сносили от цесаревича брань, а иногда и побои, с завистью взирая из своих гатчинских болот на блестящую екатерининскую гвардию. Даже любимец Павла Ф. В. Ростопчин говорил, что наследник окружен людьми, наиболее честный из которых заслуживает колесования без суда!

За гатчинцами замечалась еще одна характерная черта: они не были любителями порохового дыма. Впоследствии только один из них, генерал Капцевич, заслужил известность храброго офицера. Тем не менее у этой армии были свои герои - люди особого рода, орлы вахтпарадов и рыцари фронта.

Осенью 1769 года у отставного поручика Андрея Андреевича Аракчеева родился сын Алексей. (Дня его рождения родители не запомнили, поэтому позже, в просьбе об определении в корпус, поместили пятым октября - днем его именин.) Отставной поручик почивал в родительской деревеньке если не на лаврах, то на пуховиках, в хозяйство не вмешивался и проводил время, глядя из окна на бедный двор своей усадьбы и посасывая любимую трубочку. Первенца своего Андрей Андреевич любил отменно и даже пытался выучить его грамоте, но труд этот показался ему обременительным, и он переложил его на деревенского дьячка.

Мать Алеша, Елизавета Андреевна, была по-своему замечательной женщиной - необыкновенно аккуратной и педантично-чистоплотной, чем заслужила в округе прозвище "голландки". Она учила малолетнего Алешу молитвам, водила в церковь, не пропуская ни одной обедни, внушала бережливое отношение к вещам. Из домашнего воспитания мальчик вынес обрядовую набожность, привычку к постоянному, пусть и бесцельному, труду и неутомимое стремление к порядку. Его дальнейшая жизнь не дала заглухнуть этим качествам.

В одиннадцать лет с Алешей произошло событие, круто изменившее всю его жизнь. К соседнему помещику Корсакову приехали из шляхетского корпуса в отпуск два его сына - Никифор и Андрей. Аракчеев-старший поехал в гости к Корсаковым и взял с собой Алексея. Сидя за общим столом и слушая рассказы кадетов, мальчик с ужасом осознал, как ничтожны его собственные познания. Он не мог наслушаться их рассказов о лагере, учениях, стрельбе из пушек, но особенно поразили его красные мундиры братьев, с черными бархатными лацканами. "Мне казались они какими-то особенными, высшими существами", вспоминал об этой встрече Алексей Андреевич. За весь вечер он не проронил ни слова, но в нем зародилось необоримое желание учиться в шляхетском корпусе.

Возвратясь домой, он думал о кадетах дни и ночи, пребывая "как в лихорадке". Наконец он бросился в ноги отцу и заявил, что умрет, если его не отдадут в шляхетский корпус. Андрей Андреевич, вспомнив молодость, согласился повезти сына в Петербург. Здесь они полгода ежедневно ходили к командиру Артиллерийского и Инженерного шляхетского корпуса генералу Петру Ивановичу Мелиссино, чтобы безмолвно погостить у него на глаза и не дать забыть о себе. Деньги таяли, последние недели ели раз в день. Наконец издержали последнюю копейку. От полнейшей безысходности Андрей Андреевич пошел с поклоном на двор к митрополиту Гавриилу и получил от него по своей крайней бедности милостыню - рубль серебром. Выйдя из покоев владыки на улицу, отец поднес рубль к глазам, сжал в кулаке и горько заплакал; вместе с ним зарыдал и Алексей.

Этот жестокий урок бедности и голода Аракчеев не забыл. Впоследствии, став всемогущим, тщательно следил, чтобы на поступающие к нему прошения немедленно клалась резолюция - отказа или исполнения.

Не имея ни связей, ни положения, ни денег, молодой кадет полагался только на двух помощников - свое усердие и милость начальства. Вскоре он стал числиться среди первых учеников. Его репутация отличного кадета способствовала тому, что в 1787 году его оставили при корпусе на должности репетитора с обязанностью учить кадет арифметике, геометрии, артиллерийскому делу и фронту; помимо этого, ему почему-то поручили заведовать корпусной библиотекой. На строевых занятиях с кадетами Аракчеев впервые начал выказывать то "нестерпимое зверство", которое так сильно прославило его впоследствии. В русском человеке жестокость весьма часто соседствует с набожностью и любовью к порядку.

С этого времени дела Аракчеева пошли в гору. Он сблизился с главным наставником великих князей Н. И. Салтыковым, который поручил ему воспитание сына; директор корпуса П. И. Мелиссино оказал ему покровительство, назначив своим адъютантом.

В 1792 году Павел Петрович пожелал улучшить организацию артиллерийского дела в своих войсках и искал для этого сведущего артиллерийского офицера. Поскольку охотников до гатчинской службы было немного, он обратился за помощью к Мелиссино, и тот ответил

наследнику, что такой человек у него есть.

4 сентября Аракчеев представился в Гатчине наследнику. Он легко усвоил сложные требования гатчинской службы, казавшиеся многим невыносимыми. На первый вахтпарад он явился безотказным автоматом, как будто век прослужил в Гатчине.

"Образцовая" гатчинская пехота представляла собой живой экспонат из прусского военного музея. Однако у гатчинцев была одна несомненная заслуга перед русской армией, а именно - в организации артиллерийского дела. В конце XVIII столетия ведущими русскими полководцами было официально признано, что артиллерия не может играть решающей роли в победе. Это было тем более опасно, что в далекой Франции при осаде Тулона уже блестяще заявил о себе один молодой артиллерийский поручик по фамилии Буонапарте*. Именно в Гатчине была опробована та система организации артиллерийского дела - создание самостоятельных артиллерийских подразделений и новых орудий, повышение подвижности полевых орудий, широкое применение стрельбы картечью, превосходное обучение артиллерийских команд, - без которой русская артиллерия не смогла бы совершить свои славные подвиги в 1812 году.

Этот поворот в артиллерийской подготовке гатчинских войск начался с прибытия в Гатчину Аракчеева. Павел Петрович сразу заметил в нем "служаку": Аракчеев не сходил с плаца или поля по двенадцать часов. Посетив вскоре его артиллерийскую команду, цесаревич подвел итог нововведениям одним словом: "Дельно". На ближайших артиллерийских учениях аракчеевская мортира послала точно в цель два ядра из трех. Алексей Андреевич сразу был произведен в артиллерийские капитаны и получил право обедать с наследником.

Для него началась новая жизнь.

Прекрасно понимая, что роль светского человека при дворе наследника ему не по плечу, Аракчеев предпочел ей роль делового человека. Он поддерживал только служебные разговоры, за что язвительный Ростопчин немедленно окрестил его "гатчинским капралом". При дворе он стоял особняком ото всех, всегда и всюду преследуя лишь одну цель - как угодить Павлу. Ни разу он не обратился к цесаревичу ни с одной просьбой и, получая небольшое жалованье, тщательно уклонялся от всяких пособий и подарков. Павел тем более был благодарен ему, что средства, отпускаемые на содержание гатчинского двора императрицей, были весьма невелики.

Вспоминая годы гатчинской службы, Аракчеев говорил: "В Гатчине служба была тяжелая, но приятная, потому что усердие всегда было замечено, а знание дела и исправность отличены". К 1796 году он был пожалован чином полковника и назначен инспектором пехоты, начальником артиллерии, гатчинским губернатором и управляющим военным департаментом павловских войск. В это время о его жестокости уже ходили легенды: говорили, что он немилосердно хлещет по щекам не только солдат, но и офицеров, вырывает усы гренадерам; передавали даже, будто одному солдату он в припадке бешенства откусил не то нос, не то ухо.

Павел Петрович и жаловал любимца, и журил крепко. Раз, после одной чрезвычайно бурной служебной взбучки, Аракчеев со слезами вбежал в церковь, думая, что лишь милость Божия может помочь ему остаться на службе. Стоя на коленях и горячо молясь, он вдруг услышал за спиной звон шпор. В страхе он обернулся - так и есть: Павел!

- О чем ты плачешь? - спросил его цесаревич.

- Мне больно лишиться милости вашего императорского высочества.

- Да ты вовсе не лишился ее, - сказал Павел Петрович, кладя руку ему на плечо. - Молись Богу и служи верно: ты знаешь, за Богом молитва, а за царем служба не пропадают!

- У меня только и есть что Бог да вы! - со слезами выдавил из себя Аракчеев.

Когда они вышли из церкви, цесаревич остановился, внимательно посмотрел на Аракчеева и сказал:

- Ступай домой, со временем я сделаю из тебя человека.

Взрослая жизнь встретила Александра как-то двусмысленно, двулично. Отец и бабка

предъявляли на него свои права, навязывали ему выбор между Эрмитажем и Гатчиной, то есть требовали от него то, что противоречило всему его предыдущему воспитанию: определить свои отношения с действительностью. Командуя одним из гатчинских батальонов, великий князь ежедневно с шести утра изучал жесткие, бесцеремонные казарменные нравы; возвращаясь вечером в столицу, он тайком, стыдясь, сбрасывал забрызганную грязью гатчинскую форму, над которой в Зимнем потешались как могли, и в модном светском костюме являлся в Эрмитаж, где вокруг императрицы собиралось самое изысканное общество. Этот внезапный переход из одного мира в другой ни на минуту не затруднял его: от казарменного непечатного лексикона он с легкостью переходил к изящным французским каламбурам.

В гатчинском дворце тоже были свое остроумие и свое злословие. Павел Петрович открыто осуждал правление матери, называя его узурпацией, и при всяком удобном случае пенял Александру его свободомыслием. Получив очередные новости из Франции, он обращался к сыновьям с удовлетворением человека, чьи предсказания полностью оправдались: "Вы видите, мои дети, что с людьми следует обращаться как с собаками".

И случалось, что тем же вечером Екатерина рассуждала с Александром о правах человека, читала ему французскую конституцию, комментируя отдельные статьи, и разъясняла причины революции.

В гатчинских занятиях внуков императрица видела смешную карикатуру на воинскую службу и иногда, забыв о приличиях, в присутствии Платона Зубова и других вельмож просила их спародировать фронтовые манеры отца. Александр делал это действительно забавно. Но бабка не замечала, что старший внук с отвращением глядит на ее фаворита, который около полуночи, зевая, вставал вслед за императрицей из-за карточного стола и с рассеянным видом направлялся в ее спальню, а утром как ни в чем не бывало появлялся в приемной заспанный, в распахнутом халате, с растрепанными волосами...

Александр видел вокруг себя много грязи - изыщную грязь бабушкиного салона и неопрятную грязь отцовской казармы. Но хотя он и писал Лагарпу, что весь преобразился, встает рано и целое утро работает по оставленному наставником плану, тем не менее у него не было привычки упорно трудиться, возиться в здоровой житейской грязи, пачкаться в которой Сам Господь судил человеку: "В поте лица твоего будешь есть хлеб". Первая же помеха надолго отрывала его от занятий.

Екатерина не сумела ни занять его работой, ни разнообразить его времяпрепровождение; свои гатчинские обязанности Александр исполнял с рвением молодого человека, которому впервые поручено ответственное дело. Он еще по привычке подлачивался к стареющей бабке; отца же боялся смертельно и потому до изнурения утомлял себя службой. "Нынешнее лето я действительно могу сказать, что служил", - с гордостью писал он Лагарпу осенью 1796 года. На самом деле вся служба сводилась к пунктуальному исполнению различных мелочей - от этого неумения видеть вещи в целом, наряду с пристрастием к парадомании, этой специфической болезнью государей, Александр не мог избавиться всю последующую жизнь*. (Гатчинские учения повредили и здоровью великого князя. В шестнадцать лет он уже был близорук, как и его мать; а в 1794 году к этому прибавилась глухота в левом ухе. По собственным словам Александра, это произошло оттого, что на одном из артиллерийских учений он стоял слишком близко к батарее.)

Молодости свойствен корпоративный дух, она охотно делит людей на своих и чужих. В принадлежности к отцовской гвардии отверженных было даже нечто привлекательное для Александра. Похоже, что в глубине души он считал себя офицером гатчинской, а не русской армии и часто самодовольно повторял, желая похвалить что-либо: "Это по-нашему, по-гатчински".

Отвращение и страх, внушаемые людям из "приличного общества" отверженными, есть одно из сильнейших наслаждений для последних. Однажды, возвращаясь с плаца, Александр кивнул в сторону Царского Села:

- Нам делают честь: нас бояться.

Конечно, это была юношеская бравада; Екатерина не испытывала ни малейшего беспокойства от соседства с гвардией сына и великолепно спала под охраной всего роты гренадер.

Порой он с тоской ощущал себя многоликим никем, вечно изменчивым Протеем, чью сущность составляет внешняя кажимость, а иногда быть никем представлялось ему благодатным уделом по сравнению с утомительной обязанностью все время представлять кого-то. Он мог бы думать, что является самим собой в своих сентиментально-республиканских мечтах, если бы эти мечтания, так редко прорывавшиеся наружу, не представлялись ему самому нелепой случайностью. Нагруженный тяжелым балластом никому не нужных самоновейших политических идей и величавых античных образов, пустился он в путь по холодным, неприветливым волнам российской жизни. Устав от бесцельного плаванья и изнуряющей качки, он грезил о тихой гавани, где бы он мог укрыться от житейских бурь.

Александр - В. П. Кочубею**, 10 мая 1796 года:

"Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пассек, князь Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее - для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом...

Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы".

Интимные письма к Кочубею и Лагарпу не могли заменить живого душевного друга, потребность в котором остро ощущалась Александром после отъезда учителя. Ему нужно было вновь почувствовать себя другом свободы, поборником истины и блага человечества. Одиночество может дать все, кроме чужого восхищения. Итак, был нужен другой.

В ту пору в Петербурге проживал на положении полупленника молодой князь Адам Чарторийский, принадлежавший к древнему роду, издавна занимавшему первостепенное место в Речи Посполитой. Чарторийские вынашивали планы коренных государственных преобразований Речи Посполитой, надеясь на поддержку России, Австрии и Англии. Разделы Польши разбили их мечты о реформах. Это время крушения надежд совпало с молодостью князя Адама (он родился в 1770 году) и сделало из него горячего сторонника политического возрождения родины.

Заботами родителей юноша получил чисто польское и чисто республиканское образование, то есть говорил по-французски лучше, чем на родном языке, был знаком с европейской литературой и без умолку рассуждал о конституции, подразумевая под ней древнюю шляхетскую вольность, ограниченную сильной исполнительной властью. Отправленный отцом в продолжительное путешествие за границу, он возвратился в Польшу перед войной, приведшей ко второму разделу. Как участник военных действий, он вынужден был бежать в Англию, где познакомился с классическими конституционными учреждениями этой страны. Весть о восстании Костюшко вновь призвала его на родину, но по дороге домой он был арестован в Брюсселе австрийскими властями.

При третьем, окончательном разделе Польши имения Чарторийских были конфискованы русским правительством. Когда князь Адам-Казимир начал переговоры об условиях снятия секвестра, Екатерина II потребовала прислать в Петербург двух сыновей князя - Адама и Константина. Императрица обещала определить их в русскую службу, но Адам-Казимир отлично понял, что от него требуют заложников его верности России. Он не

посмел действовать отцовской властью и предоставил сыновьям самим решать их судьбу. Адам и Константин ни минуты не поколебались и в начале мая 1794 года приехали в Петербург. Пребывание при дворе Екатерины причиняло князю Адаму жестокие душевные страдания: в каждом русском он был склонен видеть виновника несчастий своей родины. Однако неожиданно для него печальная доля заложника сменилась заманчивым положением интимного поверенного душевных тайн великого князя Александра.

Это случилось весной 1796 года. В апреле, перед вскрытием Ладожского озера, когда лед, принесенный оттуда Невой, обыкновенно навевает в Петербург резкий холод, выпало несколько ярких солнечных дней, в течение которых набережные усеялись гуляющими дамами в изящных утренних туалетах и элегантно одетыми мужчинами. Александр также часто выходил на прогулки один или с женой, что еще больше привлекало общество в эту часть столицы. При встречах с братьями Чарторийскими он начал останавливать их и вступать с ними в учтивую беседу.

Постепенно знакомство скреплялось все больше. Весной двор перебрался в Таврический дворец, где императрица по вечерам принимала избранное общество. Однажды, гуляя с князем Адамом, Александр неожиданно пригласил его как-нибудь пройтись вместе по дворцовому саду. Они условились о дне и часе.

Весна уже вступила в полную силу, сад и газоны были покрыты зеленью и цветами. Когда князь Адам явился на свидание, Александр взял его под руку и повел по садовым тропинкам, чтобы услышать мнение гостя об искусстве садовника-англичанина, устроившего дорожки сада так, что, идя по ним, нельзя было увидеть, где он кончается.

Прогулка растянулась на три часа, в течение которых они увлеченно беседовали. Вернее, говорил один великий князь, с жаром открывая перед гостем свою душу. Из его речей князь Адам узнал, что их с братом благородное поведение возбудило в Александре доверие и сочувствие к ним, и он почувствовал потребность объяснить им свой "действительный образ мыслей", так как ему невыносимо думать, что они считают его не тем, что он есть на самом деле.

"Он сказал мне тогда, - вспоминал Чарторийский, - что совершенно не разделяет воззрений и принципов правительства и двора, что он далеко не оправдывает политики и поведения своей бабки и порицает ее принципы; что его симпатии были на стороне Польши и ее славной борьбы; что он оплакивает ее падение; что в его глазах Костюшко был великим человеком по своим доблестным качествам и по тому делу, которое он защищал и которое было также делом человечности и справедливости. Он признался мне, что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, равно должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересуется французской революцией; что, не одобряя этих ужасных заблуждений, он все же желает успеха республике и радуется ему. Он с большим уважением говорил о своем воспитателе Лагарпе как о человеке высокодобротельном, истинно мудром, со строгими принципами и решительным характером. Именно Лагарпу он был обязан всем тем, что было в нем хорошего, всем, что он знал, и в особенности - теми принципами правды и справедливости, которые он счастлив носить в своем сердце и которые были внушены ему Лагарпом".

Несколько раз во время прогулки они встречали Елизавету Алексеевну. "Великий князь сказал мне, что его жена была поверенной его мыслей, что она знала и разделяла его чувства, но что, кроме нее, я был первым и единственным лицом после отъезда его воспитателя, с кем он осмелился говорить об этом; что чувства эти он не мог доверить никому без исключения, так как в России никто еще не был способен разделить или даже понять их..."

Чарторийский и Александр расстались с выражениями самой искренней дружбы и обещали друг другу видеться как можно чаще. Князь Адам уходил пораженный, не понимая, что это было - сон или явь? "Я был во власти легко понятного обаяния; было столько чистоты, столько невинности, решимости, казавшейся непоколебимой, самоотверженности и возвышенности души в словах и поведении этого молодого князя, что он казался мне каким-то высшим существом, посланным на землю Провидением для счастья человечества и

моей родины". Он был во власти мыслей, от которых захватывало дух: здесь, в сердце вражеской страны, пользуясь дружбой с наследником содействовать освобождению Польши - какая невероятная, многообещающая перспектива!

После этой встречи не проходило дня, чтобы Чарторийский не бывал у великого князя. Дружба молодых людей приобретала черты тайного франкмасонского союза, которого не чуждалась и Елизавета Алексеевна. По утрам гуляли пешком. Александр любил ходить, обзоревая сельские виды, и тогда с особенным пылом отдавался любимым разговорам. Он делился с князем Адамом своей заветной мечтой - увидеть установление повсюду на земле республиканского правления - и заявлял между прочим, что наследственная передача престола есть несправедливое и бессмысленное установление, что передача верховной власти должна зависеть не от случайностей рождения, а от голосования народа, который в состоянии выбрать себе наиболее способного правителя.

Устав от политики, переходили к "красотам природы". Александр не мог пройти без восторга мимо полевого цветка или крестьянской избы, вид молодой бабы в нарядном платье вызывал в нем приятное получувственное-полуэстетическое волнение. Со вздохом он беспрестанно возвращался к своей мечте: сельские занятия, полевые работы, простая, спокойная, уединенная жизнь на какой-нибудь ферме, в уютном далеком уголке...

И вдруг, без всякого перехода, заговаривал о войсках, учениях, вахтпарадах, и над полями разносилось одобрительное: "Это по-нашему, по-гатчински!"

"Блестящий век Екатерины" близился к концу. Империя все больше напоминала картину, написанную небрежными и размашистыми мазками, рассчитанную на дальнего зрителя. Вблизи глаз беспристрастного наблюдателя видел хаос, неурядицы и безнаказанные злоупотребления.

"Да посрамит Небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства", - писала Екатерина в молодости. Сама она не только искренно желала блага России, но и была единственным государем после Петра I, кто понимал, в каком направлении следует двигаться. Но время и вязкое сопротивление, оказываемое колесам государственной телеги российской действительностью, гасили в ней былую энергию. Она с грустью сознавала это и в 1789 году говорила Храповицкому: "Старее ли я стала, что не могу найти ресурсов, или другая причина нынешним затруднениям?" В последние годы брожение умов, ею же вызванное, испугало ее саму и толкнуло на действия, недостойные ни ее ума, ни сана, - вроде поступков с Новиковым и Радищевым. Оттолкнув от себя здоровые силы общества и убедившись в несбыточности своих преобразовательных планов, она утешала себя тем, что ее преемник будет следовать ее начинаниям и докончит "недостроенную храмину".

В 1794 году Екатерина сделала решительный шаг, объявив императорскому Совету, что намерена "устранить сына своего Павла от престола" - по причине его "нрава и неспособности" - в пользу великого князя Александра. Но, к ее удивлению, цесаревич нашел защитников в Совете. Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин возразил, что после вступления на трон нрав наследника может измениться, а граф Безбородко обратил ее внимание на худые последствия, которые может повлечь это решение, так как страна, по его словам, привыкла считать Павла Петровича наследником. Совет нашел их доводы разумными. Раздосадованная Екатерина приостановила дело.

Затем она взялась за вопрос о престолонаследии с другой стороны. Пользуясь тем, что Павел Петрович уехал в Павловск, оставив жену в Царском Селе, она предложила Марии Федоровне подписать бумагу, содержащую требование к цесаревичу отречься от престола. Великая княгиня с возмущением отказалась.

Дело вновь зашло в тупик, но вскоре последовало событие, которое заставило императрицу лично переговорить с Александром.

13 августа 1796 года в Петербург прибыл под именем графа Гаги молодой шведский король Густав IV. Его сопровождал дядя-регент, герцог Зюдерманландский, и многочисленная свита. Целью визита было устройство брака Густава IV со старшей великой

княжной Александрой Павловной.

Гость был принят императрицей с изысканной любезностью. Темно-синие шведские костюмы, напоминавшие древнеиспанские камзолы, красиво смотрелись на балах. Великие княжны танцевали только со шведами. Пожалуй, никогда при петербургском дворе не оказывалось столько внимания иностранцам.

Король был принят великой княжной Александрой Павловной как будущий жених. Все формальности поручили уладить графу Моркову.

11 сентября должно было состояться обручение. В этот день в большой придворной церкви Зимнего дворца собралось все высшее петербургское общество во главе с императрицей и митрополитом Гавриилом, который должен был совершить обряд обручения. Ждали жениха, но он все не появлялся. Прошел час, другой, третий... Недоумение публики все возрастало. На исходе четвертого часа ожидания Zubov подошел к императрице и прошептал, что шведский король отказался от своего намерения жениться на великой княжне.

Виной всему было легкомыслие Моркова. Он довольствовался устными обещаниями короля и его дяди и не позаботился перенести условия брачного договора на бумагу и скрепить их подписями обеих сторон. Поэтому, когда выяснилось, что великой княжне не разрешено переменить Православие на веру жениха, Густав IV, рьяный лютеранин, отказался иметь жену-еретичку.

После слов Zubov с Екатериной сделался первый легкий припадок паралича. Однако она нашла в себе силы попросить извинения у митрополита Гавриила и всех присутствующих и приказала всем разойтись. Все же удар был слишком силен. На другой день она призналась, что ночь с 27 на 28 июня 1762 года (перед свержением Петра III) была ничто по сравнению с нынешней.

Петербург погрузился в угрюмое молчание. Шведами демонстративно манкировали. Все были изумлены тем, что произошло. Русские, привыкшие при Екатерине считать себя первыми людьми в Европе, не могли себе представить, что "маленький королек" осмелился так неуважительно поступить с самодержавной государыней всея России. Ждали немедленного объявления войны, но никаких демаршей не последовало. Выдержав приличную паузу, шведы тихо уехали.

Александр вместе со всеми был возмущен оскорблением, нанесенным его сестре. Довольная тем, что внук разделяет ее негодование, Екатерина решила использовать момент для ускорения передачи ему власти.

16 сентября, оправившись от потрясения, но уже не покидая спальни, она вызвала Александра к себе и впервые откровенно высказала внуку свои соображения о необходимости государственного переворота. Подробности беседы остались неизвестны. Единственным документом, позволяющим судить о реакции великого князя на предложение занять престол, является его письмо к бабке от 24 сентября:

"Ваше Императорское Величество! Я никогда не буду в состоянии достойно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше Величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручные пояснения к остальным бумагам*. Я надеюсь, что Ваше Величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение Ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной милости. Действительно, даже своей кровью я не в состоянии отплатить за все то, что Вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было сообщить мне и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам Вашего Императорского Величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самой неизменной преданностью

Вашего Императорского Величества
всенижайший, всепокорнейший подданный и внук

АЛЕКСАНДР".

Это письмо - образец придворной дипломатии - написано девятнадцатилетним молодым человеком. Что можно понять из него? То, что Александр одобряет все те соображения, которые ему представила бабка, но при этом письмо не содержит и намека на его личное отношение к ее доводам. Екатерина вольна была понимать слова внука как ей вздумается, и она поняла их так, как ей хотелось. После беседы с Александром она удовлетворенно сказала своему окружению: "Я оставляю России дар бесценный - Россия будет счастлива под Александром".

Однако существует и другой документ - письмо Александра Аракчееву, помеченное 23 сентября, то есть днем, предшествующим отправке письма к Екатерине. В нем великий князь называет отца "Его Императорское Величество", а не "Высочество", и это, конечно, не описка. Возможно, подозрительный Павел заранее привел к присяге своего старшего сына. Один современник передает также, что слышал от Александра следующие слова: "Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат".

Как бы то ни было, Екатерина, уверенная в согласии внука, готовилась принародно объявить свое решение. Осенью в Петербурге распространились слухи, что 24 ноября, в день тезоименитства императрицы (называли также и 1 января нового года), последуют важные перемены. Говорили о якобы заготовленном манифесте, подписанном важнейшими лицами империи: Зубовым, Безбородко, митрополитом Гавриилом, Румянцевым, Суворовым и другими. Нельзя сказать, что Павлу очень сочувствовали, лишь некоторые из россиян, по словам очевидца, желали видеть его на престоле, "не ведая сами, ради чего".

Очевидно, если бы императрица дожила до следующего года, верноподданные увидели бы Александра на российском престоле на пять лет раньше, чем это произошло в действительности. Но судьба в этот раз избавила его от необходимости выбора между государственной пользой и сыновним чувством.

Утром 5 ноября, несмотря на холод и туман, Александр вышел на привычную прогулку по набережной. Здесь он встретил князя Константина Чарторийского и, беседуя с ним, довел его до дома. Князь Адам, живший вместе с братом, увидев в окно великого князя, спустился вниз и присоединился к разговору.

Вдруг Александра окликнул запыхавшийся придворный курьер, сбившийся с ног в его поисках. Он сообщил, что граф Н. И. Салтыков просит его как можно скорее явиться во дворец. Великий князь в недоумении последовал за курьером.

В Зимнем Александр узнал, что с императрицей случился апоплексический удар. Она проснулась, как всегда, в шесть утра, и пошла в уборную. Через довольно длительный промежуток времени дежурный камердинер, обеспокоенный тем, что государыня долго не выходит, рискнул приоткрыть дверь и в ужасе отпрянул: императрица без чувств лежала на полу, грудь ее хрипела, "как останавливающаяся машина". Ее перенесли на кровать, прислуга принялась хлопотать вокруг нее. При появлении в комнате верного Захара, придворного истопника, Екатерина приоткрыла глаза, поднесла руку к сердцу, выражая на лице мучительную боль, и впала в беспамятство - теперь уже навсегда.

Узнав о несчастье, Александр первым делом подумал об отце. Вызвав Ростопчина, он попросил его немедленно ехать в Гатчину, прибавив, что хотя граф Николай Зубов и послан туда братом, но Ростопчин лучше сумеет от него, Александра, имени рассказать о внезапной болезни императрицы.

Павел Петрович проводил этот день обычным образом: утром катался на санях, потом вышел на плац и прошел с дежурным батальоном в манеж, где провел учение и принял вахтпарад; в первом часу отправился на гатчинскую мельницу к обеденному столу и возвратился во дворец без четверти четыре.

В это время приехал граф Николай Зубов. Испуганный наследник подумал, что фаворит приехал арестовать его и отвезти в замок Лоде, - о таком исходе противостояния

Павла Петровича и Екатерины давно поговаривали при дворе. Когда же он узнал об истинной причине визита брата фаворита, он пришел в такое волнение, что его любимец, граф Кутайсов, уже собирался позвать врачей, чтобы они пустили ему кровь.

Затем, как повествует камер-фурьерский журнал, "без малейшего упущения времени Их Императорские Высочества соизволили из Гатчины отсутствовать в карете в Санкт-Петербург, ровно в четыре часа пополудни". Павел спешил напомнить всем о своем существовании - всего четверть часа понадобилось ему на сборы!

На пути в столицу цесаревич поминутно встречал курьеров, спешивших к нему с важным известием; он оставлял их при себе, и они составили предлинную свиту его кареты. По словам Ростопчина, в Петербурге не осталось ни одной души, кто бы не отправил нарочного в Гатчину, надеясь этим заслужить милость наследника. Даже придворный повар с рыбным подрядчиком, скинувшись, наняли курьера и послали его к Павлу.

В девятом часу вечера Павел Петрович приехал в Зимний дворец, битком набитый людьми. Все со страхом смотрели на Павла, имея, говоря словами современника, только одно на уме: что теперь настанет пора, когда и подышать свободно не удастся.

Великие князья Александр и Константин встретили отца в мундирах своих гатчинских батальонов. Они обратились к нему уже как к государю, а не наследнику.

Павел с женой тотчас прошел к умирающей матери. Поговорив с врачами, наследник уединился с Александром в кабинете и вызвал к себе Аракчеева, только что приехавшего из Гатчины. Когда гатчинский губернатор явился, Павел стал отдавать ему приказы по армии. Аракчеев был поражен размахом преобразовательных планов.

- Но, ваше величество, - осмелился возразить он, - каких же сумм потребует подобное увеличение и содержание одной только гвардии?

- Успокойся, - ответил Павел, - не забывай, что теперь у нас будет не тридцать тысяч, а семьдесят миллионов.

Отдав все распоряжения, которые считал необходимым сделать, новый государь сказал:

- Смотри, Алексей Андреевич, служи мне верно, как и прежде.

И, подозревав Александра, соединил их руки:

- Будьте друзьями и помогайте мне.

Великий князь, увидев, что мундир Аракчеева забрызган грязью от быстрой езды, обратился к нему:

- Ты, верно, второпях не взял чистого белья, так я дам тебе.

Он повел его к себе и выдал собственную рубашку. В этой рубашке Аракчеев, согласно его желанию, спустя тридцать восемь лет и был похоронен.

Екатерина боролась со смертью еще тридцать шесть часов, ее страдания не прекращались ни на минуту. Вечером 6 ноября, без четверти десять, она умерла, не приходя в сознание. Ей было от роду 67 лет, 6 месяцев и 15 дней.

Бог не судил ей увидеть предательство ее любимого внука, который, узнав о смерти бабки, довольно заявил, что теперь, слава Богу, ему не придется впредь "слушаться старой бабы".

Часть вторая

Отцовская казарма

Характер века - осторожно!

Спиноза

I

Взгляну - и каждый подданный трепещет.

В. Шекспир. Король Лир

Как только врачи объявили о смерти императрицы, Павел, не теряя ни минуты, отдал приказ о приведении двора к присяге. Церемония началась в полночь в придворной церкви. Сначала генерал-прокурор граф Самойлов зачитал манифест о кончине императрицы Екатерины II и вступлении на престол императора Павла Петровича; наследником престола

объявлялся цесаревич Александр. Затем приступили к присяге. Первой на верность государю и супругу присягнула Мария Федоровна. Поцеловав крест и Евангелие, она прошла на свое императорское место, обняла Павла и поцеловала в губы и глаза. Вслед за ней, по старшинству, присягали дети государя - они целовали отцу руку, - потом митрополит Гавриил и духовенство, за ними - сановники и прочие. Все закончилось глубокой ночью панихидой у тела покойной императрицы.

Под утро по распоряжению государя Александр в сопровождении Аракчеева и двух офицеров расставил у дворца новые полосатые будки и часовых в гатчинских мундирах. Преобразование России в Гатчину началось.

По единодушному свидетельству очевидцев, никогда еще не было столь быстрой перемены во всем. Все изменилось "быстрее, чем в один день": костюмы, прически, манеры, занятия. Первой пала французская, то есть, по мнению Павла, "революционная", мода. Выйдя наутро на прогулку, петербуржцы не узнали сами себя. Воротники и галстуки, прежде такие пышные, что закрывали подбородок, уменьшились и укоротились, обнажив тонкие шеи и выдающиеся вперед челюсти, которых раньше не было видно. Волосы вместо модной прически на французский лад (их завивали и закалывали сзади) стали зачесывать прямо и гладко, с двумя туго завитыми локонами над ушами, на прусский манер, связывая сзади, у самого корня, в пучок; обильно напомаженные и напудренные, они напоминали "наштукатуренную стену". Щеголи в изящных расстегнутых камзолах преобразились в скучных добропорядочных юношей в наглухо застегнутых костюмах прусского покроя времен Фридриха II.

Немногие смельчаки, продолжавшие гулять в крамольных круглых шляпах и широких двубортных кафтанах, возвратились домой оборванными: полиция беспощадно раздирала запрещенные платья и срывала с голов шляпы. Даже английский посланник лорд Уитворт предусмотрительно перекроил свою круглую шляпу, опасаясь служебного рвения полицейских.

Император, выехавший с Александром в девятом часу из дворца для осмотра города, с удовлетворением взирал на онемевших подданных. При встрече с государем каждый экипаж должен был остановиться: кучер, форейтор и лакей обязаны были снять шапки, а владелец - выйти и сделать глубокий поклон царю, внимательно наблюдавшему, достаточно ли почтительно он выполнен (Павлу все казалось, что им пренебрегают, как и в бытность его наследником). Поэтому встреч с ним старались всеми средствами избегать сворачивали в прилегающие улицы, прятались в подворотни.

В одиннадцатом часу Павел принял первый вахтпарад, который с тех пор приобрел значение государственного дела и на несколько десятилетий сделался ежедневным занятием русских государей. Отныне на вахтпараде происходили самые важные события, здесь раздавались чины и награды, здесь подвергались опалам. В зависимости от хода вахтпарада Павел на весь остаток дня становился довольным или раздражительным, снисходительным и расточавшим милости или строгим и даже ужасным.

В тот же день перед войсками был зачитан приказ о назначении Александра полковником Семеновского полка, а Аракчеева - комендантом Санкт-Петербурга и командующим Преображенским полком. 8 ноября Аракчеев был произведен из полковников в генерал-майоры и занял покой князя Платона Зубова. Павел сдержал данное ему слово, что сделает из него человека.

"Гатчинский капрал" сразу приступил к усмирению высокомерия екатерининских орлов. На ближайшем разводе гвардейцы слышали его гнусавый голос с первым обращенным к ним приветствием:

- Что же вы, ракалии, не маршируете? Вперед, марш!

Отношение Аракчеева к армии отлично характеризует следующий случай: при смотре Екатеринославского гренадерского полка он назвал его славные знамена, не склонившиеся ни перед одним врагом, "екатерининскими юбками"! Что должны были думать суворовские и румянцевские ветераны, слыша эти слова от человека, ни разу не бывавшего под

выстрелами?

10 ноября гатчинские войска торжественно вступили в столицу. Для обоих великих князей это был беспокойный день: они должны были идти во главе гатчинцев и промаршировать перед императором. Их волновало то, как их встретят петербуржцы, плохо расположенные к этому войску, а главное сумеют ли они угодить отцу. Однако все прошло благополучно. Публика была приятно поражена силой и ростом великанов-кавалергардов и отличным содержанием лошадей гатчинской кавалерии; Павел остался доволен внешним видом и линией строя своих гвардейцев. Выстроив их на дворцовой площади, он сказал:

- Благодарю вас, мои друзья, за верную службу, и в награду за оную вы поступаете в гвардию, а господа офицеры - чин в чин.

Гатчинцев развели по домам петербуржцев, которые от страха приняли их так хорошо, что вечером этого дня во многих городских канавах можно было видеть мертвецки пьяных гренадер в остроконечных касках прусского образца.

Каждый новый день происходили события, одно удивительнее другого.

19 ноября тело Петра III было вынуто из гробницы в Александро-Невской лавре и положено в великолепный катафалк. Затем Павел короновал своего беспечного родителя*. 2 декабря останки покойного императора были поставлены в Зимнем рядом с телом покойной императрицы для прощания; 18-го они обрели вечный мир друг возле друга.

8 декабря все пленные поляки были отпущены и покинули Петербург. Не были забыты и русские политические заключенные. Радищев был возвращен из ссылки с разрешением жить в деревне; Новикова освободили из Шлиссельбургской крепости.

После отъезда Костюшко Мраморный дворец занял отрекшийся польский король Станислав Август, живший до этого в Гродно. Во время его переезда в Петербург произошло одно в общем-то незначительное событие, имевшее, однако, далеко идущие последствия. В Риге Станиславу Августу была приготовлена торжественная встреча: на улицах расставлена почетная стража из именитых горожан, в одном из лучших домов приготовлен парадный обед. Но все почести достались не польскому королю, опоздавшему к назначенному дню, а Платону Зубову, ехавшему через Ригу за границу.

Как выяснилось, виной всему было высокомерие ливонских баронов, не желавших чествовать развенчанного поляка. Царь, узнав об этом, пришел в сильнейший гнев. Барону Петру Александровичу фон дер Палену, распоряжавшемуся этой встречей, был послан грозный рескрипт: "Господин генерал-лейтенант Пален, с удивлением уведомился я обо всех подлостях, вами оказанных в проезде князя Зубова через Ригу. Из сего и я делаю сродное о свойстве вашем заключение, по коему и поведение мое против вас соразмерно будет". Вслед за тем последовал указ о "выключении" Палена из службы. Пален, желавший преподать царю урок независимости немецкого дворянства, был глубоко оскорблен и унижен этой крутой мерой. Своим указом Павел приобрел смертельного врага и создал своего будущего убийцу.

Но вместе с тем, по словам современника, "корабль не грузился, а выгружался способными людьми". Суворов и многие другие заслуженные генералы попали в опалу. Офицеры находили воинскую службу под началом Аракчеева "преисполненной отчаяния"; на вахтпарад шли, как на Лобное место.

Павел принялся за подвиг "исцеления" России черезчур поспешно, всецело полагаясь на единственное средство - свою неограниченную власть. "Одно понятие: самодержавие, одно желание: самодержавие неограниченное - были двигателями всех действий Павла, - писал барон М. А. Корф. - В его царствование Россия обратилась почти в Турцию". Уже давно самодержавие в России не проявлялось в такой грубой и вместе с тем простой и даже наивной форме. Как-то при Павле упомянули о законе. Царь ударил себя в грудь:

- Здесь ваш закон!

Павел чрезвычайно спешил с коронацией, чтобы не повторить ошибки отца. Против всех русских обычаев, она была назначена на 5 апреля - царя не остановила даже весенняя распутица.

10 марта весь чиновный Петербург потянулся в первопрестольную. Стояли сильные холода, но вельможи состязались в том, кто быстрее доедет, и, укутанные в несколько шуб, немилосердно пихали кулаками и палками кучеров.

Александр выехал вслед за отцом на другой день. Он впервые пускался в столь далекое путешествие. Привыкнув к правильной геометрии северной столицы, он был поражен видом Москвы: она показалась ему скорее беспорядочной грудой посадов, чем городом. Различные ее части были отделены друг от друга не только садами, парками и огородами, но и обширными полями, вспаханными или пребывающими в запустении (он с удивлением узнал, что визиты на другой конец города занимают здесь больше часа). Рядом с деревянными лачугами стояли пышные каменные дворцы Голицыных, Долгоруких и других опальных вельмож, искавших здесь отдохновения от испытанных при дворе разочарований. Возле Кремля купеческие ряды и лавки придавали Красной площади вид восточного базара.

28 марта, в Вербное воскресенье, состоялся торжественный въезд государя в Москву. Улицы были еще покрыты снегом, и мороз был такой, что многих офицеров из свиты Павла снимали с лошадей совершенно окоченевшими. Несмотря на это, верховые, скакавшие впереди, приказывали толпившимся людям снимать шапки и перчатки.

Павел ехал верхом один, чуть поодаль следовали Александр и Константин. Весь путь царь держал шляпу в руке и приветствовал ею толпу, которой чрезвычайно нравилось это. Впрочем, лица людей выражали скорее любопытство, чем радость. Гораздо больше оживления вызывало приветливое лицо и обаятельная внешность наследника.

Коронация состоялась в день Светлого Христова Воскресения. В Успенском соборе священнодействовали митрополиты Платон и Гавриил. И здесь не обошлось без новшеств. Вместе с Павлом была коронована и императрица Мария Федоровна, чего никогда не бывало прежде, а после обряда Павел зачитал акт, в котором впервые именовал себя "главою Церкви".

Коронационные торжества продолжались несколько дней и сопровождались раздачей чинов, орденов, казенных земель и крестьян. 82 тысячи свободных душ разом перешли в крепостное состояние. Основную часть пожалований получил теперь уже не граф, а князь Безбородко, вознагражденный таким образом за содействие в передаче Павлу бумаг о престолонаследии, - на его долю пришлось 30 тысяч десятин земли с 16 тысячами крестьян. Аракчеев был произведен в александровские кавалеры и пожалован бароном.

Всем публичным церемониям предшествовали репетиции, во время которых Павел, как деятельный импрессарио, сам занимался постановкой сцен. На людях он начинал идти размеренным шагом, словно герой античной трагедии, и старался придать величия своей маленькой фигурке; но едва он попадал в свои апартаменты, как тотчас приобретал свои обычные манеры и походку, выдавая этим усталость от напряжения казаться величественным и внушительным. Вообще праздники из-за строгой регламентации были совсем не веселы, а утомительны, и все радовались их окончанию.

Из Москвы царь в сопровождении великих князей отправился в путешествие по России, посетив Смоленск, Оршу, Могилев, Минск, Вильно, Митаву, Ригу и Нарву. Во время поездки он был большей частью доволен и весел. Лишь один случай разгневал его. В одном месте Смоленской губернии Павел заметил крестьян, чинивших по приказу помещика Храповицкого дорогу для проезда государя. Отправляясь в путешествие, царь отдал приказ, запрещающий восстанавливать специально ради него дороги, и теперь, прибыв на ближайшую станцию, стал громко возмущаться вопиющим ослушанием его распоряжения.

- Как вы думаете, Храповицкого надо наказать в пример другим? спросил Павел свиту.

Все подавленно молчали. Тогда царь обратился к Александру:

- Ваше высочество, напишите указ, чтобы Храповицкого расстрелять, пусть народ знает, что вы дышите одним со мной воздухом.

Наследник, как громом пораженный, удалился в соседнюю комнату. Он совершенно растерялся и не знал, что делать, - приказание было неслыханное. В это время он увидел, как к крыльцу подъехала карета отставшего князя Безбородко. Александр выбежал к нему и

взволнованно стал упрашивать пойти успокоить отца. Выслушав наследника, князь кивнул: "Будьте благонадежны" и вместе с ним направился к Павлу.

Царь, смутно сознавая, что сделал что-то не то, радостно обратился к Безбородко:

- Ну вот, Александр Андреевич, как вы думаете, хорошо ли я сделал, что приказал Храповицкого расстрелять?

- Достойно и достохвально, государь, - как ни в чем не бывало ответил князь.

Александр и все остальные в изумлении уставились на него. Павел, облегченно вздохнув, сказал им:

- Вот видите, что говорит умный человек. А вы чего все испугались?

Но Безбородко, крикнув, продолжил:

- Только, государь, Храповицкого надо казнить по суду, чтобы все знали, что ослушника повеления государя карает закон. Следовательно, нужно послать указ Смоленской уголовной палате, чтобы она немедленно приехала в полном составе на место и вынесла свое определение.

Павел, подумав, согласился с этим и послал в Смоленск фельдъегеря. Члены уголовной палаты, предупрежденные Безбородко, что им следует быть чрезвычайно осторожными в своем решении (дабы не создать скандального и нежелательного прецедента), оправдали Храповицкого тем, что дороги были подмочены дождями и потому затеянные им дорожные работы не нарушали государева указа.

2 июня Павел и великие князья возвратились в Петербург.

II

Скажи, где цель и где моя награда

За тяжкий труд, что всю расхитил юность,

Опустошил мне сердце и коснеть

В невежестве оставил пылкий дух?

Ведь этот лагерь - шум и брань солдат,

Сигнал горниста, ржание коней,

Размеренный порядок на ученьях,

Треск ружей, сабель звон, слова команды

Что это все для жаждущего сердца?

Бездушное ничтожество! Но есть

Иное счастье, радости иные!

Ф. Шиллер. Пикколомини

В первые годы нового царствования Александр пользовался всеми официальными почестями, полагающимися ему как наследнику, и полным доверием отца. Павел отпускал на содержание его двора 500 тысяч рублей (двор Елизаветы Алексеевны обходился еще в 150 тысяч). Помимо сана цесаревича Александр получил от отца должность военного губернатора Санкт-Петербурга, был назначен шефом лейб-гвардии Семеновского полка и исполнял обязанности инспектора по кавалерии и пехоте Санкт-Петербургской и Финляндской дивизий; с 1 января 1798 года он еще и председательствовал в военном департаменте "за труды его в благодарность", как сказано в высочайшем рескрипте, а в конце 1799 года был назначен сенатором и должен был присутствовать на заседаниях Императорского Совета.

Эти занятия и обязанности поглощали почти все его время. Ежедневно в семь часов утра цесаревич подавал императору рапорт. За малейшую ошибку в рапорте, незнание или тем более укрывание каких-то упущений по службе следовал такой разнос, что придворные часто видели, как великий князь покидал кабинет государя весь бледный, с трясущимися руками. Благорасположение и строгость Павла, смена его настроений были непредсказуемы, их нельзя было избежать, от них невозможно было укрыться; оставалось смириться и трепетать. Отца Александр боялся смертельно - до той степени ужаса, который уже граничит с любовью к карающей руке. Вместо того чтобы оказывать покровительство другим, цесаревич вынужден был сам искать его у тех, кто имел влияние на царя, ибо Павел, этот

грозный самодержец, на удивление легко поддавался влиянию более сильных или просто ловких натур.

При таких обстоятельствах точное и неукоснительное исполнение наследником своих многочисленных служебных обязанностей сделалось в глазах Павла показателем его лояльности. В первую очередь это касалось военной службы. Неопытный и слабовольный Александр, к тому же близорукий и глуховатый, не мог, конечно, в одиночку справиться со сложными требованиями новых уставов; ему был необходим знающий, дельный помощник. И он легко нашел его. Таким советником и оберегателем Александра стал Аракчеев. По настоятельной просьбе наследника он с готовностью муштровал "хорошенько" вверенные Александру войска и не оставлял его своими советами. Вся их переписка этих лет свидетельствует об этом.

Александр - А. А. Аракчееву:

"Я получил бездну дел, из которых те, на которые я не знаю, какие делать решения, к тебе посылаю, почитая лучше спросить хорошего совета, нежели наделать вздору".

"Прости мне, друг мой, что я тебя беспокою, но я молод, и мне нужны весьма еще советы; итак, я надеюсь, что ты ими меня не оставишь".

"Смотри ради Бога за семеновскими".

Малейшее нездоровье Аракчеева вызывало со стороны Александра бурные, хотя и не совсем бескорыстные излияния: "Друг мой, Алексей Андреевич, искренне сожалею, что ты нездоров, а особливо что ты кровью харкал. Ради Бога побереги себя, если не для себя, то по крайней мере для меня. Мне отменно приятно видеть твои расположения ко мне. Я думаю, что ты не сомневаешься в моем и знаешь, сколько я тебя люблю чистосердечно"; при каждой разлуке цесаревич "с отменным нетерпением" ожидал встречи: "Мне всегда грустно без тебя".

Все же и помощь многоопытного служаки не всегда спасала его от отцовского гнева. В одном письме 1797 года Александр доверительно сообщил Аракчееву, что думает об отставке. В другом письме он откровенно признается ему в своих мучениях: "Завтра у нас маневры. Бог знает, как пойдет. Я сомневаюсь, чтобы хорошо было. Я хромой. В проклятой фальшивой тревоге помял опять ту ногу, которая была уже помята в Москве, и только что могу на лошади сидеть, а ходить способу нет; итак, я с постели на лошадь, а с лошади на постель".

Так начиналась и крепла эта странная дружба. В 1820 году Александр имел полное право написать Аракчееву: "Двадцать пять лет могли тебе доказать искреннюю мою привязанность к тебе и что я не переменчив". Следует помнить, что великий князь сошелся с гатчинским капралом в период его жесточайших неистовств во фронте.

Приблизительно тогда же произошла решительная размолвка и с Елизаветой Алексеевной. До сих пор их брак оставался бесплодным. Но 18 мая 1799 года Елизавета Алексеевна родила великую княжну Марию. Девочка оказалась слабой и прожила всего чуть больше года. 27 июля 1800 года она умерла в Царском Селе и была похоронена в Александро-Невской лавре.

Вместо того чтобы поддержать жену в это трудное время, Александр совершенно удалился от нее. Причиной его охлаждения была не его собственная неприязнь, а гнев Павла на баденского принца после обнародования его соглашения с Французской республикой. Баденские принцы в одну минуту лишились шефства в русских полках; переписка Елизаветы Алексеевны перлюстрировалась. Александр совершенно забросил жену, как всегда забрасывал вещи, идеи и людей, наскучивших ему или причинявших ненужные хлопоты.

Поглощенный своими обязанностями при дворе, на службе, Александр располагал собой только вечером, после обеда. Это время, несмотря на утомление, он проводил по-прежнему с молодым князем Чарторийским. Разговаривали о будущем России. Сбросив мундир, наследник становился горячим и искренним другом свободы. Деспотизм отца производил на него "сильное и тяжелое впечатление"; предстоящая ему самому коронация вызывала в нем отвращение и протест. "Его искренность, прямота, способность увлекаться

прекрасными иллюзиями придавали ему обаятельность, перед которой было невозможно устоять", - вспоминал князь Адам, который и тридцать лет спустя сохранил уверенность, что "убеждения его были искренними, а не напускными".

Однажды (это было в 1797 году) Александр буквально заставил Чарторийского написать от его имени нечто вроде проекта манифеста - в предвидении того времени, когда власть перейдет к нему. Разъясняя в нем блага свободы и справедливости, Александр делал вывод о несовместимости с ними государственного порядка Российской империи и объявлял о своем решительном намерении сложить с себя власть, чтобы нация могла выбрать себе более достойного правителя. Иначе говоря, он желал издали наслаждаться плодами своего доброго дела.

В то же время тайный интимный кружок Александра и князя Чарторийского расширился. Произошло это стараниями князя Адама. Он был вхож в дом старого графа Александра Сергеевича Строганова и как бы вошел в его семью. Строганов питал слабость к европейцам и европеизму, а князь Адам был первым и обладал вторым. Большую часть жизни старый граф провел в Париже, бывал в обществе Гримма, Гольбаха, Д'Аламбера, посещал литературные салоны известных дам эпохи Людовика XV. Вместе с тем этот либерал был прирожденным придворным куртизаном, то есть хороший прием при дворе был ему необходим не из-за честолюбия и расчета, а просто потому, что для него были непереносимы холодный вид и нахмуренные брови государя. Это качество обеспечило ему безбурное существование при трех столь непохожих друг на друга царствованиях: Екатерины, Павла и Александра.

В доме Александра Сергеевича Чарторийский близко сошелся с его сыном, графом Павлом Александровичем, и с Николаем Николаевичем Новосильцовым, воспитанником и любимцем семьи, приходившимся Строгановым дальним родственником. Последний также уже успел оказать благодетелям важную услугу.

Старый граф желал воспитать сына во французском духе, для чего пригласил ему в гувернеры Жильбера Ромма, либерально-просвещенную личность с темным прошлым и, как оказалось, чересчур известным революционным будущим. Новый гувернер, поклонник Руссо, вознамерился сделать из своего воспитанника Эмиля. Отправившись с согласия старого графа в Париж с Павлом Александровичем, он по пути заставлял его идти пешком и выполнять все нравственно-гигиенические требования, предписанные Руссо молодым людям. В Париж они прибыли в самый разгар революции. Ромм немедленно предоставил своему ученику возможность принять участие в собраниях революционных клубов; вскоре они остановили свои симпатии на клубе якобинцев и некоторое время усердно посещали их собрания и заседания Национального собрания, о чем Ромм откровенно и наивно сообщал старому графу, почитателю свободомыслия и конституции. В 1790 году Ромм основал собственный Клуб друзей закона, куда записал, конечно, и своего воспитанника. В это время Павел Александрович сошелся со знаменитой Теруан де Мерикур, без долгих раздумий и особых усилий поменявшей свое положение первой куртизанки Парижа на роль хозяйки революционного салона. Влюбленный Строганов разгуливал по улицам города в красном фригийском колпаке и готов был сделаться совершенным демагогом. Слухи о непотребном поведении молодого человека дошли наконец до Петербурга, и "буря разразилась", как с прискорбием сообщил Ромму отец красного графа. Екатерина II приказала вернуть Павла Александровича под родительский кров. Спасать заблудшего Эмиля был послан Новосильцов, который в начале 1791 года благополучно доставил Павла Александровича в Петербург. Некоторое время молодой Строганов жил в деревне у матери (графиня Екатерина Петровна давно разошлась с мужем), затем императрица назначила остывшего якобинца камер-юнкером, а Павел сделал его действительным камергером. Тогда же Павел Александрович женился на умной и образованной княжне Софье Владимировне Голицыной. С годами он "прозрел" и остепенился, но революционное прошлое, конечно, оставило в нем свои следы: Павел Александрович продолжал сочувствовать свободе во всех ее проявлениях.

Услуга, оказанная Новосильцовым семье Строгановых, сделала его советчиком и почти

распорядителем в доме. Николай Николаевич гордился своим независимым характером и тем, что поступает сообразно с раз навсегда принятыми взглядами. Новосильцов был умен, проницателен, усидчив в работе; последнему качеству, правда, мешала любовь к чувственным наслаждениям, однако, несмотря на частые позывы плоти и страстей, Новосильцов много читал, изучал состояние русской и европейской промышленности и приобретал знания в области политической экономии и законодательства. Ко всему этому добавлялось еще поверхностное философствование, чтобы показать, что он свободен от всяких предрассудков.

В июне 1798 года к четверке присоединился Виктор Павлович Кочубей, племянник князя Безбородко, друг юности Александра. Это сближение соответствовало и желанию Павла, который, отозвав Виктора Павловича из Константинополя, где он состоял на должности посланника, определил его к наследнику, "чтобы он был у великого князя то, что у меня князь Безбородко".

Помимо этого интимного кружка было еще двое молодых людей, которых Александр принимал у себя в качестве друзей, - князь Александр Николаевич Голицын и князь Петр Михайлович Волконский.

Голицын состоял при наследнике камер-юнкером. Его прозвали "маленький Голицын" - за небольшой рост. Он сумел понравиться Александру: его беседа была всегда забавна, он знал все городские сплетни и хорошо пародировал речь и манеры каждого, о ком говорил. (В отсутствие великого князя Голицын часто представлял Павла, и так удачно, что "все начинали дрожать перед ним".) При Екатерине молодой камер-юнкер был страстным поклонником императрицы и не стеснясь говорил, что был бы счастлив, несмотря на ее годы, попасть в число ее любовников. В те годы он вообще был убежденным эпикурейцем, "позволявшим себе с расчетом и обдуманно всевозможные наслаждения, даже с весьма необычайными вариациями". Этим качеством во многом объясняется его последующий мистицизм.

Волконского сблизили с Александром служебные отношения: князь Петр Михайлович был адъютантом наследника в Семеновском гвардейском полку. Не обладая выдающимися способностями, он был очень точен и аккуратен в исполнении служебных обязанностей, что чрезвычайно ценилось Павлом и было совершенно необходимо Александру. Волконский неизменно пребывал в ровном расположении духа; его суждения были всегда благоразумны, и он смело высказывал их даже тогда, когда они шли вразрез с мнением наследника. Охотно оказывая услуги другим, он в то же время не терпел, чтобы ему в них отказывали. Дружба с Александром обеспечила ему блестящую служебную карьеру.

Интимный кружок наследника просуществовал недолго. Ухудшение отношения Павла к старшему сыну сказалось и на его друзьях. Первым неудовольствие царя вызвал Новосильцов, остававшийся верным своему принципу независимости. На совещании молодых друзей наследника было решено отослать его в Англию подальше от беды. Новосильцев был хорошо принят русским посланником в Лондоне графом Семеном Романовичем Воронцовым и возвратился в Россию только после кончины Павла Петровича.

За Новосильцовым пришла очередь Чарторийского. Республиканские взгляды адъютанта наследника пришлись не по вкусу царю, и в 1798 году князь Адам получил назначение ехать на Сардинию в должности русского посланника при местном дворе. При расставании с другом Александр выразил искреннее сожаление, но Чарторийский заметил некоторую перемену, произошедшую в великом князе и в его отношении к нему: "Он ближе узнал уже действительную жизнь, и она начала производить на него свое действие".

III

Ничто столь не чуждо государю, ничто не вызывает большей неприязни у окружающих, чем грубость и то, что называют своеобразием.

Джованни Понтано. Государь

Политику Павла, внешнюю и внутреннюю, часто называли непредсказуемой и произвольной. Действительно, на первый взгляд может показаться, что она целиком зависела

от его минутной прихоти. Но прихоти Павла имели в своей основе старомодное чувство рыцарской чести, чуть ли не в средневековом его значении. Он желал быть монархом, чьи действия определяют не "интересы", не "польза", тем более не "воля народа", а исключительно высшие понятия чести и справедливости.

Именно эти соображения толкнули его на новую причуду - стать гроссмейстером ордена св. Иоанна Иерусалимского, или так называемого Мальтийского ордена. Впрочем, некоторые придворные подозревали, что сюда примешалось и овладевшее Павлом страстное желание фигурировать перед Лопухиной в ореоле рыцарского героизма. (Он в самом деле смешивал свои любовные похождения с делами политики: например, клал к ногам Лопухиной трофеи, добытые суворовскими войсками.) Как бы то ни было, православный царь не увидел никакого затруднения в том, чтобы стать во главе самого католического из орденов.

Полномочный министр Мальтийского ордена при русском дворе граф де Литта и его брат, папский нунций, с радостью пошли навстречу желанию Павла. Орден переживал не лучшие времена. Его командорства в различных странах Европы были закрыты или конфискованы, сама Мальта находилась под угрозой захвата ее Францией или Англией. По воле Павла все изменилось: были восстановлены не только командорства ордена в Польше, но и появились новые - в самой России.

Зная слабость царя к различного рода церемониям, Литта специально для него составил по старинным обрядам ордена церемониал торжественного капитула, на котором должно было состояться посвящение новых рыцарей. 29 ноября 1798 года в Зимнем дворце капитул мальтийских рыцарей провозгласил царя своим новым гроссмейстером. Павел, Александр, Константин и все новые кавалеры ордена в ознаменование присяги воздели шляпы и обнажили шпаги, а знаменосцы расчехлили и подняли орденские знамена. В тот же день был обнародован манифест, в котором объявлялось о "новом заведении ордена святого Иоанна Иерусалимского в пользу благородного дворянства Империи Всероссийской", чтобы открыть для дворян "новый способ к поощрению честолюбия на распространение подвигов их, отечеству полезных и нам угодных". Обществу грозила серьезная опасность увидеть Аракчеева в трубадурах.

С этих пор Павел неоднократно появлялся на торжественных выходах в гроссмейстерской мантии, с крестом первого гроссмейстера ордена де ла Валетта на шее, который ему поспешили прислать из Рима. Он требовал, чтобы все относились к орденским обрядам с величайшей серьезностью, и, воображая себя новым Баярдом, заставлял ставить в придворном театре пьесы из времен рыцарства. Придворные, посвященные в рыцари, должны были носить старинный орденский наряд: длинную мантию из черного бархата с вышитыми на ней крестами. Этот театральный маскарад вызывал улыбки у всех, кроме Павла.

Единственным результатом заседаний гроссмейстерского капитула был брак графа Литты, освобожденного папой от обета безбрачия, с племянницей покойного Потемкина, графиней Скавронской, еще очень красивой женщиной, принесшей мужу богатое состояние и чин обер-камергера. А единственным политическим результатом мальтийских придворных забав стал разрыв с Англией, захватившей Мальту и таким образом лишившей царственного гроссмейстера его новых владений.

Одновременно с этим Павел рассорился и с Австрией, которая, вернув себе с помощью русских войск Италию, вовсе не горела желанием восстанавливать французский трон. Следствием этого нерыцарского поведения союзников стала радикальная перемена всей внешней политики России. Правда, царь так не считал. В разговоре с датским послом он сказал, что "политика его вот уже три года остается неизменной и связана со справедливостью там, где его величество полагает ее найти; долгое время он был того мнения, что справедливость находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем державам; теперь же в этой стране в скором времени водворится король, если не по имени, то по крайней мере по существу, что изменит положение дела". Не

довольствуясь этим, Павел велел напечатать в русских газетах вызов всем тем монархам, которые не желают действовать с ним заодно, чтобы поединком разрешить несогласия. (Секундантами царя должны были выступить граф Кутайсов, теперь и обер-шталмейстер Мальтийского ордена, и барон фон Пален, восстановленный к тому времени на службе и назначенный губернатором Петербурга.)

Следует отдать должное проницательности Павла: от него не укрылась подлинная сущность государственного переворота 18 брюмера 1799 года во Франции*. Царь с симпатией взирал на молодого первого консула, чьи честолюбивые намерения оставались пока тайной для многих французов.

Возмездием Англии за Мальту стало эмбарго, наложенное Павлом на английские суда и товары во всех российских портах. Одновременно царь приказал Ростопчину, фактически возглавлявшему коллегии иностранных дел, изложить свои мысли о политическом состоянии Европы. Ростопчин представил мемориал, не подозревая, по его словам, что этот документ не только произведет важные перемены в политике, но и послужит основанием новой политической системы. Павел продержал у себя этот документ два дня и возвратил автору с резолюцией: "Апробую ваш план во всем, желаю, чтобы вы приступили к исполнению оного: дай Бог, чтоб по сему было!"

Главная мысль ростопчинского мемориала заключалась в тесном союзе с Францией (то есть с Наполеоном) для раздела Турции, что должно было уничтожить влияние Англии в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Предполагалось привлечь к разделу Австрию и Пруссию, соблазнив первую Боснией, Сербией и Валахией, а вторую - некоторыми северогерманскими землями, против присоединения которых остальные союзники не будут возражать в награду за участие в антианглийской коалиции. Россия, писал Ростопчин, может рассчитывать на Румынию, Болгарию и Молдавию, "а по времени греки и сами подойдут под скипетр российский". Эта мысль понравилась Павлу, и он приписал на полях: "А можно и подвести".

Об Англии Ростопчин отзывался крайне неодобрительно, говоря, что она "своей завистью, пронырством и богатством была, есть и пребудет не соперница, но злодей Франции". В этом месте царь одобрительно приписал: "Мастерски писано!" - а там, где мемориал распространялся о том, что Англия вооружила против Франции "все державы", сокрушенно черкнул: "И нас, грешных". Согласившись с мнением автора, что союз с Францией позволит соединить престолы Петра Великого и святого Константина, Павел тем не менее заключил: "А меня все-таки бранить станут".

Наполеон и сам искал союзника в борьбе против Англии и в свою очередь прозорливо угадал переменчивый нрав Павла. Демонстрируя свои добрые отношения к России, он приказал отпустить без всяких условий всех русских пленных, захваченных французскими войсками в итальянско-швейцарскую кампанию 1799-1800 годов. В состоявшейся по этому поводу беседе с русским послом графом Спренгтпортеком первый консул особенно напирал на то, что географическое положение России и Франции обязывает обе страны жить в тесной дружбе. Помимо этого Наполеон послал Павлу собственноручное письмо, в котором заверял царя, что если тот пошлет к нему свое доверенное лицо с необходимыми полномочиями, то через двадцать четыре часа на материке и на морях водворится мир.

Поступок Наполеона с русскими пленными очаровал Павла. Он ответил письмом от 18 декабря 1799 года, отправленным вместе с полномочным послом Колычевым. В нем царь проявил верх великодушия и снисходительности. "Я не говорю и не хочу говорить ни о правах человека, ни об основных началах, установленных в каждой стране, - писал он. - Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается".

Впрочем, вслух Павел говорил иное. Однажды, разложив на своем столе карту Европы, он согнул ее надвое со словами:

- Только так мы можем быть друзьями.

Союз с Наполеоном был заключен. Цели, преследуемые им, гораздо более соответствовали интересам Франции, нежели России. Похвалив проницательность Павла

относительно монархических намерений Наполеона, приходится признать, что сближение с первым консулом было политической близорукостью, крупной внешнеполитической ошибкой царя. Действуя заодно с ним против Англии, Павел косвенным образом способствовал укреплению власти Наполеона и росту влияния Франции в Европе, то есть в какой-то мере оказался ответственным и за Аустерлиц, и за пожар Москвы.

Царь готовил Англии еще один сюрприз - он намеревался отобрать у нее Индию. Этот замысел вынашивался в строжайшем секрете, помимо самого Павла в него были посвящены всего несколько военных чиновников. В рескрипте атаману войска Донского генералу от кавалерии Орлову (январь 1801 года) приказывалось как можно быстрее выступить в поход; до Индии идти вам всего месяц, писал царь, зато "все богатство Индии будет нам за сию экспедицию наградой". В случае нужды Павел обещал послать вслед казакам пехоту, "но лучше, кабы вы то одни сделали". При рескрипте прилагались карты маршрута до Хивы: "далее уже ваше дело достать сведения до заведений английских"*. Кроме того, прибавил Павел, "мимоходом утвердите Бухару, чтобы китайцам не досталась".

Это распоряжение Павла обычно относят к разряду исторических анекдотов. Но в то время планы военной экспедиции в английскую Индию посещали головы многих государственных деятелей и кондотьеров. Достаточно сказать, что египетский поход Наполеона был лишь подготовительным этапом для проникновения в Индию; первый консул готов был поддержать и это начинание царя, но Павел твердо решил пожать лавры единолично. Примерно тогда же французскому правительству было представлено на рассмотрение два проекта изгнания англичан из Индии. Автор одного из них для успешного исхода дела считал достаточным восьми судов с трехтысячным десантом. Конечно, этот проект выглядел авантюрой, но авантюрой не безнадежной. Военные силы англичан в Бенгалии состояли всего-навсего из двух тысяч солдат и тридцати тысяч сипаев - туземцев, обученных европейским приемам ведения войны, - чья верность британской короне была весьма сомнительна**. Поэтому, посылая в Индию сорок донских полков (22 507 человек при 24 орудиях), Павел отнюдь не рисковал стать посмешищем всего света. Другое дело, что организация индийской экспедиции заставляла вспомнить времена Александра Македонского. Не имея ни военных магазинов в тылу, ни достаточных запасов, обреченное на долгий зимний путь по безлюдным степям, казачье войско таяло на глазах. Уже после переправы через Волгу Орлов 27 февраля донес в Петербург, что "одних привели в усталость, а других и вовсе лишились". Вспомнив при этом о далеко не райском тропическом климате Индии, легко представить себе, что ждало несчастных донцов дальше!

Заговорщики, убившие Павла, а также те, кто так или иначе поддержал цареубийство, много писали об "исступленном безумии" и "кровожадности" царя. Согласно этой точке зрения никакого заговора, в сущности, и не было, просто горстка патриотов приняла необходимые меры, чтобы обезопасить общество от больного человека.

Между тем нет никаких данных, позволяющих считать Павла душевнобольным. Достоверно известно лишь то, что он страдал гастритом, сопровождавшимся сильными болями; эта болезнь была следствием чрезвычайной торопливости Павла в приеме пищи: за столом он спешил так же, как в своей государственной деятельности, и глотал куски пищи, почти не жуя.

Допустимо говорить о горячей, вспыльчивой натуре Павла, его взвинченных нервах и дурном характере, окончательно испорченном окружавшей его с детства обстановкой. Даже близко знавшие его люди единогласно свидетельствовали о его несдержанности, раздражительности, внезапных припадках гнева, подозрительности, нетерпеливой требовательности, чрезмерной поспешности в принятии решений, страстных и подчас жестоких порывах. Но в то же время они отмечали, что в спокойном, ровном расположении духа Павел был "не способен действовать бесчувственно или неблагородно". В обычной обстановке он вовсе не был мрачным, суровым человеком, мизантропом и сумасбродом. Гвардейский офицер Саблуков утверждал, что в основе его характера "лежало истинное великодушие и благородство, и, несмотря на то что он был очень ревнив к власти, он

презирал тех, кто раболепно подчинялся его воле в ущерб правде и справедливости, и, наоборот, уважал людей, которые бесстрашно противились вспышкам его гнева, чтобы защитить невинного... Он был совершенным джентльменом, который знал, как надо обращаться с истинно порядочными людьми, хотя бы они и не принадлежали к родовой или служебной аристократии; он знал в совершенстве языки: славянский, немецкий, французский, был хорошо знаком с историей, географией и математикой". Павел обладал прекрасными манерами и был очень вежлив с женщинами, проявлял изрядную литературную начитанность, был склонен к шутке и веселью, тщательно оберегал достоинство своего сана, был строг в соблюдении государственной экономии и щедр при выдаче пенсий и наград, неутомимо преследовал лихоимство и неправосудие, ценил правду и ненавидел ложь и обман. К этому можно прибавить, что он был силен, ловок и великолепно держался в седле.

Многие его государственные распоряжения говорят о том, что Павел безошибочно видел зло и всеми мерами старался его искоренить. Наиболее ярко эта его черта проявилась в военных реформах. В екатерининской армии процветали произвол командиров, казнокрадство, жестокое обращение с нижними чинами, притеснения обывателей, несоблюдение строевых уставов (при Потемкине высшие офицеры растащили для личных, неармейских нужд целый рекрутский набор - 50 тысяч человек, то есть восьмую часть армии!). Борясь с этими злоупотреблениями, Павел учредил в армии институт инспекторов, урегулировал уставом телесные наказания, восстановил пошатнувшуюся дисциплину. Конечно, новая прусская форма была неудобна и даже вредила здоровью солдат (вспомним суворовское: "Штиблеты: гной ногам"), но ее введение пресекло мотовство офицеров. При Екатерине офицер считал себя обязанным иметь шестерку или, на худой конец, четверку лошадей, новомодную карету, несколько мундиров, каждый стоимостью в 120 рублей, множество жилетов, шелковых чулок, шляп и проч., толпу слуг, егеря и гусара, облитого золотом или серебром. Новый павловский мундир стоил 22 рубля; шубы и дорогие муфты были запрещены, вместо этого зимние мундиры подбивались мехом, а под них надевались теплые фуфайки*. Кое-что из армейских нововведений Павла дожило до наших дней - например, одиночное обучение солдат.

В гражданской сфере деятельность Павла имела свои положительные результаты. Под воздействием царя Сенат разобрал 11 тысяч нерешенных дел, скопившихся за предыдущее царствование, чиновники подтянулись, секретари стали подписывать бумаги без взятки, все почувствовали, что они находятся не у себя в вотчине, а "на службе". Для укрепления финансов на площади перед Зимним дворцом было сожжено ассигнаций на сумму пять миллионов рублей, а пуды золотой и серебряной посуды переплавлены в звонкую монету; чтобы понизить цены на хлеб, была организована торговля из государственных запасов зерна. При Павле была налажена торговля с США, учреждено первое высшее медицинское училище; этот "кровожадный" государь не казнил ни одного человека.

Все это, конечно, мало походит на поступки повредившегося в уме человека. К несчастью, Павел не знал другого способа проведения своих решений в жизнь, кроме неограниченного самовластия. Желая сам быть своим первым и единственным министром, Павел вмешивался в мельчайшие подробности управления, привнося в работу и без того расшатанного государственного механизма свою вспыльчивость и свое нетерпение. Чиновники, привыкшие получать от царя личные распоряжения обо всем, боялись шаг ступить самостоятельно, а получив какой-нибудь приказ, со всем российским канцелярским рвением бросались бездумно исполнять его и из опасения не угодить требовательности государя проявляли такую строгость, что вызывали насмешки или ропот общества. Да и сам Павел, преследуемый мыслью о том, что он вступил на престол слишком поздно, что ему не успеть исправить все злоупотребления, проявлял ненужную торопливость. Давая больному лекарство, он не дожидался, когда оно окажет свое действие, а грозными окриками и пинками побуждал его скорее подняться с постели. В результате воздействие дисциплины на государственный механизм, которое при других условиях могло бы стать благотворным, было только внешним, внутри во всех государственных учреждениях господствовал хаос. А

там, где хаос, у людей возникает вполне понятное стремление вернуться к прежнему, пускай дурному, но привычному строю жизни.

Единоличное вмешательство Павла во все дела и желание привести их в соответствие с личными пристрастиями и вкусами приводили к появлению скандальных указов царя, вроде следующих. 8 февраля 1800 года умершему генералу Врангелю, в пример другим покойникам, был объявлен строжайший выговор. 18 апреля того же года последовал указ Сенату: "Так как чрез вывозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне впредь до указа повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку". 12 мая было отдано, наверное, самое жестокое распоряжение царя: за упущения по службе штабс-капитана Кирпичникова лишить чинов и дворянства и записать навечно в рядовые с "прогнанием шпицрутенами тысячу раз".

Справедливости ради следует сказать, что панический страх перед Павлом испытывали только дворяне; простолюдины же глядели на строгость царя с одобрением, видя в ней некое возмездие благородному сословию. П. И. Полетика вспоминал, что как-то раз, увидев показавшегося на Невском Павла, спрятался за оградой Исаакиевского собора. Когда царь ехал мимо, церковный сторож, не стесняясь присутствием "барина", довольно громко произнес:

- Вот наш Пугач едет!
- Как ты смеешь так отзываться о своем государе? - прикрикнул на него Полетика.
- А что, барин, - равнодушно и без всякого смущения отозвался мужик, ты, видно, и сам так думаешь, раз прячешься от него.

"Отвечать было нечего", - пишет Полетика. Дождавшись, когда Павел скрылся из глаз, он покинул свое укрытие и отправился дальше, радуясь избавлению от "опасной встречи".

Если подобным образом вели себя частные лица, то что же сказать о государственных служащих, особенно об офицерах, ежедневно рисковавших попасть под арест или заслужить еще более строгое наказание? Однажды Павел производил смотр конногвардейского полка, находившегося под начальством великого князя Константина. При въезде в манеж обыкновенно подавалась команда повернуть направо, но на этот раз царь неожиданно скомандовал повернуть налево. Первый и второй эскадроны, следовавшие за Павлом, расслышали команду и свернули в нужном направлении, но командир третьего эскадрона, который был еще на площади перед въездом в манеж, по привычке повернул направо. Тотчас раздался яростный крик царя:

- Непослушание? Снять его с лошади, оборвать его, дать ему сто палок!
- Бедного офицера, по фамилии Милюков, стащили с седла и увели.
- К счастью, эта история имела благополучный исход. За Милюкова вступился великий князь Константин. Никто лучше него не мог уловить перемены в настроении Павла. Улучив минуту, когда отец появился в Мраморном зале Зимнего дворца со всеми признаками хорошего настроения, великий князь сделал несколько шагов к нему и опустился на колени.
- Государь и родитель! Дозвольте принести просьбу!
- При слове "государь" Павел остановился и принял величественную осанку.
- Что, сударь, вам угодно?
- Государь и родитель! Вы обещали мне награду за итальянскую кампанию*, этой награды я еще не получил.
- Что вы желаете, ваше высочество?
- Государь и родитель, удостойте принять вновь на службу того офицера, который навлек на себя гнев вашего величества на смотре конногвардейского полка.
- Нельзя, сударь! Он был бит палками**.
- Виноват, государь, этого приказа вашего я не исполнил.
- Благодарю, ваше высочество, - улыбнулся Павел. - Милюков принимается на службу и повышается двумя чинами.

Конечно, не каждый даже невинный проступок заканчивался так счастливо. При Павле

были сосланы в деревни и в места более отдаленные около 700 офицеров, еще более двух тысяч получили отставку. История с полком, который царь с плаца завернул в Сибирь, увы, тоже вполне достоверна.

В 1800 году общество уже было настроено против Павла. Однажды караульный офицер в Зимнем дворце допустил оплошность. Царь приказал Константину Чарторийскому передать виновному свой обычный в таких случаях комплимент, сказав, что он скотина. Выслушав князя, офицер презрительно ответил, что эта брань ему совершенно безразлична, так как исходит от человека, лишенного здравого смысла.

Заслужить гнев царя можно было не только попавшись ему на глаза, но и находясь от него на безопасном расстоянии. Последнее случилось с Лагарпом, жившим в далекой Швейцарии.

Во время альпийского похода Суворова швейцарские газеты называли русского полководца безжалостным варваром, фанфароном и шарлатаном, а русского царя величали "надменным Петровичем". Швейцария называлась тогда Гельветической республикой и выступала союзницей Франции, власть бернских правителей была свергнута, а на смену им пришла Директория, созданная на манер французской, которую возглавил Лагарп - самый известный, заслуженный и революционный гражданин Швейцарии.

В этот краткий, к счастью для Швейцарии, период революционных бурь с Лагарпом произошла метаморфоза, обычная для всех сентиментальных теоретиков свободы и справедливости, оказавшихся у кормила власти, - он стал действовать исключительно при помощи насилия. Лагарп издавал прокламации, обращенные к "гражданам", с призывом убивать бернских правителей; на его политических противников посыпались ссылки и изгнания; печать оказалась под жесточайшей революционной цензурой; были закрыты даже театры, признанные неуместной роскошью во время гражданской войны; вся страна была обращена в военный лагерь. Лагарп оправдывался тем, что хотя "все эти меры были суровы, быть может, даже ужасны, но они достойны наших предков, вполне соответствуют республике, брошенной в омут опасностей, от которых можно спастись только крайними мерами".

Но в руках революционеров крайние меры никогда не бывают собственно "крайними" - всегда найдется "опасность", требующая еще большей жестокости. Когда республике, то есть пяти членам Директории и небольшому количеству "комиссаров", стало совсем туго, Лагарп, этот поборник независимой Швейцарии, не остановился перед вводом в страну французских войск, то есть фактически согласился на ее оккупацию. Подобно якобинцам, он отменил пытку и учредил гласный суд, но ввел режим такого жесточайшего террора, на который, конечно, никогда бы не решилась прежняя власть.

Павел лишил Лагарпа пенсии, назначенной ему покойной императрицей, и всех российских чинов и орденов - "по неистовому и развратному поведению" пенсионера. Не довольствуясь этим, он приказал генералу Римскому-Корсакову, находившемуся в 1799 году со своим корпусом в Швейцарии, схватить Лагарпа и прислать с фельдъегерем в Петербург для отправки в Сибирь. Французский генерал Массена, разгромивший Корсакова при Цюрихе, спас директора от гнева царя.

Правда, несмотря на грозный приказ против Лагарпа-правителя, Павел продолжал питать добрые чувства к Лагарпу-человеку и при случае осведомился у Александра, не получал ли он писем от своего воспитателя. Цесаревич ответил, что вследствие высочайшего запрещения переписываться с Лагарпом он известил об этом своего адресата и с тех пор не имеет с ним никаких сношений.

- Все равно, - заметил Павел, - Лагарп порядочный человек. Я никогда не забуду того, что он мне сказал перед своим отъездом.

Лагарп в свою очередь продолжал считать Павла человеком, необыкновенно добрым в душе, "несчастливым и неоцененным государем" и совершенно искренне не мог понять, как могло случиться, что у царя оказалось так много врагов. Он написал и отослал в Петербург письмо, в котором напоминал Павлу об их дружбе, указывал на то, что в возглавляемой им

республике уважается религия и права государей вплоть до того, что даже сама она устроена монархически, и просил возобновить выплату пенсии.

Письмо Лагарпа уже не застало Павла в живых.

IV

Умолк рев Норда сиповатый,

Закрылся грозный, страшный взгляд.

Г. Р. Державин.

На вседостойное восшествие на престол
императора Александра Первого

Если верить сообщению некоторых мемуаристов, жизнь Павла постоянно подвергалась опасности. Один из них (Коцебу) пишет, что всюду, где бы ни появлялся царь, за ним следили десятки глаз, жаждущих его смерти. Он же передает историю о каком-то юноше, задумавшем заколоть Павла, но при встрече с царем оробевшем и опрометью бросившемся домой, как будто за ним гнались фурии. Кажется, были попытки отравить царя. Таким образом, подозрительность Павла имела серьезные основания, а общество было недовольно именно его подозрительностью. Получался замкнутый круг, выйти из которого можно было, только разорвав его.

Заговор против Павла созрел среди его ближайшего окружения. Первоначально заговорщиков было двое: вице-канцлер граф Никита Петрович Панин и адмирал Осип Михайлович де Рибас.

Панин приходился племянником графу Н. И. Панину, наставнику Павла Петровича, и в детстве был товарищем игр великого князя. От дяди он усвоил свободный образ мыслей и ненависть к деспотизму, а близость к императорской семье рано развила в нем самоуверенность и апломб. Высокого роста, холодный и величественный, прекрасно знавший французский язык Никита Петрович слыл за человека очень талантливого, энергичного и умного, но сухого, высокомерного и мало сходившегося с людьми. Екатерина назначила его посланником в Берлин, но Павел при вступлении на престол отозвал друга детства назад и сделал вице-канцлером и членом коллегии иностранных дел. Панин, отбравший в детстве у царя игрушки, желал сохранить прежний тон и позволял себе фамильярность и даже резкость в разговоре с Павлом.

Вице-канцлер не питал к царю личной вражды. Составляя против него заговор, он действовал из соображений идеалистических, желая "спасти государство" отстранением Павла от престола и передачей власти в руки наследника, великого князя Александра, который, как он надеялся, установит в России конституционный образ правления.

Де Рибас, разделявший планы Панина, скоро умер, и вице-канцлер стал подыскивать другого сообщника. Его чутье безошибочно указало ему на барона фон дер Палена как на наиболее подходящую фигуру. Однажды, когда царь высказал желание улучшить деятельность петербургской полиции, Панин предложил назначить губернатором столицы Палена. Он представил личные и деловые качества отставного генерал-лейтенанта в таком выгодном свете, что царь, по своему обычаю, не только вернул его на службу, но и повысил в чине и пожаловал андреевскую ленту. В должности петербургского губернатора Пален в короткое время сумел завоевать полное доверие Павла; в 1800 году царь назначил его еще и первоприсутствующим в коллегии иностранных дел и сделал главным директором почт.

Теперь, имея в руках высшую военную власть в столице и контролируя деятельность полиции, заговорщики решили действовать. Прежде всего следовало добиться согласия великого князя Александра на государственный переворот.

В переговорах с великим князем заговорщики проявили поистине дьявольскую ловкость. Пален рассказывал: "Я зондировал его на этот счет, сперва слегка, намеками, кинув лишь несколько слов об опасном характере его отца. Александр слушал, вздыхал и не отвечал ни слова". Но расчет оказался верен - великий князь ничего не сказал отцу об услышанных намеках и не пресек крамольные разговоры в самом начале. Тем самым заговорщики как бы получили моральное право на дальнейшие шаги.

Убедившись в относительной безопасности, они открыто высказали Александру свои мысли. Дело было представлено так, что "пламенное желание всего народа и его благосостояние требуют настоятельно, чтобы он был возведен на престол рядом со своим отцом в качестве соправителя, и что сенат, как представитель всего народа, сумеет склонить к этому императора без всякого со стороны великого князя участия в этом деле". Александр возмутился этим замыслом и ответил, что "вполне сознает опасности, которым подвергается империя, а также опасности, угрожающие ему лично, но что он готов все выстрадать и решился ничего не предпринимать против отца". Однако содержание разговора вновь осталось тайной от Павла.

Пален сделался смелее. Имея по роду службы почти ежедневные сношения с Александром, который являлся военным губернатором Петербурга, он все чаще заговаривал с ним о необходимости переворота, пугая его, что революция, вызванная всеобщим недовольством, должна вспыхнуть не сегодня завтра, и тогда уже трудно будет предвидеть ее последствия. "Я, - вспоминал Пален, так льстил ему или пугал его насчет его собственной будущности, представлял ему на выбор - или престол, или же темницу и даже смерть, что мне наконец удалось пошатнуть его сыновнюю привязанность и даже убедить его установить вместе с Паниным и со мною средства для достижения развязки..."

Вообще, в Палене заговор обрел настоящего вождя, хладнокровного, властного, циничного, скрытного, неразборчивого в средствах. В отличие от Панина, он преследовал в заговоре только личные цели, хотя впоследствии и был не прочь подчеркнуть, что "совершил величайший подвиг гражданского мужества и заслужил признательность своих граждан", и был сторонником физического устранения Павла.

Итак, Александр дал согласие на переворот. Как видим, против него шла тонкая игра, заговорщики, по сути, обманывали его, преувеличивая недовольство Павлом и пугая последствиями какой-то мифической революции. Конечно, от двадцатитрехлетнего молодого человека можно было ожидать большей проницательности, но ведь Пален возглавлял полицию, и поэтому у Александра все-таки были веские причины верить ему. Но было в его поведении также нечто, что позволяет говорить о полусознательном сочувствии планам заговорщиков, обмане самого себя относительно реальных последствий заговора; он и желал переворота, и боялся его, а пуще того - своего участия в нем, участия, которое ставило столько мучительных вопросов перед его совестью. Он был бы счастлив вообще не знать о том, что готовится, ибо доверие к нему заговорщиков все-таки не могло не оскорблять его, оно заставляло его задумываться об истинных чувствах к отцу, о том, что в конце концов он, именно он окажется ответственным за все. Если тут уместны литературные параллели, то можно сказать, что Александр оказался в роли одного из героев Достоевского - Ивана Карамазова, мучимого стыдом за своего отца, презрением к его убийце Смердякову и отвращением к самому себе.

Впрочем, по большому счету он был игрушкой в чужих руках. Пален сам с циничной откровенностью признавался: "Но я обязан, в интересах правды, сказать, что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово: я не был настолько лишен смысла, чтобы внутри взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить шепетильность моего будущего государя, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уж совсем не затевать ее и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрят и столицу, и губернии". Признание это проливает свет на истинные роли сторон. Вина Александра состояла главным образом в том, что он хотел быть успокоенным и дал себя успокоить.

С этого момента для него началась череда страшных дней.

Между тем какая-то очередная фамильярность Панина вывела царя из себя, и он отослал вице-канцлера в его подмосковное имение. Однако и там Никита Петрович оказывал

содействие заговору, сообщая Палену все, что мог узнать о настроении в столице, и торопя с исполнением их плана. Барон расширил вербовку недовольных. Александр ручался за свой Семеновский полк, где в заговор были посвящены все офицеры, включая юнкеров, но Палену хотелось "заручиться помощью людей более солидных, чем вся эта ватага вертопрахов".

Среди тех людей, на чью помощь Пален особенно рассчитывал, был Леонтий Леонтьевич Беннигсен. Этот пожилой, длинный, сухой, накрахмаленный и важный, словно статуя Командора, офицер происходил из старинного ганноверского дома. Его призвание к военной службе определилось очень рано: уже десятилетним мальчиком, состоя пажом при дворе английского короля Георга II, он усердно занимался военными науками, чертил карты, учился верховой езде. Тогда же проявились и главные черты его характера твердость, упорство, выносливость и методичность.

Этот редкий запас качеств обеспечил ему быструю военную карьеру: прапорщик в четырнадцать лет, капитан в восемнадцать, подполковник в двадцать восемь. Состоя в последнем чине, он перешел на русскую службу, чтобы поправить пошатнувшееся состояние. В России участие в турецкой кампании и штурме Очакова утвердило за Леонтием Леонтьевичем репутацию храброго, решительного и исключительно хладнокровного человека. Широкая известность пришла к нему со времен польской войны 1794 года, когда Суворов пожаловал его за несколько успешных операций чином генерал-майора. Именно тогда о Беннигсене заговорили как об офицере "отличных достоинств". Награды посыпались на него, как из рога изобилия: орден святого Георгия 3-й степени, золотая шпага с надписью "За храбрость", орден святого Владимира 2-й степени и тысяча душ в Минской губернии... Тогда же Леонтий Леонтьевич познакомился с Валерианом Зубовым, а через него - с остальными Зубовыми и людьми, близкими к ним, в частности с бароном фон дер Паленом.

С воцарением Павла карьера Беннигсена, как и многих других екатерининских офицеров, прервалась. Хотя вначале царь пожаловал ему следующий чин - генерал-лейтенанта, но уже в сентябре 1798 года в беседе с фельдмаршалом Н. И. Салтыковым как бы между прочим заметил, что сомневается в усердии Беннигсена, и просил передать это приватно генералу.

Делать было нечего. Леонтий Леонтьевич подал в отставку и уехал в свое имение в Минской губернии.

В начале 1801 года, оказавшись вновь в Петербурге по вызову Палена, Беннигсен возобновил давние знакомства. Еще не будучи посвящен в заговор, он гулял по Невскому, не зная, что Пален уже выбрал для него главную роль в его жизни - предводителя колонны царевубийц.

Зимой 1801 года Павел готовился переехать в недавно отстроенный Михайловский дворец.

Причиной строительства послужило одно странное происшествие, о котором говорил тогда весь Петербург. Случилось это через год после воцарения Павла. Часовому, стоявшему у старого Летнего дворца, явился в лучезарном свете архангел Михаил и велел идти к государю и доложить, чтобы тот немедленно начал строить на этом месте церковь.

Когда царю доложили об этом, он будто бы ответил:

- Я знаю.

Что послужило поводом для такого ответа, осталось неизвестным, но только Павел с невероятной быстротой приступил к постройке на месте бывшего Летнего дворца, возведенного Анной Иоанновной, нового замка, названного Михайловским. 26 февраля 1797 года уже состоялась торжественная закладка замка. Строительство велось по несколько измененному проекту В. И. Баженова архитектором Бренном, бессовестно разворовывавшим отпускаемые государем средства.

Строительство было закончено за четыре года. Михайловский дворец, окруженный рвами и гранитными брустверами с орудиями, сообщавшийся с внешним миром посредством подъемных мостов, начиненный потайными лестницами и подземными ходами,

действительно имел вид средневекового замка, да, собственно, и был призван выполнять ту же роль: служить царю надежным убежищем от всех случайностей царствования.

8 ноября 1800 года, в день святого архистратига Михаила, дворец был освящен и царь впервые обедал здесь вместе с семьей. Вечером состоялся бал-маскарад, во время которого любой желающий мог войти и осмотреть дворец. Однако пышно задуманное празднество не удалось: из-за сырости, источаемой каменными стенами, в залах и галереях стоял такой туман, что тысячи жарко пылавших свечей не могли рассеять полутьму, люди двигались почти на ощупь. Придворные врачи заявили, что жить в новом дворце невозможно, не подвергая здоровье серьезной опасности, но Павел, не слушая их, 1 февраля переехал и поселился в нем со всей семьей.

Александру с Елизаветой Алексеевной отвели комнаты в нижнем, самом сыром этаже дворца. Печи не могли согреть и осушить воздух. Бархат, которым были обиты комнаты, плесневел, фрески на стенах и потолках линяли. Углы большой залы, несмотря на два камина, сверху донизу были покрыты льдом. Густой туман клубился по коридорам. Пришлось срочно выкладывать стены деревом. Но Павел все равно был в восторге от нового жилища.

Здесь Александр пережил наибольшие страхи и тревоги.

Страх и сознание своей вины перед отцом буквально сковали чувства и волю наследника. Он вел себя тише воды, ниже травы, ему с женой прислуживали только доверенные лица государя; чтобы не навлекать на себя лишних нареканий, Александр не принимал никого из иностранных послов и избегал разговоров с лицами, стоявшими у дел. Тем не менее резкие выходки Павла следовали одна за другой. Однажды царь вошел в комнату Александра и нашел у него на столе трагедию Вольтера "Брут", которая оканчивается словами:

Рим свободен; довольно.

Воздайте благодарение богам!

Павел позвал Александра к себе и, показав ему указ Петра I о царевице Алексее, спросил: знает ли великий князь историю этого царевицы?

Пален ежедневно торопил наследника, указывая, что в заговор вовлечено слишком много лиц и следует опасаться доноса царю, но Александр все не мог решиться. Наконец произошло событие, которое показало, что медлить дальше невозможно.

7 марта в семь часов утра Пален вошел в кабинет царя с обычным рапортом о состоянии дел в столице. Павел был озабочен, серьезен; заперевав за Паленом дверь, он минуты две молча смотрел на него и наконец сказал:

- Господин фон Пален, вы были здесь в 1762 году?

- Да, ваше величество.

- Были вы здесь?

- Да, ваше величество, но что вам угодно сказать?

- Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?

- Ваше величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом. Я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, не подозревая о том, что происходит. Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?

- Почему? - вскричал царь. - Да потому, что хотят повторить 1762 год!

Пален, по его собственному признанию, затрепетал при этих словах. Нужно было обладать железными нервами, чтобы не выдать себя в эту минуту. Но Пален, этот гениальный художник вероломства, знал наплывы истинного вдохновения.

- Да, ваше величество, хотят! - ответил он. - Я это знаю и участвую в заговоре.

Павел изумленно уставился на него.

- Как! Вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы такое мне говорите?

- Сущую правду, ваше величество, я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую в нем ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать,

если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь - вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро вам все станет известно. Не старайтесь проводить сравнений между вами и вашим отцом. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя, а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она преданна; он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурге, а ныне она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома...

- Надо сейчас же схватить их всех, заковать в цепи, посадить в крепость, в казематы, послать в Сибирь, на каторгу! - прервал его Павел.

- Ваше величество, - возразил Пален, - в числе заговорщиков ваша супруга, оба сына, обе невестки - как можно взять их без особого повеления вашего величества? Взять все семейство вашего величества под стражу без явных улик и доказательств - это столь опасно и ненадежно, что можно взволновать всю Россию и не иметь еще чрез то верного средства спасти особу вашу. Я прошу ваше величество ввериться мне и дать мне собственноручный указ, по которому я мог бы исполнить все то, что вы теперь приказываете, но исполнить тогда, когда на это будет удобное время, то есть когда я уличу в злоумышлении кого-нибудь из вашей фамилии, а остальных заговорщиков я тогда уже схвачу без затруднений.

- Все это правда, но не надо дремать, - задумчиво ответил царь.

На этом разговор прервался. Пален получил просимый указ: в нем Павел предписывал отослать Марию Федоровну и невесток в монастырь, а великих князей Александра и Константина заточить в крепость. Как видим, Палену удалось очернить в глазах Павла почти всю его семью. Между тем ни Мария Федоровна, ни Константин Павлович, ни тем более жены великих князей ничего не знали о заговоре. Относительно Константина известно, что Пален сам же убедил Александра скрыть от него готовящийся переворот, внушив, что брат может все открыть отцу, чтобы самому занять место наследника.

С царским указом, на котором еще не просохли чернила, Пален поспешил к Александру. Великий князь пришел в ужас, но все же настоял на том, чтобы отсрочить переворот до 11 марта, когда караулы во дворце будут нести семеновцы.

В столице в эти дни господствовало какое-то всеобщее уныние. Даже погода стояла мрачная, сырая, и на улицах было мало прохожих. В девять часов вечера улицы совершенно пустели, на них устанавливались рогатки, рядом вырастали часовые, которые пропускали только врачей и повитух. Разговоры в каждом доме сводились к одному: так долго продолжаться не может.

10 марта на утреннем вахтпараде великие князья Александр и Константин были посажены под домашний арест. Вечером этого дня в Михайловском дворце был концерт. В зале царила гнетущая атмосфера, все приглашенные сидели молча, Мария Федоровна то и дело с беспокойством оглядывалась на мужа, словно пытаясь понять, какие мысли его занимают. Павел смотрел перед собой сердито и расстроено и совсем не обращал внимания на пение французской актрисы г-жи Шевалье. Перед выходом к ужину, когда обе створки дверей распахнулись, царь подошел к супруге и остановился перед ней, скрестив на груди руки, насмешливо улыбаясь и тяжело дыша, что являлось у него признаком сильного недовольства; затем он проделал то же самое перед обоими великими князьями. В заключение царь подошел к Палену, шепнул ему что-то и поспешил к столу. Все последовали за ним, молча и со стесненной грудью. За ужином стояла гробовая тишина. После его окончания Мария Федоровна и дети хотели поблагодарить государя, но Павел с насмешливой улыбкой встал и быстро вышел, не поклонившись. Мария Федоровна разрыдалась, и вся семья разошлась взволнованная.

11 марта дела шли обычным порядком. Приняв утренний рапорт, царь поспешил на развод, а в одиннадцать часов поехал с Кутайсовым на прогулку. Вечером был накрыт стол на девятнадцать персон, среди которых находился князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Впоследствии он вспоминал, что, отправляясь спать, Павел остановился

перед зеркалом, которое исказило его отражение. Это рассмешило царя.

- Посмотрите, - обратился он к присутствующим, - какое смешное зеркало: я вижу себя в нем с шеей на сторону.

Эти слова были произнесены Павлом за полтора часа до смерти.

В то время как царь ужинал, на одной из петербургских застав по приказу Палена был задержан приехавший в столицу по вызову царя Аракчеев. Больше помощи ждать было не от кого.

Маленький курносый человек прошел в свою спальню, разделся и заснул, оставшись совершенно один - в комнате, во дворце, во всем притихшем городе.

Утром 11 марта, выйдя на прогулку по Невскому проспекту, Беннигсен встретил сани с князем Платоном Zubовым. Zubов остановил его и сказал, что ему нужно поговорить с ним, для чего пригласил Леонтия Леонтьевича на ужин.

Беннигсену уже надоело шататься без дела в столице, и он намеревался на следующий день уехать назад, в имение. Поэтому перед обедом он отправился к Палену просить у него, как у военного губернатора, паспорта на выезд. Выслушав его, Пален сказал:

- Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе. - И добавил: Князь Zubов вам скажет остальное.

Беннигсен заметил, что он был как-то смущен и взволнован.

Часов в десять вечера Леонтий Леонтьевич приехал к Zubову. Он застал у него братьев Николая и Валериана, сенатора Трошинского и еще двух лиц, посвященных в заговор. Князь Платон Александрович сообщил Беннигсену условленный план, сказав, что переворот назначен на полночь. Первым вопросом Беннигсена было: кто стоит во главе заговора? Когда ему назвали имя великого князя Александра, он без колебания примкнул к заговорщикам.

Ближе к полуночи все поехали к Палену. У дверей его дома их встретил полицейский офицер, который сказал, что губернатор у генерала Талызина и там ждет их. Беннигсен и Zubовы застали комнату полной офицеров; шла отчаянная пирушка, шампанское лилось рекой. Трезвым оставался один Пален, который попросил и Беннигсена не касаться вина. Наконец заговорщики условились разделиться на две колонны, примерно по шестьдесят человек в каждой. Первую колонну, которой предстояло занять главную лестницу замка со стороны Летнего сада, должны были возглавить Пален и граф Уваров; вторую, направлявшуюся тайными ходами прямо в спальню царя, - братья Zubовы и Беннигсен. Все офицеры были сильно навеселе, многие едва держались на ногах. На выходе Пален обратился к сообщникам:

- Господа, чтобы приготовить яичницу, необходимо разбить яйца.

Проводником второй колонны был адъютант Преображенского полка Аргамаков, ежедневно подававший Павлу рапорт и потому знавший все тайные ходы дворца. С фонарем в руке он повел заговорщиков сначала в Летний сад, потом по мостику - в дверь, сообщавшуюся с садом, далее по лесенке, которая привела их в маленькую кухню, смежную с прихожей перед спальней царя. Здесь, сидя и прислонившись головой к печке, безмятежно спал камер-гусар. По пути колонна Zubовых и Беннигсена сильно поредела, теперь с ними оставалось только четыре человека, которые со страху набросились на спящего гусара; один из офицеров ударил его тростью по голове, и тот спросонья поднял крик.

Заговорщики пришли в замешательство и остановились, ожидая, что их немедленно схватят. Четырех офицеров и след простыл, Платон Zubов стоял едва живой, не в силах сделать шаг. Беннигсен схватил его за руку:

- Как, князь? Вы довели нас до этих дверей и теперь хотите отступить? Мы слишком далеко зашли. Бутылка откупорена, ее надо выпить, идем!

(Видимо, вследствие обильного ужина всех заговорщиков в эту ночь посещали гастрономические метафоры.)

Пален не ошибся в Беннигсене. Его хладнокровие ободрило Zubовых; они направились в спальню царя. Но здесь их ожидало новое, еще более сильное потрясение: кровать Павла

была пуста! Уже считая себя мертвецами, Зубовы и Беннигсен принялись шарить по комнате, и вдруг за одной из портьер - той, которая прикрывала дверь, ведущую в комнату императрицы, - они обнаружили бледного, трясущегося Павла, стоявшего перед ними в одной ночной рубашке. (Дверь в спальню императрицы оказалась закрытой по приказу самого Павла: таким образом, он своими руками устроил себе ловушку.)

Держа шпаги наголо, заговорщики объявили:

- Вы арестованы, ваше величество!

Павел молча посмотрел на Беннигсена и выдал из себя, обращаясь к Платону Зубову:

- Что вы делаете, Платон Александрович?

В эту минуту вошел один из офицеров и шепнул Зубову на ухо, что его присутствие необходимо внизу, где опасались прибытия Преображенского полка, солдаты которого были привязаны к Павлу. Князь Платон вышел, а Беннигсен силой усадил царя в кресло за письменным столом. Худая фигура "длинного Кассиуса"* при слабом свете потайного фонаря должна была казаться Павлу привидением, а все происходящее - ночным кошмаром.

- Ваше величество, вы мой пленник, и ваше царствование окончено, сказал Беннигсен. - Откажитесь от короны, напишите и подпишите тотчас же акт отречения в пользу великого князя Александра.

Между тем комната стала наполняться офицерами из числа тех, кто входил во вторую колонну. Павел недоуменно смотрел на них.

- Арестован? Что это значит - арестован? - только и мог сказать он.

Один из офицеров закричал на него:

- Еще четыре года тому назад следовало бы с тобой покончить!

- Что я сделал? - слабым голосом возразил Павел.

Взяв у него бумагу с подписью об отречении, Беннигсен направился к дверям, сказав царю:

- Оставайтесь спокойным, ваше величество, - дело идет о вашей жизни!

Но, выйдя в коридор, он снял с себя шарф и отдал одному сообщнику со словами:

- Мы не дети, чтоб не понимать бедственных последствий, какие будет иметь наше ночное посещение Павла для России и для нас. Разве мы можем быть уверены, что Павел не последует примеру Анны Иоанновны?*

Офицеры, оставшиеся в комнате, всячески поносили того, от кого натерпелись столько страха, но никто еще не осмеливался коснуться его. Мертвецки пьяный граф Николай Зубов (зять покойного Суворова), человек атлетического сложения, прозванный "Алексеем Орловым из рода Зубовых", подал пример другим, ударив царя в левый висок массивной золотой табакеркой. После этого ничто не могло удержать пьяную толпу, озверевшую от недавнего испуга. Царя повалили на пол и набросили ему на шею шарф Беннигсена. Однако Павлу удалось просунуть руку между шарфом и шеей. Выпучив глаза, он хрипел:

- Воздуху!... Воздуху!..

В этот момент он заметил красный мундир одного из офицеров, который носили конногвардейцы, и, думая, что это великий князь Константин, их полковник, распоряжается его убийством, завопил:

- Пощадите, ваше высочество, пощадите из сострадания! Воздуху, воздуху!..

Это были последние его слова. Судьбе было угодно, чтобы он умер, вина в своей смерти того из сыновей, который не имел к ней никакого отношения.

Заговорщики схватили его руку, один из них вскочил на живот царю, другие принялись тянуть за концы шарфа. Даже тогда, когда они убедились, что Павел мертв, многие еще продолжали стягивать петлю, а другие, обезумев, принялись пинать труп.

В это время Беннигсен, слышавший шум и вопли, раздававшиеся из спальни царя, спокойно разгуливал по галерее со свечой в руках, рассматривая висевшие на стенах картины**. Вдруг возня и крики стихли, дверь в спальню отворилась и какой-то заговорщик возвестил:

- С ним покончили!

Беннигсен молча кивнул и отправился на поиски Палена.

Простившись вечером с отцом, Александр ушел к себе в спальню. Взмолвленный, он не раздеваясь бросился на кровать; у него не было сил даже думать.

Около часу ночи в дверь постучали. Александр вздрогнул: к нему или за ним? Он крикнул, что можно войти.

Вошел граф Николай Zubov, в растрепанном костюме, с взъерошенными волосами, с разгоревшимся от вина и только что совершенного убийства лицом. Он подошел к великому князю, севшему на постели, и хрипло произнес, наполнив комнату винным перегаром:

- Все сделано.

- Что сделано? - вскричал Александр в ужасе.

Повернув к Zubovu здоровое ухо, он напряженно ждал, боясь не расслышать или неправильно понять услышанное. Zubov, смутясь, сбивчиво забормотал что-то... Ничего не понимая, Александр тянулся к нему всем телом и вдруг, заметив, что Zubov постоянно говорит ему "государь" и "ваше величество", отпрянул, почувствовав, словно "меч вонзился в его совесть".

В это время в комнату вошли Пален и Платон Zubov, приведший с собой великого князя Константина. Не обращая на них никакого внимания, Александр сидел на кровати и плакал. Пален и остальные поздравили его со вступлением на престол. В ответ плечи Александра затряслись еще больше.

- Не будьте ребенком, - поморщился Пален. - Ступайте царствовать и покажитесь гвардии. Благополучие миллионов людей зависит от вашей твердости.

После долгих уговоров в пятом часу утра Александр, с красными глазами и опухшими веками, вышел к гвардейцам. Генерал Тормасов, командир Преображенского полка, громко объявил, что император Павел Петрович скончался от апоплексического удара и что на престол вступил император Александр Павлович.

Речь эта не произвела никакого впечатления на солдат: они не крикнули "ура!" и не спешили подойти к поставленному во дворе аналою с лежащим на нем Евангелием, чтобы принести присягу.

С семеновцами дело обошлось легче. Александр сам обратился к ним:

- Батюшка скончался апоплексическим ударом. При мне все будет как при бабушке!

Семеновцы встретили слова Александра громовым "ура!" и тут же присягнули.

С рассветом Александр приехал в Зимний дворец и принял присягу от придворных. В начале церемонии он выглядел мертвецом. Когда императрица Мария Федоровна подошла и сказала ему довольно язвительно: "Поздравляю вас, сын мой, теперь вы - император"* - Александр без чувств упал на руки свиты.

К девяти часам утра в столице воцарилось полное спокойствие.

Часть третья

Реформы и войны

Мы никогда не стремимся страстно к тому,
к чему стремимся только разумом.

Ларошфуко

I

Дней Александровых прекрасное начало...

А. С. Пушкин. Послание цензору

12 марта петербуржцы читали манифест, составленный по поручению Александра сенатором Трошинским: "Судьбам Всевышнего угодно было прекратить жизнь любезного родителя нашего, Государя Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11-го на 12-е число сего месяца. Мы, восприемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе почивающей Августейшей Бабки нашей, Государыни Императрицы Екатерины Великия, коея память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна..."

Эти слова вызвали ликование всего дворянства. "Все чувствовали какой-то нравственный восторг, - писал современник, - взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее". Даже погода, казалось, радуется вместе с людьми: после предыдущих хмурых, ветреных дней с утра двенадцатого марта выглянуло яркое, настоящее весеннее солнце, весело застучала капель...

Царство Гатчины рухнуло в один день. Косички и букли были немедленно отрезаны, узкие камзолы скинуты; все головы причесались а-ля Титюс, в толпе замелькали панталоны, круглые шляпы и сапоги с отворотами, экипажи в русской упряжке, с кучерами и форейторами, вновь во весь дух мчались по улицам, обдавая зазевавшихся мокрым, грязным снегом. От прошлого уцелел лишь неизбежный вахтпарад. Выйдя к одиннадцати часам к войскам, Александр был более обыкновенного робок и сдержан; Пален держал себя как всегда; Константин Павлович суетился и шумел сверх меры.

Появилась мода причислять себя к деятелям 11 марта: казалось, в столице не осталось ни одного человека, который бы не присутствовал в ночь убийства в спальне Павла или, по крайней мере, не участвовал в заговоре.

Однако, когда общее возбуждение пошло на убыль, стали замечать, что проявление радости от кончины Павла не обеспечивает успеха при дворе. Молодой царь вовсе не выглядел веселым и счастливым, напротив, малейший намек на прошедшие события вызывал на его лице гримасу ужаса и отвращения. Позже Александр говорил, что должен был в эти дни скрывать свои чувства от всех; нередко он запирался в отдельных покоях и предавался отчаянию, безуспешно пытаясь подавить глухие рыдания. Гибель отца он воспринимал и как свою нравственную смерть, чувствуя вместо души - больное место. Елизавета Алексеевна - единственная из всей императорской семьи встретившая смерть Павла спокойно - выступила первое время посредником между заговорщиками и мужем, который не мог переносить даже их вида.

23 марта состоялось отпевание и погребение Павла в Петропавловском соборе. Александр стоял у гроба в черной мантии и шляпе с флером. Его удрученный вид покорила всех. Весь Петербург облетели слова молодого царя:

- Все неприятности и огорчения, какие случатся в моей жизни, я буду носить как крест.

Первые мероприятия нового царствования оправдали надежды общества и кое в чем превзошли их. Из ссылки, тюрем и из-под ареста были освобождены тысячи людей (в том числе артиллерийский подполковник Алексей Петрович Ермолов, находившийся в костромской ссылке, и Александр Николаевич Радищев, возвратившийся из-под тайного надзора полиции из деревни; последнему был разрешен въезд в столицу, пожалован чин коллежского советника и владимирский крест); на военную и статскую службу возвратилось двенадцать тысяч человек; были уничтожены виселицы, украшавшие площади больших городов; священников освободили от телесных наказаний; полиции было предписано соблюдать законность; частным лицам дозволено было открывать типографии; в страну хлынули заграничные книги и "музыка"; возобновились заграничные вояжи; в газетах исчезли объявления о продаже крестьян и дворовых; была отменена пытка.

Петропавловская крепость впервые за многие десятилетия опустела вдруг и надолго. Когда Александру сообщили, что на ее воротах появилась надпись, сделанная кем-то из выпущенных заключенных: "Свободна от постоя", царь заметил:

- Желательно, чтобы навсегда.

Одними из первых, о ком вспомнил Александр при воцарении, были донцы. Едва увидев генерала графа Ливена, разрабатывавшего маршрут индийского похода и пришедшего 12 марта представиться новому государю, Александр спросил:

- Где казаки?

Вдогонку Орлову был срочно отправлен фельдъегерь с приказом возвратиться в станицы. 25 марта Орлов провозгласил перед радостно загудевшими полками:

- Жалует вас, ребята, Бог и государь родительскими домами!

Вместе с тем первые распоряжения издавались бессистемно, без всякой связи друг с

другом, по мере обнаружения злоупотреблений и непорядка. Так, указ об отмене пытки был вызван одним случаем в Казани, ставшим известным Александру. После сильных пожаров в городе казанские власти схватили какого-то местного обывателя и пыткой вырвали у него сознание в поджигательстве; между тем на суде и перед казнью этот человек принародно уверял судей и любопытствующих в своей невинности, чем вызвал сильные толки и волнения в городе. Указ Александра, вышедший по этому поводу, гласил, что не только пытка, но и "самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее", должны быть "изглажены навсегда из памяти народной".

Заручившись любовью и поддержкой общества, Александр смог постепенно удалить от себя вождей заговора 11 марта. Первым пал Пален. Честолюбивый генерал-губернатор попытался сосредоточить в своих руках управление всеми внутренними и внешними делами империи: его подпись стоит под всеми официальными документами первых месяцев царствования Александра. Он принял по отношению к царю покровительственный тон, спорил с ним и навязывал свои мнения. Но он переоценил свое влияние. Александр воспользовался поддержкой, оказанной ему Беклешовым, новым генерал-прокурором Сената, сменившим уволенного фаворита Павла, Оболянинова. Когда царь пожаловался Беклешову на самоуправство Палена, генерал-прокурор презрительно пожал плечами, сказав: "Если мухи жужжат возле моего носа, я их прогоняю". Кроме того, на царя оказывала давление императрица-мать, Мария Федоровна, заявившая, что ему придется выбирать между ней и Паленом. В один из июньских дней генерал-губернатор как ни в чем не бывало подъехал к Зимнему дворцу, но в дверях перед ним вырос флигель-адъютант, который передал ему распоряжение царя в двадцать четыре часа сдать все должности и ехать в свое курляндское поместье. Это был первый опыт самодержавия, пришедшийся по вкусу Александру.

Падение Палена всполошило Зубовых. В беседах с придворными они говорили, зная, что их слова дойдут до ушей того, кому они предназначались, что Екатерина поддержала и приблизила деятелей 1762 года, и именно это обеспечило ее царствованию такую спокойную уверенность и такую славу. Но император своим сомнительным и колеблющимся поведением подвергает себя самым неприятным последствиям; он обескураживает, расхолаживает своих истинных друзей, которые желают только того, чтобы преданно служить ему. При этом они добавляли, что Екатерина официально приказала им смотреть на Александра как на единственного законного монарха, служить только ему, и никому другому. Зубовы предполагали в Александре почтение и привязанность к памяти бабки, которой в нем совершенно не было, несмотря на прочувствованные слова манифеста.

Речи Зубовых, основанные на опыте всей русской истории XVIII столетия, не произвели никакого впечатления на Александра: что могли значить Зубовы без Палена? Братья разъехались из Петербурга сами, не дожидаясь приказа.

"Длинный Кассиус" каким-то образом ухитрился доказать перед царем свою непричастность к убийству. Однако Александр не желал постоянно видеть перед глазами этот живой укор его совести. Пожаловав Беннигсена чином генерала от кавалерии, он отправил его в Литовскую губернию - к войскам. Двойственное отношение к Беннигсену Александр сохранил до конца жизни.

Дольше всех из вождей заговора продержался Панин. Назначенный царем на должность главы коллегии иностранных дел, он не собирался оставлять свой пост, несмотря на переданные ему слова Александра, что он, Панин, более других ненавистен ему, поскольку первый заговорил о перевороте. Никита Петрович жестоко поплатился за свое упрямство. Через год он был уволен со службы с приказом никогда не появляться не только при дворе, но и всюду, где будет находиться государь.

Однако беспощаднее всего Александр наказывал себя самого, растравляя свои нравственные мучения. Доверие к людям царь потерял давно, но события 11 марта заставили его потерять доверие к самому себе, и он ужаснулся этой потере. Одиночество на троне сделалось еще более невыносимым, чем прежде, потому что теперь он разделял его со

множеством людей.

Вынужденный на пути к власти переступить через труп отца, Александр еще острее нуждался в тех людях, в общении с которыми он мог проявить светлые стороны своей натуры и попытаться убедить себя самого, что власть тяготит его, что она противна ему; он хотел услышать - не от заговорщиков, замаранных кровью, а от людей с чистыми, возвышенными побуждениями, - что он должен царствовать не для самого себя, а для блага миллионов своих подданных, что жизнь его по-прежнему имеет нравственный смысл, пускай и трагический.

Между тем почти все его друзья отсутствовали: граф Кочубей находился в Дрездене, князь Чарторийский - в Неаполе, Новосильцов - в Лондоне, Лагарп после падения Гельветической республики перебрался на жительство в окрестности Парижа.

Рядом с царем был один Строганов, который первый и напомнил ему о прежних намерениях провести широкие либеральные преобразования. По мнению Павла Александровича, начать следовало с устройства внутреннего управления, а закончить административные реформы дарованием стране конституции. Александр согласился с этим, уточнив, что главным направлением дальнейшей работы должно быть определение прав гражданина. Строганов высказал мысль, что все права гражданина заключаются, собственно, в обеспечении имущества и праве каждого делать все, что не идет во вред другим гражданам. Да, конечно, сказал царь, но к этому надо прибавить еще одно: каждому должен быть открыт свободный доступ к заслугам.

Идя навстречу намерениям царя, Строганов предложил создать негласный комитет для разработки проектов реформ. Работа этого органа должна была оставаться в тайне от прочих государственных учреждений и лиц, чтобы не возбуждать преждевременного любопытства и ненужных, будоражащих общество толков. В члены комитета Павел Александрович предложил себя и остальных молодых друзей государя: Кочубея, Чарторийского и Новосильцова. Александр одобрил эту мысль, тут же в шутку окрестив новый орган "комитетом общественного спасения" (по названию известного государственного органа революционной Франции периода якобинской диктатуры). Так, стремясь водворить в обществе свободу и конституционную законность, молодые реформаторы начали с образования самого самодержавного и незаконного из всех российских государственных учреждений.

Всем членам негласного комитета было предложено возвратиться в Россию. Первым царь вызвал князя Адама, отправив ему 17 марта собственноручное письмо. "Мне нет надобности говорить вам, с каким нетерпением я вас ожидаю", - писал Александр. Чарторийский поспешил в Петербург, но из-за дальности расстояния прибыл в столицу последним. Он нашел царя бледным и утомленным после вахтпарада. Александр принял его дружески, но "с грустным и убитым видом", без проявления сердечной радости. Теперь, когда он стал государем, "у него появился оттенок какой-то сдержанности и принужденности".

- Хорошо, что вы приехали, наши ожидают вас здесь с нетерпением, сказал Александр и прибавил со вздохом: - Если бы вы были здесь, ничего этого не случилось бы: имея вас подле себя, я не был бы увлечен таким образом.

Они проговорили, как прежде, целый день. Рассказывая о смерти отца, Александр выражал "непередаваемое горе и раскаяние". От князя Адама не укрылось, что 11 марта "как коршун вцепилось в его совесть, парализуя в начале царствования самые лучшие, самые прекрасные его свойства".

Вместе с тем Чарторийский заметил значительные перемены, произошедшие с его царственным другом. Александр больше не заговаривал ни об отречении, ни о манифесте, некогда написанном князем Адамом по его настоянию. В нем появился более практический взгляд на вещи, сознание трудностей, с которыми придется столкнуться при проведении реформ.

Заседания негласного комитета начались после отставки Палена. Проходили они

довольно странно, в обстановке какой-то ребяческой конспирации. Два-три раза в неделю члены комитета являлись к царскому обеденному столу, за которым собирались его семья и многие придворные. После кофе и короткого общего разговора Александр уходил к себе, и, пока остальные гости разъезжались, четверо вершителей судеб России осторожно пробирались через коридор в небольшую туалетную комнату, сообщавшуюся с внутренними покоями царя, куда затем приходил и сам Александр. Заперев двери, молодые люди приступали к обсуждению преобразовательных планов; каждый приносил сюда свои мысли, проекты, сообщения о текущем ходе правительственных дел и замеченных злоупотреблениях и упущениях. Впрочем, долгое время эти собрания были простым времяпрепровождением, без всяких практических последствий. Покидая собрания, где было сказано много прекрасных слов, Александр снова попадал под влияние государственно-административной рутины и не мог решиться ни на какие перемены. Туалетная комната была для членов негласного комитета чем-то вроде тайной масонской ложи, откуда скрепя сердце нужно было снова возвращаться к обыденной жизни.

Конечно, эти собрания не укрылись от внимания двора, где негласный комитет получил прозвище "партии молодых людей", а содружество Чарторийского, Строганова и Новосильцова - "триумvirата". Тем не менее игра в конспирацию продолжалась.

Постепенно молодые друзья царя стали роптать, что их политическая роль сводится к нулю и что заседания не имеют никакого практического результата. В то же время царь быстро приобретал властные привычки. Обыкновенно он выслушивал мнения других и оставлял всех в неведении относительно решения, которое собирался принять, до следующего заседания, где оно уже не подлежало обсуждению. Если кто-нибудь все-таки пытался оспорить его, Александр проявлял чрезвычайное упорство. "Вступив в спор с императором, вспоминал Строганов, - следовало опасаться, чтобы он не заупрямился, и благоразумнее было отложить возражения до следующего случая". Но царь проявлял уступчивость лишь в вопросах внутреннего управления; в делах внешней политики Александр был непоколебим. Чарторийский отмечал еще одну его особенность: "Те, кто побуждал императора принять немедленно энергические меры, мало знали его. Такие настояния всегда вызвали в нем стремление отступить, поэтому они были совершенно нецелесообразны и только могли колебать его доверие".

В последнем замечании говорится прежде всего характер самого царя, но были тут и посторонние влияния, призывавшие его к осторожности.

В августе в Петербург приехал Лагарп.

Это был уже не прежний идеалист-теоретик, а политик, причем политик неудавшийся, что отразилось на его воззрениях. Повторяя из приличия старый припев о свободе и равенстве, он с негодованием выступал против призрачной свободы народного представительства и видел благо в разумном, просвещенном самодержавии, охраняющем страну от губительной игры раздраженных самолюбий и сумасбродных идей, рядящихся в мантию либерализма.

Александр с удовольствием возобновил эту идиллическую дружбу.

Государь посещал свергнутого диктатора два раза в неделю, но поскольку из-за обилия дел никогда не мог заранее назначить день и час, то Лагарп не выходил из дома в ожидании визита. Часто Александр заставал его еще в халате. В их отношениях царь продолжал выдерживать роль молодого воспитанника, благоговеющего перед старым наставником. Лагарп был польщен и говорил без умолку. Он предостерегал Александра от либеральных увлечений, убеждал дорожить своей властью, видоизменять ее постепенно, без крика и шума народных собраний, и указывал на пример Пруссии, открывшей тайну, как соединить абсолютизм с законностью и правосудием.

Касаясь 11 марта, Лагарп был настолько наивен, что имел претензию думать, будто первый открыл своему воспитаннику суть дела. Он с жаром доказывал, что виновных надо искать среди высокопоставленных особ и что их следует немедленно привлечь к суду. Александр смущенно отвечал, что это совершенно невозможно при нынешнем состоянии

умов, волнуемых слухами о реформах, и ввиду сильной аристократической партии, привыкшей к дворцовым переворотам и опирающейся на гвардию.

- Тогда уничтожьте гвардию, избавьтесь от этих преторианцев! восклицал швейцарец. - Армия более надежна, только каждые два года следует обновлять столичный гарнизон полками, призванными из внутренних губерний.

Александр и тут видел непреодолимые трудности и спешил переменить тему.

Лагарп не присутствовал на заседаниях негласного комитета, но числился как бы полуофициальным членом последнего. Помимо частых бесед с царем, он представлял ему, по своему обыкновению, обширные доклады с подробным обзором всех отраслей администрации. Вначале их читали вслух на заседаниях, но потом, ввиду их неимоверной пространности, стали поочередно брать домой.

Члены негласного комитета недолюбливали самоуверенного швейцарца, видя в нем опасного соперника и большого зануду. "Он казался нам, - писал Чарторийский, - значительно ниже своей репутации и того мнения, которое составил о нем император". Лагарп, продолжавший носить форму главы Директории и большую саблю на вышитом поясе, представлялся им обломком прошлого столетия, формалистом и доктринером. Они дали ему насмешливое прозвище "регламентированная организация" - по словосочетанию, часто употребленному им в одном из докладов. Чарторийский был уверен, что "император, быть может, сам себе в том не признаваясь, чувствовал, что его прежнее высокое мнение о бывшем воспитателе начинает колебаться". Действительно, выносить назидательную болтовню стареющего "философа" становилось все труднее. Впрочем, "о личном характере Лагарпа император никогда не менял своего мнения... Император не любил насмешливых отзывов о ничтожестве писаний Лагарпа, и наоборот... Александру было приятно, когда он мог сообщить Лагарпу, что его идеи встречены одобрительно и получают осуществление"

Царь советовался с наставником и по личным вопросам: просил, например, сказать откровенно, до какой степени его обращение, умение держать себя соответствуют его высокому сану, к которому он, по его словам, еще не успел привыкнуть. Лагарп с усердием няни, не спускающей глаз с любимого детища, следил за Александром в обществе и на улице, смешиваясь с толпой, чтобы лучше наблюдать каждое движение царя. Но лагарповские уроки величественных манер не пошли Александру впрок. Несколько лет спустя одна высокопоставленная дама вынесла от встречи с царем убеждение, что Александр больше похож на блестящего гвардейского офицера с прекрасными манерами, чем на государя.

Между тем приближался сентябрь - месяц, на который высочайшим манифестом от 20 мая была назначена коронация.

31 августа двор покинул Петербург и 5 сентября прибыл в Петровский дворец.

В Москве все бурлило от праздничного многолюдства. Народу съехалось так много, что цены на жилье и съестные припасы вздорожали в семь, восемь, десять раз. Тем не менее "публика" все продолжала прибывать.

1 сентября Александр совершил верховую прогулку по Тверскому бульвару. Едва он был узан, как огромная толпа обступила его - осторожно, но с ясным сознанием своего права любоваться своим государем. Не было слышно ни крика, ни шума, но в шелесте людского говора вокруг себя Александр услышал и "батюшка", и "родимый", и "красное солнышко", все, что в народном языке есть нежно-выразительного. Стоявшие ближе других набожно прикладывались к его сапогам, лошади, упряжи... "Пред владыками Востока народ в ужасе падает ниц, - замечает по этому поводу очевидец, - на Западе смотрели некогда на королей в почтительном молчании, на одной только Руси цари бывают иногда так смело и явно обожаемы".

Торжественный въезд в древнюю столицу состоялся спустя неделю. Стояла тихая, чудесная погода, на небе не было ни одного облачка. На пути от Петровского до Лефортовского дворца шпалерами выстроились гвардейские полки; окна были украшены коврами и тканями; народ, усыпавший улицы, подмостки, ложи, крыши, выражал

единодушный восторг. Рано утром, при звоне кремлевских колоколов и артиллерийском салюте, процессия тронулась. За отрядом конногвардейцев ехали парадные экипажи сенаторов и придворных, за ними - взвод кавалергардов, потом верхами Александр с великим князем Константином, сопровождаемые блестящей свитой адъютантов; позади них, в золоченых каретах, сидели Мария Федоровна, Елизавета Алексеевна и великие княжны; в хвосте процессии гарцевал отряд конной гвардии и торжественно выступали двенадцать почтальонов в нарядных мундирах.

У всех больших церквей царский поезд встречало духовенство и делегации от сословий. После молебствия в Успенском соборе шествие завершилось у Лефортова дворца, где московская знать преподнесла царской чете хлеб-соль.

15 сентября, в воскресенье, состоялась коронация. В Успенский собор впускали по билетам: мужчин вниз, дам - на хоры. Александр с Елизаветой Алексеевной прибыли в храм под пышным балдахином, шитым снаружи серебряной парчой, а внутри - золотой. Священнодействовал митрополит Платон, который после обряда помазания на царство причастил государя.

В честь коронационных торжеств была выбита медаль, на одной стороне которой был изображен Александр, на другой - колонна с надписью: "Закон", окаймленная словами: "Залог блаженства всех и каждого".

Потянулась бесконечная череда великолепных праздников: маскарады, балы, иллюминации, фейерверки, обеды для народа и армии, фонтаны из вина... Но "какой-то оттенок грусти окрасил начало этого царствования, в полную противоположность с блеском пышных коронационных торжеств". Царственные супруги не казались счастливыми и потому не могли вызвать в других чувства радости.

Среди празднеств и блеска в душе Александра царили мрак и отчаяние. Все здесь напоминало ему отца, его коронацию пятилетней давности. Может быть, никогда он не чувствовал себя более несчастным. Он проводил целые часы один, молча, с угрюмым, неподвижным взглядом. Приступы тоски повторялись ежедневно, и в это время он никого не хотел видеть рядом. Исключение было сделано для одного Адама Чарторийского, которого Александр иногда призывал к себе; порой князь входил и самовольно, если царь очень долго не выходил из задумчивости. Чарторийский старался рассеять тоску Александра напоминанием о его обязанностях, о работе, к которой он призван. Но укоры совести отнимали у царя всякую душевную энергию. На все увещания он отвечал:

- Нет, это невозможно, против этого нет лекарств, я должен страдать. Как хотите вы, чтобы я перестал страдать? Этого изменить нельзя.

Не раз, рассказывая о своем участии в заговоре, Александр вновь и вновь возвращался к тому, как он мечтал устроить Павлу счастливую жизнь в Михайловском дворце, стеснив его свободу лишь настолько, насколько этого требовала государственная необходимость.

- Ведь Михайловский дворец был любимым жилищем отца, - говорил он, ему было бы там хорошо, он имел бы в своем распоряжении весь Летний сад для прогулок верхом и пешком.

Оказывается, он хотел выстроить там манеж и театр и, кажется, был вполне уверен, что ему удалось бы сделать отца счастливым в его заточении. Похоже, он судил о нем по себе.

Чарторийского поражали наивность и какая-то детская доверчивость, с которыми Александр делился с ним этими воспоминаниями.

По возвращении в Петербург заседания негласного комитета возобновились. Теперь у "партии молодых людей" появились посредники в их связях с двором и обществом: старый граф Строганов, отец Павла Александровича, и графы Воронцовы, братья Александр и Семен Романовичи.

Александр Романович видел политический идеал в республиканско-монархическом устройстве Польши, Семен Романович - в конституционных учреждениях Англии. Относительно России оба сошлись на огромном значении Сената в деле роста русской свободы. Они надеялись, что расширение прав Сената станет первым шагом на пути к

будущему народному представительству, так как предполагали со временем включить в Сенат депутатов от дворянства.

Однако царь не решался взять на себя почин в таком важном деле. Поэтому Воронцовы в согласии с членами комитета "условились предпринять энергичное наступление на императора, чтобы вывести его из робкого бездействия".

Во исполнение задуманного Павел Александрович Строганов устроил званый обед для Александра и Елизаветы Алексеевны, куда были приглашены другие молодые друзья царя и братья Воронцовы. После обеда пошли гулять, и заговорщики увлекли Александра в павильон, занимаемый Новосильцовым. Оратором был заранее избран граф Семен Романович, опытный в парламентском красноречии. Вслед за тем огонь по бастионам царской нерешительности был открыт из всех имевшихся в распоряжении орудий, так что, вспоминал Чарторыйский, когда Александр ушел спать, ему и во сне должны были слышаться голоса, кричавшие: "Сенат, Сенат..."

Царь уже готов был сдаться, как вдруг ему пришло в голову спросить у Лагарпа, что тот думает обо всем этом. Прочитав длинный список предполагаемых prerogatives Сената, швейцарец пришел в ужас.

- Я видел эти народные собрания, созываемые с величайшим трудом! кричал он. - Почти всюду они делают одни только глупости, и я от души поздравляю Россию, управляемую монархом, облеченным властью, необходимой для мудрого и постепенного преобразования и для предоставления народу не призрачной, а действительной свободы. Только сохранение всей полноты вашей монаршей власти позволит не подвергать судьбу страны случайностям народных собраний, в которых бушуют разнузданные страсти и заглушается голос справедливости, благоразумия и истинной любви к отечеству!

Александр, ободренный неожиданной поддержкой, сказал, что дела в Сенате идут даже хуже, чем полагает его наставник.

- Я сам два года присутствовал в Сенате в царствие отца моего, добавил он и, встав с места, изобразил в лицах слушание докладов и принятие резолюций стариками сенаторами*.

Сенат остался прежним Сенатом, но в утешение поборникам русской свободы Александр велел именовать его впредь "правительствующим Сенатом".

Вообще, молодые друзья царя стали замечать, что преобразования идут как-то туго. Не подлежало никакому сомнению, что Александр многим был недоволен в существующем порядке вещей, многое желал изменить, исправить, но равным образом было несомненно, что ни один из проектов реформ не исходил от него лично, все они не без труда внушались ему, причем его согласия на то или иное новшество нередко добивались с величайшими усилиями. О конституции Александр продолжал говорить с величайшей охотой, но только говорить, не более, а проекты освобождения крестьян были сведены на указ о вольных хлебопашцах**. Создавалось впечатление, что царь является наибольшим консерватором из всех членов негласного комитета.

Тогда молодые друзья царя решили взять дела в свои руки. С этой целью Александру было предложено заменить коллегии министерствами как более деятельными и ответственными органами исполнительной власти. Лагарп в данном вопросе был согласен с другими членами комитета. Успеху этого проекта помог случай. Однажды Александр пришел к Лагарпу в страшном волнении и со слезами на глазах поведал, что сотни жителей Иркутска погибают от недостатка в городе продовольствия, а все усилия отыскать виновных остаются напрасными. Воспользовавшись настроением царя, Лагарп предложил ему учредить министерства. Под влиянием его доводов царь поручил негласному комитету рассмотреть этот вопрос.

Манифестом 8 сентября 1802 года коллегии были преобразованы в восемь министерств: иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции и народного просвещения - с комитетом министров для обсуждения общего хода дел. Прежние коллегии были подчинены министерствам или вошли в них как их департаменты. Главным отличием новых органов была их единоличная власть:

каждое ведомство управлялось министром вместо прежнего коллегиального присутствия; каждый министр был отчетен перед Сенатом. Кочубей был назначен министром внутренних дел, Строганов - товарищем министра внутренних дел, Новосильцов - товарищем министра юстиции (Державина), а Чарторийский - товарищем министра иностранных дел (Александра Воронцова).

Реформа центрального управления наделала много шума в гостиных. Большинство вельмож и сановников, по словам современника, рассматривало эту реформу не с точки зрения ее действительных достоинств и пользы, которую она может принести государству, а по тому, как она должна была отозваться на личной карьере каждого. Получившие места в новых учреждениях одобряли ее, те, что остались за штатом, порицали как слепое увлечение молодости против древних учреждений, которыми возвеличилась Россия. Важные сановники, с которыми не посоветовались, чувствовали себя обиженными и желчно издевались над глупостью молодых людей и некоторых старцев, рабски подражавших Европе. Их поддерживала императрица Мария Федоровна, недовольная тем, что Александр редко прибегает к ее советам. Ее салон стал прибежищем всех противников реформ.

А противников этих было немало. Прямодушный Державин открыто восставал против "коверканья" всех начинаний Павла, называл негласный комитет "якобинской шайкой" и обвинял его членов в том, что они, будучи набиты польским и французским конституционным духом, на самом деле ни государства, ни дел гражданских не знают.

Другие, как, например, А. С. Шишков, были недовольны как раз тем, что молодой царь не исполнил свое обещание идти по стопам бабки. Новое царствование они оценивали как продолжение павловского (вахтпарады, онемечивание армии), только без павловских строгостей.

Наконец, пессимисты по натуре признавали, что царь и его молодые друзья, "пожалуй, и умные люди, но лунатики".

Но восхищение все же преобладало. "Если бы Государственный совет состоял из пятнадцатилетних мальчиков, - писал один современник, - то и его постановления были бы приняты как плоды высокой мудрости. Молодая Россия была без памяти влюблена в молодого Александра. А когда любовь бывает не слепа?" Другой свидетельствует, что для русского общества Александр был "идеалом совершенства. Все им гордились, и все в нем нравилось: даже некоторая изысканная картинность его движений, сутуловатость и держание плеч вперед, мерный, твердый шаг, картинное отставление правой ноги, держание шляпы так, что всегда между двумя раздвинутыми пальцами приходилась пуговица от галуна кокарды, кокетливая манера подносить к глазу лорнетку - все это шло к нему, всем этим любовались". Обществу нравилось видеть государя, гуляющего по столице пешком, без всякой свиты и без всяких украшений, даже без часов, и приветливо отвечающего на поклоны встречающих; нравилось, что нигде в Европе нет правительства, так свободолюбиво настроенного, так искренне стремящегося к благу и справедливости.

Подобными отзывами полны все русские мемуары того времени. Любопытно, что иностранцы, проживавшие тогда в России, оставили совершенно иную картину отношения общества к молодому царю. Саксонский посланник Карл Розенцвейг писал: "Русские находят в императоре недостатки, которые омрачают несколько его личность. Его считают недоверчивым и скупым. Быть может, первый из этих недостатков был вызван и оправдывается его воспитанием, опытом его молодых лет и людьми, его окружающими. По крайней мере, невозможно совершенно отрицать этого, зная строгую сдержанность его с приближенными и то ограниченное доверие, которое оказывает им государь. Император, не доверяющий своим собственным силам, не может доверять другим..." Чарторийский еще более категоричен: "В то время общественное мнение в России далеко не было расположено в пользу императора Александра, и вообще, в течение всего этого царствования император лишь изредка и на короткое время приобретал популярность..." И далее: "Молодой император не нравился им (русским. - С. Ц.); он был слишком прост в обращении, не любил пышности, слишком пренебрегал этикетом. Русские сожалели о блестящем дворе Екатерины

и о тогдашней свободе злоупотреблений, об этом открытом поле страстей и интриг, на котором приходилось так сильно бороться, но вместе с тем можно было достичь и таких огромнейших успехов. Они сожалели о временах фаворитов, когда можно было достигать колоссальных богатств и положений, каких, например, достигли Орлов и Потемкин. Бездельники и куртизаны не знали, в какие передние толкнуться, и тщетно искали идола, перед которым могли бы курить свой фимиам... Их низость оставалась без употребления". И поскольку Александр не преследовал за мнения, салоны обеих столиц беспрерывно критиковали деятельность правительства.

Вероятно, Розенцвейг и Чарторийский основывали свои выводы на наблюдениях за жизнью двора, между тем как русские мемуаристы запечатлели настроения нечиновного и нетитулованного дворянства, той "молодой России", которая свяжет с именем Александра свои лучшие надежды и так жестоко разочаруется и в них, и в своем кумире.

Весной 1802 года Лагарп покинул Петербург. Расставаясь, он повторял Александру уверения в горячей преданности и обещал явиться по первому зову в зашифрованной переписке: "Adoucias" - "Вы мне нужны". Он всегда говорил, что считает себя членом неофициального комитета, и теперь уверял молодых друзей царя, что мысленно будет продолжать участвовать в их заседаниях.

С отъездом Лагарпа Александр потерял почти всякий интерес к внутренним делам империи. Чарторийский не преминул упрекнуть его в строгих и выразительных словах: "Императору нравились внешние формы свободы, как нравятся красивые зрелища; ему нравилось, что его правительство внешне походило на правительство свободное, и он хвастался этим. Но ему нужны были только наружный вид и форма, воплощения же их в действительности он не допускал. Одним словом, он охотно согласился бы дать свободу всему миру, но при условии, что добровольно будут подчиняться исключительно его воле". Но дело было не только в этом. Придворная, гвардейская, дворянская Россия, убившая его отца, вызывала у Александра отвращение и нежелание что-либо делать для нее, а другой России он не знал. К тому же его воспитание способствовало тому, что малейшие затруднения вызывали в нем немедленное охлаждение к дальнейшей деятельности. На втором году своего царствования Александр со вздохом облегчения увидел, что у него в государстве все наконец-то почти "как у людей", то есть как в Европе, и вполне удовлетворился этим. Теперь его взгляды устремлялись за Вислу, в Западную Европу. Ему наскучила убогая, неблагодарная домашняя лаборатория устройства человеческого счастья; его манила широкая европейская сцена - там собралась более культурная, более тонкая публика, там аплодисменты звучали громче...

Воцарение Александра сразу привело к значительным изменениям во внешней политике России.

Вместе с тем Россия избежала разрыва с Францией. Для выяснения того, чего ему следует ждать от молодого русского царя, Наполеон послал в Петербург своего ближайшего сподвижника и друга маршала Дюрока.

7 мая 1801 года Дюрок был принят царем. Во время аудиенции Александр проявил удивительную наивность. Желая подчеркнуть свое уважение к принципам 1789 года, он выражал бурное восхищение тем, что видит наконец француза, участника великой революции, и, предполагая в Дюроке суровые республиканские добродетели, с удовольствием величал его "citoyen" ("гражданин"), чтобы доставить удовольствие послу республики. Однако это звание пришлось не по вкусу Дюроку, и он в конце концов вежливо намекнул Александру, что во Франции звание "гражданин" больше никому не ласкает слух.

Помимо аудиенции Дюрок имел с государем знаменательную беседу в Летнем саду. Взяв посла под руку, Александр водил его по дорожкам сада и развивал свои политические взгляды на отношения России и Франции:

- Мне лично ничего не нужно, я желаю только содействовать спокойствию Европы, - заверил он французского посла.

В этих словах уже заключалась несчастная судьба России на ближайшие двадцать лет:

русская кровь должна была скреплять фундамент европейского благополучия.

В заключение Александр сказал, что не намерен вмешиваться во внутренние дела других государств, что всякий народ волен избрать себе правительство, которое удовлетворяет его потребностям, и что он осуждает тех, кто противодействует этому.

26 сентября в Париже был подписан мирный русско-французский договор, а два дня спустя - секретная конвенция, касающаяся урегулирования дел в Германии, Италии и отношений Франции с Турцией.

Приехавший в ту пору в Петербург Лагарп охладил восторги царя по поводу первого консула и французской республики. Наполеон, уверял Александра швейцарец, думает вовсе не о благе человечества, а о личной власти, о захватах:

- Никто ловчее Наполеона не облачается в шкуру ягненка, лисицы и льва. Руководимое им движение назад, ко временам мрака и варварства, совершается с удивительной быстротой. Уже стыдятся признавать права разума и слагают панегирики спасительному невежеству и похвальному легковерию предков. Честного гражданина ожидают тюрьма и ссылка, а шпионов - деньги и почет; свобода слова подавлена.

Подобный взгляд на Наполеона был тогда еще нов, но Александр своим отлично развитым политическим чутьем уловил, что в будущем этому взгляду суждено сделаться преобладающим. Разговоры с Лагарпом пробудили в Александре смутную, пока еще плохо осознаваемую вражду к Наполеону, в причинах которой царь вряд ли отдавал себе отчет. Александр почувствовал в Наполеоне своего главного соперника в деле устройства всечеловеческого счастья, артиста, собиравшегося сорвать овации европейской публики и превратить политические спектакли в свой бесконечный бенефис. И главное, что отличало этого артиста от его собратьев, была гениальность, то есть яркий проблеск подлинной, божественно-дьявольской сущности человека, не поддающейся ни подражаниям, ни подделкам под нее. Российский Протей, тоскующий по себе самому, не мог не чувствовать зависти к человеку, знающему и смело осуществляющему самого себя. Поэтому, подписав договор, Александр отозвался о первом консуле так:

- Какой мошенник!

Эти слова не сулили в будущем ничего доброго.

С приездом Дюрока вопросы внешней политики были затронуты и на заседаниях негласного комитета. Чарторийский высказался по этому поводу в том смысле, что лучшая политика по отношению к французам состоит в том, чтобы внушать им доверие простотой собственных действий, но в то же время и давать им чувствовать, что "мы вовсе не имеем отвращения к тому, чтобы противодействовать силой оружия их властолюбивым замыслам в случае, если они не захотят от них отказаться".

Все согласились с этой формулировкой, а царь добавил, что Россия не имеет надобности в союзах с иностранными государствами и что ей не нужно заключать с ними никаких договоров, кроме коммерческих.

Кочубей, заведовавший иностранными делами, был решительным приверженцем системы невмешательства в европейские дела. Казалось, эта система отвечала взглядам царя. По крайней мере, еще 31 октября 1801 года Александр писал С. Р. Воронцову: "Я буду стараться следовать преимущественно национальной системе, то есть системе, основанной на пользе государства, а не на пристрастии к той или другой державе, как это часто случалось. Если я это найду выгодным для России, я буду хорош с Францией, точно так же, как та же самая выгода России побуждает меня теперь поддерживать дружбу с Великобританией".

Но уже в конце года Кочубей жаловался на упрямство государя, а затем появились первые признаки русско-прусской дружбы, что рушило всю систему уклонения от союзов.

Кочубей рискнул поднять этот вопрос в негласном комитете. Александр заявил, что союз с Пруссией удержит Францию в пределах умеренности. "Триумвират" поддержал царя, заметив, что "Франции следует дать понять, что мы можем сделать ей больше вреда, чем она нам".

Решение о свидании с прусским королем было принято за спиной Кочубея. "Кому придет в голову, - писал он, - что два государя совершают переезд для того только, чтобы осмотреть несколько полков? А в сущности, это так, и не иначе. Кто поверит, что министр иностранных дел не знал ничего об этой проделке? А между тем и это сушая правда".

Таким вот образом Александр остановился на решении, которое определило всю его последующую политику.

Царь обещал Кочубею, что поездка в Мемель не будет иметь политических последствий, и обещал вполне искренне. Он просто желал, пишет Чарторийский, "сблизиться со своим соседом и родственником. Он чувствовал к пруссакам и к их королю особенную любовь, объяснявшуюся военным воспитанием, полученным им в Гатчине. Для Александра было праздником увидеть прусские войска, о которых он был очень высокого мнения; он с удовольствием готов был воспользоваться удобным случаем расширить свои познания в военном строе и парадах... Кроме того, Александру очень хотелось познакомиться с красивой прусской королевой, порисоваться перед ней и перед иностранным двором. Поэтому он с радостью отправился в Пруссию". Но тем не менее политические последствия этой поездки были весьма серьезные. В Мемеле завязалась дружба Александра с Фридрихом Вильгельмом III, которая помогла последнему сохранить прусскую монархию - за счет потоков русской крови.

20 мая 1801 года царь покинул Петербург. Его сопровождали Кочубей, Новосильцов, обер-гофмаршал граф Н. А. Толстой, генерал-адъютанты князь П. П. Долгоруков, граф Ливен, князь Волконский и лейб-медик Виллие.

Путешествие напоминало триумф. Народ готов был постелить себя под ноги Александрова коня. В Риге жители со слезами умоляли Александра позволить им выпрячь лошадей и везти его карету на себе. В Мемеле, куда Александр приехал в конце мая, его ждала не менее радушная встреча. Навстречу ему вышли прусский король и все население города. Праздники - смотры, маневры, приемы, обеды, балы, фейерверки - начались сразу и продолжались всю неделю, до самого отъезда Александра.

Графиня Фосс, обер-гофмейстерина королевы Луизы, записала в дневнике свои первые впечатления от русского царя: "Император чрезвычайно красивый человек, белокурый; он поражает выражением своего лица; фигура его нехороша, или, вернее, он плохо держится. По-видимому, он обладает мягким и человеколюбивым сердцем; во всяком случае, он в высшей степени учтив и приветлив". На седьмой день она была от него без ума: "Император самый любезный человек, какого можно вообразить себе; и по своим взглядам и убеждениям это вполне честный человек. Бедный, он совсем увлечен и очарован королевой!"

Последнее замечание не было сплетней, хотя оно и не совсем верно передает существо дела. С королевой Луизой у Александра возникли особого рода отношения - так называемое "платоническое кокетничанье", - которые особенно нравились Александру. "Лишь в очень редких случаях добродетели дам, которыми интересовался этот монарх, угрожала действительная опасность", - поясняет сущность этих отношений Чарторийский.

Фридрих Вильгельм смотрел на все это сквозь пальцы. Как видно, Александру старались угодить во всем, и не напрасно: в Париже в это время шла торговля бесхозными немецкими землями, и Пруссия добилась русской санкции на приобретение многих новых владений. Не последнюю роль в уступчивости царя сыграли его отношения с королевой. "Вы поймете, - писал одному своему корреспонденту обер-гофмаршал королевского двора Ломбард, что волшебница немало способствовала скреплению уз, связующих ныне обоих государей. Это фея, подчиняющая все силе своего очарования".

Покидая Мемель, Александр уже не рассматривал Пруссию как государство, но, по выражению Чарторийского, видел в ней дорогую ему особу, по отношению к которой признавал для себя необходимым руководствоваться особыми обязательствами.

II

Вот оно, солнце Аустерлица!

Наполеон

Европейские дела все больше отвлекали внимание Александра от дел российских.

4 августа 1802 года на основании плебисцита ("за" - 3 568 885 голосов, "против" - 8374) Сенат провозгласил Наполеона пожизненным консулом. Этот новый вид монархии чрезвычайно не понравился Александру. В письме Лагарпу в Париж царь писал: "Завеса упала, он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный и которую ему оставалось стяжать, - славы доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества, и, пребывая верным конституции, которой он сам присягал, сложит через десять лет власть, которая была у него в руках. Вместо того он предпочел подражать дворам, нарушив вместе с тем конституцию своей страны. Ныне это знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории".

Вскоре за тем последовал полный разрыв отношений.

Разрыв этот был вызван событиями, непосредственно России не касающимися. В начале 1804 года представители свергнутой королевской фамилии - граф д'Артуа, герцог Беррийский и принц Конде составили заговор против Наполеона. Организацию покушения взял на себя знаменитый предводитель шуанов Жорж Кадудаль; в случае удачи французские принцы должны были высадиться с эмигрантским десантом в Нормандии, поднять общий мятеж и восстановить династию Бурбонов. Кадудаль и его люди начинили мешками с порохом телегу и поставили ее на одной из улиц, по которой первый консул должен был вечером ехать в оперу. Однако карета Наполеона пронеслась так быстро, что чудовищной силы взрыв, убивший и покалечивший множество прохожих, не причинил никакого вреда первому консулу. Принцы-заговорщики не высадились во Франции, и Наполеон обратил свою месть на другого принца из дома Бурбонов, не причастного к заговору, - на герцога Энгиенского, который уже два года жил в Эттингейме, на баденской земле. Поправ все нормы международного права, отряд французских драгун вторгся в пределы Бадена и захватил молодого герцога. В его архиве не нашлось ни одной бумаги, подтверждающей его виновность в покушении на жизнь Наполеона; несмотря на это, он был приговорен к смерти и сразу после вынесения приговора расстрелян во рву Венсенского замка. Совершая это преступление, Наполеон преследовал двоякую цель: во-первых, обрывал все связи своего правительства со старым режимом (члены французского королевского дома неоднократно предлагали Наполеону восстановить династию Бурбонов) и, во-вторых, демонстрировал силу собственной власти, способной не считаться ни с кем и ни с чем.

Заговор Кадудалья вызвал такой порыв преклонения французов перед Наполеоном, что он решил воспользоваться этой минутой, чтобы осуществить наконец свои честолюбивые мечты. В конце апреля 1804 года Законодательное собрание обнародовало свое решение: "Общее желание высказано за то, чтобы власть была сосредоточена в руках одного лица и сделана наследственной. Франция вправе ожидать от семьи Бонапарта - более, чем от какой-либо другой, - сохранения прав и свобод избирающего его народа и всех учреждений, которые могут права и свободы гарантировать. Эта династия настолько же заинтересована в сохранении всех благ, добытых революцией, как старая была бы заинтересована в их уничтожении". Шестого мая Наполеон торжественно принял титул императора французов.

Расстрел герцога Энгиенского вызвал настоящее потрясение в Петербурге. Двор облачился в траур. Александр и Елизавета Алексеевна, принимая дипломатический корпус, намеренно игнорировали французского посланника генерала Гедувиля. В Париж была отослана нота протеста. Ответ французского министра иностранных дел Талейрана был намеренно резок и оскорбителен: в нем говорилось, что после смерти императора Павла Франция не позволила себе требовать от русского правительства каких-либо объяснений по этому поводу. Нельзя было уязвить Александра более чувствительным образом, чем намекая ему о его роли в заговоре 11 марта.

Тем не менее разрыва с Францией при желании можно было избежать: ни одно европейское правительство не поставило Наполеону официально в вину смерть герцога Энгиенского. Но Александр уже чувствовал, что может выступить перед всем миром в самом выгодном для себя свете - не тщеславным соперником гениального человека, а защитником

права и справедливости. Война с Францией не сулила России никаких выгод, но делала русскую армию "великой армией правого дела", а ее предводителя - умиротворителем Европы. Всегда легче бороться со злом, чем самому делать добро.

Александр принялся сколачивать коалицию против Франции, упирая на опасность, которую представляет Наполеон европейскому спокойствию. "Этот человек делается безумным по мере возрастания малодушия французов, - писал он члену австрийского правительства барону Стутергейму. - Я думаю, что он сойдет еще с ума". В то же время он подчеркивал личную незаинтересованность в европейских делах: "Я желал бы, чтобы вы были настороже. Преступное честолюбие этого человека желает вам зла; он помышляет только о вашей гибели. Если европейские державы желают во что бы то ни стало погубить себя, я буду вынужден запереть для всех свои границы, чтобы не быть увлеченным их погибелью. Впрочем, я могу оставаться спокойным зрителем всех этих несчастий. Со мною ничего не случится; когда я захочу, я могу жить здесь, как в Китае".

Воинственному обороту русской внешней политики способствовало еще и то, что в начале 1804 года государственный канцлер граф А. Воронцов заболел и отошел от дел, а вместо него на этот пост был назначен князь Адам Чарторийский. Русские были возмущены, и надо сказать, что у них имелись для этого все основания. Князь Адам был, безусловно, бескорыстным, благородным и честным человеком, и именно эти качества не позволяли ему скрывать, что он возглавил русскую внешнюю политику единственно для того, чтобы восстановить независимость Польши, сама же Россия интересовала его только с точки зрения благоустройства европейских дел. "Я хотел бы, - писал князь Адам, - чтобы Александр сделался в некотором роде верховным судьей и посредником для всего цивилизованного мира, чтобы он был заступником слабых и угнетенных, стражем справедливости для всех народов, чтобы, наконец, его царствование послужило началом новой эры в европейской политике, основанной на общем благе и соблюдении прав каждого". Иначе говоря, любая европейская заварушка, по мысли Чарторийского, должна была гаситься русской кровью. Нельзя сомневаться в горячем патриотизме князя Адама, но, думается, с его стороны было бы честнее не возглавлять иностранную политику страны, чьи национальные интересы были ему совершенно безразличны.

Чарторийский вполне справедливо полагал, что польский вопрос может получить первостепенное значение только в случае войны России с какой-либо из европейских держав. Поэтому преследуемая им цель - восстановление Польского королевства и установление его династического союза с Россией заставляла князя Адама подталкивать царя на обострение отношений с Францией. Кроме того, в планы Чарторийского входила и война России с Пруссией за польские земли, но здесь князь, самоуверенно вступивший в соперничество с прекрасной Луизой за сердце царя, своими руками рыл себе яму.

Из всего ближайшего окружения царя только молодой князь Петр Петрович Долгоруков открыто выступал против планов восстановления Польши. Однажды за царским столом, вступив в жаркий спор с Чарторийским, он громко заявил:

- Вы рассуждаете, как польский князь, а я рассуждаю, как русский князь.

При этих словах Чарторийский побледнел и умолк.

Однако и русский, и польский князья сходились на том, что необходимо остановить зарвавшегося корсиканца.

Новая, третья по счету коалиция против Франции включала в себя Англию, Австрию, Неаполитанское королевство, Россию и Швецию (две последние державы отказались признать императорский титул Наполеона). Официальным предлогом к ее образованию объявлялась защита независимости Итальянской, Швейцарской и Голландской республик, с которыми Наполеон обращался как с собственностью Франции. Подобное участие со стороны пяти монархических дворов Европы в делах несчастных республик выглядело, конечно, весьма трогательно.

Пруссия, которой Наполеон пообещал Ганновер, пока что сохраняла нейтралитет.

Англия, только что одержавшая победу над французским флотом при Трафальгаре, не

жалела денег на создание сухопутной армии на континенте. Она истратила более пяти миллионов фунтов стерлингов на субсидии коалиции. На эти деньги Австрия мобилизовала три армии: под начальством эрцгерцога Фердинанда и генерала Мака (90 тысяч человек на Инне) и эрцгерцога Иоанна (40 тысяч в Верхней Италии), а Россия - шесть армий: генерала М. И. Голенищева-Кутузова (50 тысяч в Галиции), генерала Михельсона (90 тысяч под Гродно и Брест-Литовском), генералов Беннигсена, Буксгевдена и Эссена (около 100 тысяч на австрийской и прусской границах) и 16-тысячный десант графа П. А. Толстого в Кронштадте. Россия рассчитывала, что Пруссия пропустит русские войска через свою территорию на соединение с австрийцами, в противном случае ее надеялись принудить к этому силой.

В сумрачный ветреный день 9 сентября, прослушав молебен в Казанском соборе, Александр выехал к армии. Его сопровождали обер-гофмаршал граф Н. А. Толстой, генерал-адъютанты: граф Ливен, князья Долгоруков и Волконский, канцлер князь А. Чарторийский, тайные советники Новосильцов и Строганов и лейб-медик Виллие.

Царь был задумчив. Накануне он посетил знаменитого старца Севастьянова, жившего в Измайловском полку. Старец убеждал царя не начинать войну с проклятым французом - добру тут не быть.

- Не пришла еще пора твоя, побьет он тебя и твоё войско, придется бежать куда попало, - пророчил Севастьянов. - Погоди да укрепляйся, час твой придет, тогда и Бог поможет тебе сломить супостата.

В Брест-Литовск Александр приехал через неделю после отъезда из Петербурга. Первый раз со времен Петра I русский государь лично являлся на театр военных действий. Приезд Александра произвел на армию огромное впечатление: это показалось всем событием чрезвычайным.

Чарторийский пригласил царя остановиться в его родовом имении Пулавах и лично отправился туда, чтобы предупредить родителей о приезде высокого гостя. Прождав напрасно весь день 17 сентября, Чарторийские в недоумении разошлись по своим комнатам.

Александр появился в Пулавах в два часа ночи, когда все уже спали. Он пришел пешком, забрызганный грязью, в сопровождении какого-то еврея, освещавшего царю путь тусклым фонарем. Запретив будить кого-либо в доме, царь приказал показать ему его покои и там, не раздеваясь, бросился на кровать и сразу заснул.

Оказалось, что он направился в Пулавы вечером, воспользовавшись услугами австрийских проводников, которые, чураясь помощи поляков, долго плутали в темноте, пока окончательно не сбились с пути и не потеряли своего царственного спутника; в довершение несчастий царский кучер Илья зацепил каретой за пень и сломал колесо. Над царем сжалился проезжавший мимо еврей-водовоз. Не подозревая о сани попавшего в беду путешественника, он вызвался проводить его в Пулавы, которые, как выяснилось, находились всего в полумиле от места происшествия.

В семь утра Александр был уже на ногах. Старики Чарторийские застали его беседующим с князем Адамом. Хозяева выразили царю благодарность за честь, оказанную им посещением их дома, на что Александр отвечал, что он обязан им еще большей благодарностью за то, что они даровали ему лучшего друга в его жизни.

Зная чувствительность молодого государя, Чарторийские стремились воздействовать на его воображение, чтобы пробудить сочувствие к Польше. Пулавские дни были окрашены в романтические тона исторических воспоминаний и глубокой скорби о потере независимости. Изобретательная княгиня Чарторийская выбирала маршруты послеобеденных прогулок с таким расчетом, чтобы царь, любивший сельские виды, непременно наткнулся на зрелище какой-нибудь крестьянской идиллии, зачастую заранее приготовленное. Александр посетил пулавский храм Сивиллы, построенный в 1798 году, на фронте которого была выбита надпись: "Прошедшее - будущему". Это был своеобразный археологический музей истории Польши. Царь вписал свое имя в книгу посетителей. Продолжительные вечерние разговоры о польском искусстве и польской литературе заканчивались обыкновенно воспоминаниями о

минувшем величии Польши, об испытанных ею несчастьях и о ее неизбежном будущем возрождении. Все это было превосходной рамой для душевного настроения того Александра, которого князь Адам помнил по беседам в саду Таврического дворца. Но теперь в Пулавах гостил не великий князь, а государь, и Чарторийский понял это слишком поздно.

4 октября Александр внезапно объявил о своем решении ехать в Берлин, не заезжая в Варшаву. Миссия Долгорукова увенчалась успехом: узнав, что французские войска без разрешения прошли через прусские владения в Анспахе, Фридрих Вильгельм дал свое согласие на проход русских армий сквозь Пруссию на соединение с австрийцами. Свидание в Мемеле дало неожиданные плоды. Планы Чарторийского рухнули. На смену пулавской идиллии приближалась потсдамская мелодрама.

Александр действовал в раз навсегда усвоенной манере: держа окружение в неведении до последней минуты, а потом внезапно объявляя о своем решении, всегда самостоятельном. Вслед за Чарторийским с этой чертой характера царя вскоре предстояло познакомиться и Фридриху Вильгельму.

13 октября при пушечном салюте Александр въехал в Берлин. Весь гарнизон стоял под ружьем, берлинцы, охваченные сильными антифранцузскими настроениями, восторженно приветствовали русского государя. Александр возобновил свои платонические ухаживания за Луизой, которые и на этот раз не остались без политических последствий: король обеспечил за собой Ганновер, обещанный теперь Пруссии и Александром за обещание Фридриха Вильгельма выступить посредником между союзниками и Наполеоном. Правда, это снимало с Пруссии ореол "подвига бескорыстия", который Александр всеми силами стремился ей придать.

Тем временем было получено известие о капитуляции генерала Мака под Ульмом (20 октября). Таким образом, сотысячная австрийская армия была рассеяна в три недели. Наполеон выиграл кампанию одними маневрами, без серьезных сражений. "Император разбил врага нашими ногами", - шутили французские солдаты.

Кутузов, мастерски уклоняясь от решительного сражения, перешел Дунай по Кремскому мосту и разрушил его за собой.

Император Франц II покинул Вену; в городе царило страшное смятение. Опасаясь, как бы австрийцы не разрушили мосты через Дунай, Ланн и Мюрат с небольшим отрядом гренадер подъехали с белым флагом к австрийским постам. Пока оба генерала уверяли командующего венским гарнизоном князя Ауэрсперга, что предстоит заключение перемирия, один из их офицеров вырывал фитиль из рук австрийского командира, пытавшегося взорвать мост. Подоспевшие французские гренадеры оттеснили австрийцев, и драгоценный мост оказался в руках французов раньше, чем ошеломленный Ауэрсперг понял, что произошло.

Узнав об ульмской катастрофе, Александр поспешил к кутузовским войскам в Моравию. Во время последнего ужина в Потсдаме царь выразил сожаление, что оставляет Берлин, не отдав дань уважения останкам великого Фридриха.

- На это еще хватит времени, - успокоил его Фридрих Вильгельм.

В одиннадцать часов вечера оба государя и королева встали из-за стола и в полночь спустились в склеп Гогенцоллернов, ярко освещенный свечами. Романтическая обстановка так взволновала Александра, что он припал к гробу Фридриха II и затем, встав, протянул руки Фридриху Вильгельму и Луизе, поклявшись в вечной дружбе, залогом которой должно было стать освобождение Германии. Увлажнившиеся глаза прекрасной Луизы были наградой новоявленному паладину.

Армия встретила Александра, прибывшего 6 ноября в Ольмюц, без прежнего энтузиазма. Причина этого была проста: солдаты голодали и страдали от холода. Самовольные рейды мародеров по окрестным селам вызывали раздражение у австрийцев.

Чарторийский старался убедить царя предоставить действовать Кутузову. Александр принял этот совет прохладно. Еще менее ему понравилось почтительное представление самого главнокомандующего о предстоящем образе действий: Кутузов настаивал на том,

чтобы дожидаться подкреплений и выжидать, не вступая с Наполеоном в решительное сражение, которое, по его мнению, было больше нужно французам, чем русским. Тщеславие Александра было оскорблено: возглавить армию для того, чтобы уклоняться от сражения, казалось ему позорным. Он окончательно остановился на решении самому руководить разгромом Наполеона. Отныне все военные решения принимались не в главном штабе, а в кабинете царя. Фактически отняв у Кутузова право главнокомандования, Александр не оставил ему даже уважения: молодежь, окружавшая царя, открыто посмеивалась над "робким стариком".

Позднее Александр вспоминал: "Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надо было действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее". Но царь кривил душой: даже если бы генерал победил в Кутузове царедворца, мнение главнокомандующего все равно осталось бы гласом вопиющего в пустыне. Достаточно сказать, что однажды в ответ на просьбу, обращенную к царю, уточнить движение армии Михаил Илларионович услышал:

- Cela ne vous regarde pas!*

Гораздо охотнее Александр прислушивался к советам начальника австрийского штаба генерала Вейротера, который вскоре приобрел в глазах царя репутацию непререкаемого авторитета. Да и трудно было не увлечься многообещающим планом штабиста. С циркулем и линейкой в руках Вейротер смело маршировал по карте, отрезал французов от Вены и зажимал их в тиски между 90-тысячной армией двух императоров-союзников и 70-тысячной армией эрцгерцога Фердинанда. Таким образом, Наполеон должен был капитулировать подобно Маку.

15 ноября союзники выступили из лагеря, продвигаясь в величайшем порядке - все девяносто тысяч человек шли в ногу!

На следующий день произошел авангардный бой у Вишау, знаменательный тем, что здесь Александр впервые побывал в огне, наблюдая, как 56 русских эскадронов, подкреплённых пехотой, лихо прогнали с позиций 8 французских эскадронов. В начале боя царь в веселом настроении следовал за наступающими колоннами, но когда стрельба стихла, он приуныл и безмолвно объезжал поле сражения, всматриваясь через лорнет в лежавшие тела и приказывая оказывать помощь тем, в ком замечал искру жизни. Остаток дня он не мог ничего взять в рот и к вечеру почувствовал себя нездоровым.

Вечером 19 ноября Александр со свитой осмотрел местность. Кутузову явно не нравилось расположение союзных войск, и царь старался не смотреть в сторону главнокомандующего, слушая пояснения Вейротера, в каком месте и какими маневрами будет обеспечена завтрашняя победа. На обратном пути встретили отряд кроатов, которые затянули какую-то национальную песню. Это протяжное, печальное пение, хмурое небо и холод навяли на всех меланхолию; кто-то из свиты вполголоса заметил, что завтра понедельник - несчастливый день. В ту же секунду лошадь Александра поскользнулась, упала на круп, и царь, не удержавшись в седле, полетел в грязь.

В свите царя находился и Аракчеев, которому Александр предложил возглавить одну из колонн. Аракчеев, придя в сильнейшее волнение, отклонил эту честь, сославшись на несчастную раздражительность своих нервов.

В полночь с 19 на 20 ноября у Кутузова в Крешновицах собрались начальники колонн. Вейротер, разложив на столе карту, приступил к чтению и объяснению сочиненной им диспозиции, весьма сложной и длинной. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что это учитель, разъясняющий урок школьникам.

Как только голос Вейротера монотонно зазвучал под сводами комнаты, Кутузов тотчас же заснул, в чем и выразилась вся его оппозиция плану австрийца. Буксгевден слушал диспозицию стоя, кажется, мало что в ней понимая; Милорадович хмуро молчал; прочие генералы выглядели довольно равнодушными, один Дохтуров внимательно разглядывал карту.

Когда Вейротер закончил, все уже с трудом сдерживали зевоту. Тем не менее Ланжерон

нашел в себе силы возразить:

- Все это прекрасно, но если неприятель нас предупредит и атакует в Працене, что мы будем делать? Этот случай не предусмотрен.

- Вам известна смелость Бонапарта, - высокомерно ответил Вейротер. Если бы он мог нас атаковать, он это сделал бы сегодня.

Тут Кутузов проснулся и распустил совет.

Таким образом, союзниками был принят план сражения против армии, численности и боевых качеств которой они не знали, чье расположение предполагалось ими на позиции, которую она не занимала, и в расчете на то, что французы останутся неподвижными, как верстовые столбы.

Еще до рассвета Александр в сопровождении Кутузова подъехал к бивуаку генерала Берга, возглавлявшего четвертую колонну.

- Что, твои ружья заряжены? - спросил царь Берга.

- Нет, ваше величество, - ответил генерал.

- Ну так прикажи зарядить.

Так Берг впервые услышал о предстоящем сегодня сражении.

Садясь на коня, царь обратился к Кутузову:

- Ну что, как вы полагаете, дело пойдет хорошо?

Главкомандующий тонко улыбнулся:

- Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества?

- Нет, это вы командуете здесь, - запротестовал Александр, - я только зритель.

Кутузов ответил почтительным поклоном, но, когда царь отъехал, сказал Бергу по-немецки:

- Вот прекрасно! Оказывается, я здесь командую, когда не я распорядился об этой атаке! Да я и вовсе не хочу предпринимать ее!

Услышав эти слова, Берг отъехал к войскам в самом мрачном расположении духа.

Кутузов догнал Александра, который решил остаться при четвертой колонне, занимавшей Праценские высоты, чтобы наблюдать отсюда за сражением. Видя, что главнокомандующий не отдает никаких распоряжений, царь удивленно сказал ему:

- Михайло Ларионович! Почему не идете вы вперед?

- Я поджидаю, чтобы все войска колонны собрались, - ответил Кутузов.

- Но ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, - съязвил Александр.

- Государь! - вспыхнул Кутузов. - Потому я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете...

Приказание немедленно было отдано.

Главная причина медлительности Кутузова заключалась в том, что главнокомандующий верно оценил значение Праценских высот в центре расположения союзной армии, которые по плану Вейротера нужно было оставить, чтобы атаковать войска Наполеона. Значение Працена превосходно понимал и французский император. План Наполеона был хорошо резюмирован одним французским генералом: "В то время как наши левый и особенно правый фланги, отодвинутые к заднему углу долины, по которой все глубже наступает на них неприятель, стойко держатся, - в центре, на вершине плоскогорья, где союзная армия, растянувшись влево, подставляет нам ослабленный фронт, мы обрушиваемся на нее стремительной атакой. Благодаря этому маневру оба неприятельских фланга внезапно окажутся отрезанными друг от друга. Тогда один из них, атакуемый с фронта и расстроенный нашей победой в центре, должен будет отступить, между тем как другой, слишком выдвинувшийся вперед, обойденный, парализованный той же победой в центре и запертый среди прудов в той ловушке, куда мы его заманили, будет частью уничтожен, частью взят в плен". Удивительно: Наполеон предугадал действия союзников, как будто был приглашен в Крешновицы слушать диспозицию Вейротера.

Все произошло совершенно так, как предвидел император. Буксгевден, стоявший на

левом фланге русской армии, спустился с Праценской возвышенности в Гольдбахскую долину, где Даву, медленно отступая, заманивал его все дальше. Дождавшись, когда возвышенность достаточно обнажилась, Наполеон бросил туда Сульта, который, захватив центр, отрезал Буксгевдена от остальной армии. На правом фланге союзников Багратион и Лихтенштейн были остановлены и отброшены назад рядом блестящих кавалерийских атак Ланна и Мюрата. Грозная атака доблестных кавалергардов князя Репнина закончилась почти полной их гибелью. Французские кирасиры, окружившие русских великанов, валили их одного за другим, крича:

- Заставим плакать петербургских дам!

Наконец, Даву, перейдя в наступление, окружил Буксгевдена. Атака старой гвардии вынудила русские войска отойти на пруды, покрытые льдом. Французская артиллерия сосредоточила весь огонь на прудах, ядра проломили лед, и русские солдаты стали тонуть... В аустерлицких прудах погибло несколько тысяч человек.

К вечеру союзная армия была полностью рассеяна. Следование "победному" плану Вейротера стоило ей 15 тысяч убитыми и ранеными и 20 тысяч пленными (русские потеряли 21 тысячу солдат и офицеров - треть армии). Потери французов не превышали двенадцати тысяч человек.

Александр находился при четвертой колонне до самого конца. Одно французское ядро врылось в землю в двух шагах перед ним, залепив царя грязью. Смятение при отступлении было так велико, что свита Александра потеряла его из виду и присоединилась к нему уже ночью, а некоторые адъютанты - только через день-два. Большую часть сражения рядом с царем находились только лейб-медик Виллие, берейтор Ене, конюший и два казака.

Майор Толь, отступавший вместе со своей частью в составе четвертой колонны, был немало удивлен, увидев Александра, едущего по полю всего с несколькими людьми. Не смея приблизиться к государю, он последовал за ним в некотором отдалении, решив незаметно оберегать его. На пути царя оказался небольшой овраг. Александр не был хорошим наездником. В нерешительности остановив коня, он медлил дать ему шпоры, в то время как Ене несколько раз перемахнул через овраг, желая показать господину, как легко это сделать. Наконец лошадь Александра сама преодолела препятствие.

Со дня стычки у Вишау Александру нездоровилось; теперь недомогание перешло в полное расстройство физических и душевных сил: он почувствовал, что не может ехать дальше. Александр сошел с лошади, сел под дерево и залился слезами, закрыв лицо платком. Его спутники в смущении столпились чуть поодаль. Это зрелище придало смелости Толю. Поборов робость, он подскакал к царю, спешился и принялся утешать его. Через несколько минут Александр отер слезы, встал, молча обнял Толя и, сев на лошадь, продолжил путь. В Годьежице он случайно встретился с Кутузовым и, переговорив с ним, последовал дальше. Холодной ночью он прибыл в село Уржиц, где уже остановился на ночлег другой царственный беглец, император Франц.

Александр провел ночь в крестьянской избе, на соломе, жалуясь на озноб и расстройство желудка. Виллие хотел подкрепить его силы глинтвейном, но у местных крестьян не нашлось красного вина. Послали к австрийскому обер-гофмаршалу Ламберти, однако тот ответил, что император Франц уже спит, а без его разрешения он не смеет касаться императорского запаса. Выручили казаки, у которых во флягах, конечно, нашлось немного вина. Горячий напиток с несколькими каплями опиума погрузил царя в желанное забытие.

Через два дня война закончилась. Император Франц встретился с Наполеоном и заключил перемирие; русские могли беспрепятственно уйти в свои пределы. Александр предоставил австрийцам полную свободу действий, требуя только, чтобы Россию не впутывали в переговоры.

Требовалось найти виновников поражения, и они, разумеется, были найдены: начальники колонн и генералы кутузовского штаба. Двух из них, генерала Пршибышевского и генерала Лошакова, по возвращении из плена судили и разжаловали в рядовые; другие

сами попросили увольнения от службы. Кутузов, хотя и награжденный орденом святого Владимира 1-й степени и назначенный киевским военным губернатором, навсегда лишился расположения царя и до самого 1812 года сделался безучастным зрителем больших европейских войн.

Приведя русскую армию к неслыханному в ее летописях поражению, царь забился в Петербург и, казалось, забыл о существовании Европы, бросив своих союзников и добровольно устранившись от нового передела европейских границ. Похоже, он действительно собирался жить "как в Китае". Царский стыд выглядел неким подобием политики.

III

Искусный дипломат всегда сумеет резко разграничивать в своем деле все важное от второстепенного и, будучи откровенен и прост в пустяках, в важных вещах не преминет быть скрытным и настойчивым. Манерами своими и обращением он во всяком случае постарается сделать своих политических противников личными друзьями.

Филип Домер Стенхоп, граф Честерфилд. Максимумы

Едва установившийся мир не продержался и года. Уже осенью 1806 года последовал разрыв отношений между Пруссией и Францией. Чувствуя себя хозяином Европы, Наполеон с такой же легкостью отнимал подаренные земли, с какой и дарил их. Едва новый английский премьер-министр Фокс, придерживавшийся умеренной политики в отношениях с Францией, заявил о возможности прочной дружбы между давними врагами, как Наполеон заверил его, что ему ничего не стоит возратить Англии отданный пруссакам Ганновер.

В ответ пруссаки забряцали оружием. Королева Луиза, став во главе партии войны, склоняла мужа к решительным действиям. Прусские офицеры воображали, что все еще продолжают времена Семилетней войны, во время которой прусские войска под предводительством Фридриха II нанесли ряд сокрушительных поражений французской армии. Они ругались, что сумеют сокрушить эту так называемую Великую армию, чья слава основана на победах над какими-то австрийцами и русскими. Публика в берлинском театре устраивала антифранцузские демонстрации, офицеры гвардии вызывающе точили свои сабли о ступени французского посольства.

Фридрих Вильгельм запросил Александра: может ли Пруссия рассчитывать на содействие русских войск? Царь ответил, что все силы России в полном распоряжении короля.

Прусская армия гордилась своей выучкой и дисциплиной. Действительно, она великолепно смотрелась на парадах - но только на парадах. Значительная ее часть вербовалась из иностранцев, единственной связью между солдатом и офицером была палка. Командир был хозяином своей роты, в которой все солдаты, лошади, обмундирование и оружие - являлось его безусловной собственностью. Вследствие этого усердие к службе проявлял один офицерский корпус. Наполеону понадобилась всего неделя, чтобы разнести вдребезги пышную декорацию военной мощи прусской армии.

14 октября разыгрались два решительных сражения - при Иене и Ауэрштедте. Две прусские армии общей численностью 150 тысяч человек были наголову разгромлены и, отступая, обратились в неуправляемое стадо. Прусские крепости сдавались одна за другой, не оказывая ни малейшего сопротивления врагу. Комендант Кюстрина, расположенного на берегу Одера, любезно предоставил в распоряжение французского отряда лодки, чтобы французы скорее могли занять крепость.

На следующий день после победы Наполеон торжественно вступил в Берлин. Позади французских войск вели обезоруженных пленных кавалергардов короля, в наказание за их похвальбу. Король с семьей бежали на восток, к русским границам. Александр без колебаний принял беглецов. "Долгом считаю, - писал он королю, - вновь торжественно подтвердить вашему величеству, что, каковы бы ни были последствия ваших великодушных усилий, я никогда не откажусь от известных вам намерений. Будучи вдвойне связан с вашим величеством, в качестве союзника и узами нежнейшей дружбы, для меня нет ни жертв, ни усилий, которых я не совершил бы, чтобы доказать вам всю мою преданность дорогим

обязанностям, налагаемым на меня этими двумя наименованиями..."

На запятках королевской кареты в Россию ехала новая война.

16 ноября высочайший манифест оповестил подданных империи о начале войны с Францией. Два русских корпуса: Беннигсена (60 тысяч человек) и Буксгевдена (40 тысяч) были двинуты к Гродно и Остроленке. Кроме того, царь призвал к созданию народного ополчения в количестве 600 тысяч ратников и обратился с воззванием к студентам и молодым дворянам, обещая им офицерский чин за шестимесячную службу. Указом Синода духовенству предписывалось проповедовать "отечественную войну" против "гонителя православной веры" Бонапарта, якобы претендующего на роль Мессии, или, проще говоря, антихриста. Таким образом войну ради спасения погибающей Пруссии пытались обратить в народную войну.

Все эти грандиозные приготовления затевались в то время, когда Россия уже вступила в войну еще с двумя государствами: Турцией и Персией. Несмотря на это, у командующего Днестровской армией генерала Михельсона забрали половину личного состава - 30 тысяч человек, а с оставшимися войсками приказали занять Молдавию, Бессарабию и Валахию и принудить султана к миру.

Александр сдержал слово: он предоставил в распоряжение прусского короля все силы России. Фридрих Вильгельм мог присоединить к ним только 14-тысячный корпус генерала Лестока - все, что имелось у него под рукой, и заявить царю, что вручает ему судьбу Пруссии.

Зимой 1807 года Леонтий Леонтьевич вторично (после цареубийства) оказался в центре внимания всего мира: он выстоял против самого Наполеона.

Начало зимы в Польше выдалось на удивление мягким. Наполеон сердился: "Для Польши Господь создал пятую стихию - грязь". Решив дожидаться более благоприятного времени года для возобновления операций, он расположил свои войска на завоеванной территории, от Варшавы до Остроленки, а сам сосредоточил все усилия на осаде Данцига.

В это время Беннигсен неожиданно кинулся между корпусами Нея и Бернадотта, рассчитывая разрезать французскую армию надвое. Наполеон поспешил на выручку своим маршалам, вынудив русских спешно отступить. Император догнал Беннигсена у Прейсиш-Эйлау и вынудил его принять сражение.

8 февраля завязался невиданный по своему упорству и кровопролитию бой. Вначале положение Наполеона было чрезвычайно опасным. Русская армия охватила его полукругом, артиллерия, выдвинутая впереди боевых линий, производила страшные опустошения во французских колоннах. Корпус Ожеро, ослепленный метелью, был почти весь истреблен. Русская конница едва не захватила самого императора, но Мюрат во главе девяноста эскадронов ринулся ему на помощь, прорвал три линии русской пехоты, вызволил Наполеона и затем вновь проложил себе дорогу сквозь плотные ряды русской армии.

В действиях Беннигсена было много искусного расчета, но не было вдохновения, внезапного озарения, отличавших полководческую манеру Наполеона, гениального импровизатора. Стойко выдержав все атаки русских, император умелыми маневрами заставил их к вечеру отступить на свои позиции. Подсчет потерь привел в ужас обоих противников. На залитом кровью снегу осталось лежать около 30 тысяч русских и больше 20 тысяч французов. К десяти часам вечера Беннигсен дал приказ отступить к Кенигсбергу. Наполеон оставался на месте еще девять дней, чем и приобрел право считать себя победителем. Но истина была очевидна: отныне императора уже не считали непобедимым, Беннигсен поставил под сомнение постоянство его военного счастья. Даже министр иностранных дел Франции Талейран язвил: "Это немного выигранное сражение".

Эйлауское сражение вывело царя из оцепенения, вызванного аустерлицкой катастрофой. Его вновь потянуло в действующую армию. В том же письме он осторожно осведомился у главнокомандующего, когда ему удобно приехать к войскам. Беннигсен, понимая душевное состояние царя, посоветовал ему поспешить, чем доставил Александру "чувствительное удовольствие".

16 марта царь выехал к армии. Его сопровождали обер-гофмаршал Толстой, министр иностранных дел Будберг, адъютанты граф Ливен и князь Волконский и бывший "триумvirат" - Чарторийский, Строганов и Новосильцов. Гвардия во главе с великим князем Константином Павловичем покинула столицу еще раньше.

Через четыре дня Александр прибыл в пограничное местечко Поланген, где его встретил Фридрих Вильгельм. На другой день оба государя были в Мемеле. Удрученная Луиза, увидев Александра, смогла произнести только: "Ah! Mon cousin!" - и в немой печали протянула ему руку. Желая ободрить ее, Александр вновь подтвердил, что не остановится ни перед чем ради спасения королевской семьи.

Царь делал все, чтобы возродить очаровательную обстановку первого мемельского свидания четырехлетней давности. На смотре русской гвардии Александр разыграл еще одну мелодраматическую сцену в духе клятвы при гробе Фридриха. Вручив прусскому королю строевой рапорт, он со слезами обнял его и воскликнул:

- Не правда ли, никто из нас двух не падет один? Или оба вместе, или ни тот ни другой!

Перед началом летней кампании Александр уехал в Тильзит, поближе к театру войны. Правда, на этот раз, памятуя об Аустерлице, царь предоставил Беннигсену полную свободу действий.

Между тем среди царского окружения наблюдалось изменение в отношении к войне. Все громче раздавались голоса, утверждавшие, что русским незачем проливать кровь из-за личной дружбы государя с прусским королем. Константин Павлович, "как добрый русский", вообще не стеснялся выказывать откровенное недружелюбие к пруссакам, из-за чего однажды между ним и царственным братом произошла довольно бурная сцена, после которой Александр приказал ему немедленно возвратиться к войскам. Один только Будберг настаивал на продолжении войны с Наполеоном, но его мнение всегда было простым эхом голоса царя.

Пока в Тильзите спорили, продолжать или нет войну, судьба кампании была решена 2 июня под Фридландом. Отступавший Беннигсен перешел реку Алле и сбил 100-тысячное русское войско в кучу в узкой лощине на левом берегу, так что в случае неудачи оно могло спастись только через фридландские мосты. "Не каждый день поймаете неприятеля на такой ошибке!" - воскликнул Наполеон, осмотрев расположение русской армии. Торопясь использовать промах Беннигсена, император двинул свои войска в наступление в три часа утра, заявив солдатам, что русские у них в руках. Это была годовщина битвы при Маренго - доброе предзнаменование, как полагали французы, и они не ошиблись. В то время как Ланн с 26 тысячами человек сдерживал натиск почти всей русской армии, Ней обошел левое крыло русских, разрушил мосты и занял у них в тылу Фридланд. С этой минуты русскими войсками овладело полное смятение, каждый спасался как мог. Константин Павлович, не успевший к началу сражения, встретил по дороге в Фридланд лишь деморализованные остатки армии, потерявшей больше 20 тысяч человек и 80 орудий.

Французы вступили в Кенигсберг. Фридрих Вильгельм окончательно сделался королем без владений: вся Пруссия была занята войсками Наполеона.

С ведома царя Беннигсен предложил французам заключить перемирие. Предложение о перемирии нашло у Наполеона живейший отклик. В голове у него уже созрел план торговой блокады Англии, и император искал сильного союзника на континенте. В эти дни он написал Талейрану: "Необходимо, чтобы все это окончилось системой тесного союза или с Россией, или с Австрией". Фридланд определил, с кем следует начинать переговоры, тем более что Наполеон мечтал о союзе с Россией с 1800 года. Теперь он ясно осознавал, что ему нужно остановиться на Немане.

Дюрок, прибывший в главную квартиру русской армии, откровенно заявил Беннигсену: император желает не перемирия, а мира и сближения. С ответным визитом к Наполеону по поручению царя поехал старый князь Лобанов-Ростовский.

Возвратившись к царю, Лобанов рассказывал о своем обеде у Наполеона:

- Он был весел и говорлив до бесконечности, повторял мне не один раз, что он всегда

чтил ваше императорское величество, что польза взаимная обеих держав всегда требовала союза и что ему собственно никаких видов на Россию иметь нельзя было. Он заключил тем, что истинной и естественной границей российской должна быть река Висла.

Рассказ Лобанова изменил мысли и намерения царя. Наполеон кокетничал с ним, то есть вступил на ту почву, где Александр чувствовал себя уверенней всего.

Фридриху Вильгельму, примчавшемуся к нему в Шавли, царь заявил, что у него остается один выход: последовать примеру России и вступить в переговоры с грозным противником.

Утвердив условия перемирия, привезенные Лобановым, Александр отослал князя назад к Наполеону со следующей инструкцией: "Вы засвидетельствуете императору Наполеону искреннюю мою благодарность за все, переданное по его поручению, и уверите его в моих пожеланиях, чтобы тесный союз между обоими нашими народами загладил прошедшие бедствия... Система совершенно новая должна заменить ту, которая существовала доньше, и я льщу себя надеждой, что мы с императором Наполеоном легко сговоримся, если только станем переговариваться без посредников. Прочный мир может быть заключен между нами в несколько дней".

Встреча двух императоров была назначена на 13 июня; местом встречи выбрали середину Немана, разделявшего обе армии.

Два опытных оболъстителя готовились преломить копья в схватке комплиментов и дружеских заверений. Никогда еще судьба Европы не решалась столь любезным и приятным способом.

Наполеон постарался, как мог, придать встрече торжественность и даже некоторую пышность, насколько это было возможно в походных условиях. Утром 13 июня на середину реки был отбуксирован плот с двумя павильонами, обтянутыми белым полотном: больший предназначался для государей, меньший для их свиты. На фронтонах павильонов зеленой краской были выведены огромные буквы "А" и "N" (равной величины), обращенные соответственно к русскому и французскому берегам. Вензель Фридриха Вильгельма отсутствовал.

Французская гвардия выстроилась в несколько линий на тильзитском берегу, за ней толпились тысячи жителей города и остальная армия.

С русской стороны не было сделано никаких приготовлений. Возле разоренной корчмы Обер-Мамельшен, где Александр должен был сесть в лодку, дежурили всего два взвода кавалергардов и эскадрон прусских кавалеристов.

Александр с великим князем Константином подъехали к корчме в колясках, по бокам которых скакала их свита. Корчма представляла собой четыре голые стены, вместо крыши торчали стропила: доски и солома были растащены солдатами на корм лошадям и разведение костров. Царь вошел и сел у окна, положив шляпу и перчатки на стол перед собой. Он был одет в зеленый мундир Преображенского полка и в белые лосиновые панталоны; на ногах - короткие ботфорты. Аксельбант на правом плече (эполет на французский манер еще не носили), шарф вокруг талии, шпага на бедре и андреевская лента через плечо составляли все его аксессуары. Волосы были посыпаны пудрой; высокая шляпа с черным султаном на гребне была вышита по краям белым плюмажем, под цвет перчаток.

Подчеркнуто ласковым, приветливым и обходительным обращением со свитой он старался скрыть свою тревогу перед предстоящей встречей: как-то примет его Наполеон, поддастся ли его очарованию, будет разыгрывать роль строгого победителя или великодушного союзника? Царю еще не приходилось испытывать свои чары на гениях.

Через полчаса флигель-адъютант приоткрыл дверь:

- Едет, ваше величество.

Александр не спеша встал, взял со стола шляпу и перчатки и со спокойным лицом твердым шагом направился к выходу. Выйдя на берег, он с досадой отметил, что взоры всей его свиты направлены не на него, а на противоположный берег Немана - туда, где маленькая фигурка Наполеона на белом коне мчалась между двух рядов старой гвардии под гул

восторженных криков: "Да здравствует император!"

Гребцы, местные рыбаки, одетые в белые холщовые куртки и шаровары, помогли царю и сопровождавшим его лицам - великому князю Константину, Беннигсену, Будбергу, Лобанову-Ростовскому, Ливену и Уварову - взойти в лодку. Отчалили от берега одновременно с лодкой Наполеона.

Теперь уже и Александр не сводил глаз с французского императора. Наполеон стоял у борта один, со сложенными на груди руками. На нем был мундир старой гвардии, с лентой Почетного Легиона через плечо, голову покрывала историческая шляпа своеобразной формы, известная всему миру. За его спиной виднелась свита: Мюрат, Дюрок, Бертье, Бессьер и Коленкур.

Лодка Наполеона причалила к плоту немного раньше. Император выскочил из нее и поспешил навстречу Александру. Они подали друг другу руки, обнялись и молча проследовали в приготовленный для них павильон. Оба берега огласились радостными криками. В то же время французское судно отчалило от тильзитского берега и стало между плотом и русским берегом - Наполеон не постеснялся принять меры предосторожности.

Фридрих Вильгельм, оставшийся на берегу, сидел на коне, подавшись вперед всем телом, словно желая услышать, о чем идет речь на плоту. Был момент, когда он в нетерпении тронул поводья и въехал в реку по брюхо лошади.

Тон беседе задал Александр.

- Я ненавижу англичан не менее вас, - были первые его слова, - и готов вас поддерживать во всем, что вы предпримете против них.

- Если так, то все может быть улажено и мир упрочен, - сказал Наполеон и разразился филиппикой против коварного Альбиона. Он напропалую льстил царю, высказывая убеждение, что говорит с таким же великим человеком, каким является он сам. - Мы вдвоем в один час более подвижем дела, чем наши посредники в несколько дней. Между вами и мною никого не должно быть. Я буду вашим секретарем, а вы будете моим.

Наполеон предложил Александру переселиться в Тильзит, объявив город нейтральным. Царь с удовольствием принял это предложение.

Когда императоры вышли из беседки, один русский офицер посмотрел на часы: беседа продолжалась час и пятьдесят минут.

На обратном пути Александр недоумевал: куда девалось все его искусство очаровывать? Он чувствовал себя женщиной, собиравшейся поиграть с сердцем навязчивого кавалера и вместо этого, против желания, уступившей ему поцелуй.

Вследствие договоренности Тильзит был разделен на две половины: французскую и русскую. Обеими сторонами в город были введены по батальону гвардии и конный конвой (любопытство видеть Наполеона приводило к тому, что, несмотря на запрещение для остальной армии бывать на левом берегу, многие русские офицеры переодевались в партикулярное платье и жили в Тильзите инкогнито по нескольку дней). Пароли и отзывы должны были быть общие для французов и русских. Александр предписал гвардейцам обращаться с бывшим неприятелем ласково и запретил называть Наполеона Бонапартом. Вследствие этих распоряжений командир вступившего в город батальона Преображенского полка граф Михаил Семенович Воронцов сказался больным, чтобы не видеть этого позора. Отношение командира к французам разделяли и его подчиненные: по их мнению, нельзя было мириться с Наполеоном, не отомстив за Фридланд.

Вечером 14 июня Александр въехал в Тильзит. Наполеон приготовил ему торжественную встречу. Как только царь ступил на левый берег Немана, французская артиллерия произвела несколько залпов, после чего Наполеон проводил царственного гостя до занимаемого им дома, через ряды старой гвардии, салютующей новому союзнику своего императора. После торжественного обеда Александр отбыл в приготовленный для него дом - тот самый, в котором он жил до Фридланда.

В этот день Наполеон назначил пароль обеим армиям: "Александр, Россия, величие"; на завтра это сделал царь, выбравший слова: "Наполеон, Франция, храбрость". На третий

день было решено, что впредь пароли будет назначать один французский император.

Фридриху Вильгельму в его бывшем городе не нашлось места, и он каждое утро приезжал и останавливался в доме Александра. На пятый день царь вытребовал для него у Наполеона разрешение жить в Тильзите и иметь небольшое количество солдат для караула.

День начинался с того, что Толстой и Дюрок сходились, чтобы осведомиться о здоровье обоих государей. Время до обеда посвящалось смотрам и учениям французских войск, расположенных под Тильзитом, на которые Наполеон приглашал Александра и иногда Фридриха Вильгельма. Французские солдаты встречали царя с теми же почестями, что и самого Наполеона. Возвратясь в город, Наполеон задерживал Александра у себя, посылая курьера в дом царя за сменным мундиром, а порой снабжая Александра собственными галстуками и носовыми платками. Однажды царь обратил внимание на великолепный золотой несессер французского императора, который тут же был подарен гостю.

Обедал Александр у Наполеона. За стол, к которому часто приглашались прусский король, великий князь Константин и Мюрат, садились в восемь часов вечера. Потом следовал короткий отдых, чтобы дать время уехать Фридриху Вильгельму, а в десять часов императоры снова сходились, уединялись в кабинете Наполеона и до полуночи кроили и перекраивали карту Европы.

Для поправления безнадежных прусских дел к переговорам была привлечена прекрасная Луиза: по замыслу министров Фридриха Вильгельма она должна была обратиться к сердцу Наполеона как жена и как мать. Через час после ее приезда французский император прискакал к дому Фридриха Вильгельма и с хлыстом в руке взбежал по лестнице в королевские покои. Луиза вздыхала и умоляла, Наполеон сыпал комплиментами, но, выйдя от нее, сказал Толстому:

- Я ничего не сделаю ради прекрасных глаз прусской королевы.

Александр вновь пришлось опустить забрало. Он уже вполне овладел собой и источал неотразимое очарование, за которым, однако, скрывались мужественная твердость и решимость. Напрасно Наполеон искушал его, показывая на карте прусские области: "Вот что мне нужно, остальное принадлежит вам". - Царь требовал сохранить Пруссию как независимое государство, пускай и ценой потери значительной части бывших владений. Он был так настойчив, что, по его собственным словам, порой забывал о том, что он русский. В конце концов Наполеон смирился с мыслью о дальнейшем существовании Пруссии. Прусскому министру Гольцу он заявил:

- Ваш король всем обязан рыцарской привязанности к нему императора Александра: без него династия короля лишилась бы престола и я бы отдал Пруссию брату моему Жерому. При таких обстоятельствах ваш господин должен считать одолжением с моей стороны, если я что-либо оставлю в его владении.

Ночные беседы с Наполеоном над картой мира изменили отношение Александра к политике Екатерины. Если раньше он порицал ее, то теперь стал проявлять гораздо больший интерес к роли России на Востоке. Наполеон настойчиво направлял внимание царя на Турцию и Швецию. Платой за Балканы и Финляндию должно было стать присоединение России к континентальной блокаде Англии.

Что касается Польши, то она для Наполеона всегда была лишь разменной монетой в более крупной игре. Он не возражал, чтобы царь провозгласил себя польским королем, но Александру не хватило духа своими руками ампутировать владения своего друга Фридриха Вильгельма, и он предпочел вручить скальпель французскому императору. Договорились о создании из польских областей, принадлежавших Пруссии, небольшого Варшавского герцогства под протекторатом какой-нибудь третьей державы.

25 июня был подписан Тильзитский мирный договор. Россия получала согласие Франции на территориальное расширение за счет Турции (княжества Молдавия и Валахия) и Швеции (Финляндия); взамен царь соглашался признать все завоевания Французской империи и все королевства, созданные Наполеоном для своих родственников и союзников.

По секретному пункту договора Россия обязывалась соблюдать континентальную блокаду, то есть закрыть свои порты англичанам и вступить в наступательный и оборонительный союз с Францией против любой третьей державы.

С Пруссией Наполеон расправился беспощадно. Фридрих Вильгельм потерял польские провинции, из которых было образовано великое герцогство Варшавское, отданное саксонскому курфюрсту, которого Наполеон произвел в короли, а также все земли к западу от Эльбы, составившие королевство Вестфалию во главе с братом Наполеона Жеромом Бонапартом. Эти два новых королевства с двух боков охватывали Пруссию, готовые в любой момент поглотить ее жалкие остатки - Силезию, Бранденбург, Померанию и собственно Пруссию, которые в угоду царю Наполеон возвратил Фридриху Вильгельму. Помимо территориальных потерь и обязательства присоединиться к блокаде Англии, Пруссия была обложена стомиллионной контрибуцией, взывавшейся с монгольской беспощадностью. "Крылья у прусского орла будут теперь отрезаны настолько коротко, чтобы отнять у него всякую возможность беспокоить нас", - мог с полным правом заявить Наполеон.

27 июня, в день ратификации договора, Александр распорядился поднести Наполеону пять знаков ордена святого Андрея Первозванного - для самого императора, его брата Жерома, Мюрата, Талейрана и Бертье. В ответ Дюрок передал от Наполеона пять знаков ордена Почетного Легиона - царю и лицам, участвовавшим в выработке трактата: великому князю Константину Павловичу, барону Будбергу, князьям Куракину и Лобанову-Ростовскому.

Оба императора в полученных лентах выехали на встречу друг другу и встретились на середине пути - на улице, где фронтом, один напротив другого, выстроились батальон Преображенского полка и батальон Старой гвардии. После обмена ратификационными грамотами батальоны промаршировали мимо их величеств. Дождавшись окончания парада, Наполеон подъехал к Преображенскому батальону и сказал Александру:

- Ваше величество, разрешите мне вручить орден Почетного Легиона храбрейшему, тому, кто лучше всего проявил себя в эту кампанию.

- Я прошу у вашего величества разрешения посоветоваться с командиром, - ответил Александр и, подзвав полковника Козловского, сказал: - Кому дать?

- Кому прикажете, - был ответ.

- Да ведь надобно же отвечать ему!

Козловский не долго думая вызвал ближайшего солдата - правофлангового гренадера Лазарева. Солдат вышел из строя и застыл. Наполеон снял с себя орден Почетного Легиона и, приколов к мундиру Лазарева, сказал:

- Ты будешь помнить этот день - когда мы, твой государь и я, сделались друзьями.

Затем, обернувшись через плечо к Бертье, стоявшему за его спиной с неизменной записной книжкой в руках, император приказал назначить Лазареву пожизненную пенсию с ежегодной выплатой в 1200 франков.

Александр, возвратясь домой, в свою очередь отослал Наполеону андреевскую звезду для храбрейшего из французов.

Вечером императоры обнялись в последний раз и расстались под приветственные возгласы солдат и жителей Тильзита, причем Александр обещал Наполеону навестить его в Париже. Французский император стоял на берегу Немана, пока царь не сошел на противоположный берег.

Александр уезжал, громко высказывая восхищение Наполеоном как существом, которое превосходит всякое понимание и не поддается разгадке. Но Фридриху Вильгельму и Луизе он сказал иное:

- Потерпите, мы свое воротим. Он еще сломит себе шею. Несмотря на все мои демонстрации и внешние действия, в душе я - ваш друг и надеюсь доказать это на деле.

Впрочем, в его словесном восхищении Наполеоном было много такого, что шло от сердца: царь умел увлекаться людьми, а против обаяния французского императора трудно было устоять. Во всяком случае, покидая Тильзит, Александр смутно чувствовал

существенные выгоды от союза с Францией. Под влиянием Наполеона царь скрепя сердце стал думать и о благе России, а не только о клятве при гробе Фридриха.

Наполеон, в свою очередь, отдавал должное таланту Александра очаровывать людей, говоря, что будь он способен подчиняться непосредственному впечатлению, русский царь всецело завладел бы им. В то же время он гениально уловил изменчивую сущность российского Протоя; его характеристика Александра является, быть может, самой меткой из всех, которые пытались дать царю современники. "Рядом со столькими дарованиями и с необыкновенной обворожительностью, - сказал Наполеон после тильзитских встреч, - во всем существе Александра есть, однако, что-то неуловимое, что даже и определить трудно иначе, чем сказав, что у него во всех отношениях чувствуется недостаток чего-то. И самое странное при этом то обстоятельство, что никогда нельзя предвидеть заранее, чего именно в данном случае не хватит, и нехватящий кусочек при этом видоизменчив до бесконечности". Возможно, это был намек на гениальность особого рода неуязвимую уязвимость. Ахиллесова пята Александра, если можно так выразиться, перемещалась по всему его телу, ускользая от нацеленных в нее стрел.

Искренне обманывал сам себя и Наполеон. Разделив с Александром владычество над миром, он уже втайне мечтал властвовать один. Наполеон не мог прекратить воевать, потому что для него это означало прекратить господствовать. Отныне все его мирные договоры превратились в кратковременные передышки в непрерывной войне.

IV

Их дружба почти на ненависть похожа.

В. Л. Пушкин

Тильзитский мир произвел тягостное впечатление на русское общество. Достаточно сказать, что граф С. Р. Воронцов громко предлагал, чтобы чиновники, подписавшие договор, въехали в Петербург на ослах. Старый англоман, конечно, знал, что чиновники тут ни при чем. Поговаривали чуть не про новое 11 марта. "Вообще неудовольствие против императора все возрастает, - доносил шведский посол Густаву IV, - и на этот счет говорят такие вещи, что страшно слушать". Даже французский маршал Султ, командовавший войсками Великой армии в Берлине, предупреждал царя, что какой-то прусский офицер задумал покушение на его жизнь в расчете на содействие недовольных русских.

При всем том не было возможности не только наказать говорунов, но даже пресечь опасные разговоры, ибо, по словам современника, "от знатного царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата, все, повинувшись, роптало с негодованием".

Действительно, Александру приходилось нелегко. Во главе недовольных стояла не кто-нибудь, а его мать, императрица Мария Федоровна, ненавидевшая Наполеона. Павловск, ее резиденция, сделался в этом году местом паломничества всей фрондирующей знати. Любое действие царя подвергалось здесь самой взыскательной критике. Так, о назначении графа Николая Петровича Румянцева, сменившего Будберга, говорили, что если новый министр иностранных дел и не подкуплен Бонапартом, то, конечно, по "единственной в своем роде глупости и неспособности", хотя подобное заключение делалось только на основании того, что Румянцев всеми силами старался избежать новой войны с Францией. Никто не хотел принимать у себя Савари - посла "палача герцога Энгиенского". В России возникала новая форма правления самодержавие, ограниченное салонами.

Непродуманная проповедь "отечественной войны" против "антихриста" и последующее заключение с ним союзного договора вызвали ропот и в народе. В оправдание православного царя-батюшки пошла гулять следующая байка: Александр выбрал местом встречи с Наполеоном реку не случайно, а чтобы сначала окрестить окаянного француза и лишь потом допустить его пред свои светлые очи.

Союзу с Наполеоном Александр жертвовал многим: и своими прежними союзниками, и своими друзьями. Тильзитский мир и новая внешняя политика сделали ненужным существование негласного комитета. Кочубей был заменен князем А. Б. Куракиным, Новосильцов уехал за границу, Строганов выбрал военную карьеру и был пожалован в

генерал-адъютанты, Чарторийский подал в отставку еще раньше.

Теря либеральных друзей либеральной юности, царь с тем большим упрямством, словно назло всей России, возвышал Аракчеева. В руки гатчинского капрала перешла вся военная походная канцелярия, он получил право делать доклады царю по военным делам (поводом к этому послужило превосходное состояние русской артиллерии в минувшую войну). Александр произвел его в генералы от артиллерии и распорядился, чтобы "объявленные генералом от артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать именными нашими указами".

Но душа Александра еще требовала либеральных развлечений. Так рядом с ним появился Михаил Михайлович Сперанский.

Сперанский более интересен как человек, как судьба, чем как государственный деятель, что, впрочем, в российской истории не редкость.

Он родился 1 января неизвестно какого года; сам он полагал, не то в 1770-м, не то в 1771-м. Что касается фамилии, то она дана ему дядей при отдаче во Владимирскую Духовную семинарию; у семьи Михаила Михайловича вовсе не было родового прозвища - его родные, принадлежавшие к бедной священнической семье, назывались только по отчеству.

Лет девятнадцати Михаил Михайлович был отправлен в Петербург, как наиболее способный студент, для продолжения обучения в главной семинарии за казенный счет. Здесь он с особым рвением набросился на математику, видя ее превосходство над гуманитарными науками в точности, ясности и "бесспорности". В то же время его ум охотно парил и в философских эмпириях*. Это было тем более удивительно, что атмосфера в столичной семинарии была далеко не богословская: пьяный учитель проповедовал студентам Вольтера и Дидро, а по вечерам семинаристы предавались кутежу. Из всех предлагаемых ему на выбор пороков Михаил Михайлович приобрел лишь один - приверженность к нюханию табака, о чем впоследствии горько сожалел, но избавиться от этого уже не мог. Другое семинарское увлечение - игру в карты на выкрашенные бумажки - он резко оборвал, как только почувствовал, что она грозит превратиться в страсть. (Позже, лет в тридцать, он отказался и от шахмат, найдя, что поражение пробуждает в нем сильное неудовольствие против противника.)

При всем том Сперанский умел ладить как с начальством, так и с товарищами - явление необычное в учебных заведениях. Мы не ошибемся, отнеся Михаила Михайловича к политичным людям.

По окончании курса он был оставлен в семинарии с окладом двести рублей в год. Через несколько лет он добился венца карьеры здесь: звания учителя философии с окладом двести семьдесят пять рублей в год, что обеспечивало его обеденный стол ежедневной похлебкой из говядины и киселем, а досуг местом в театре по праздникам за двадцать пять копеек медью.

Многие люди, оказавшись на месте Михаила Михайловича, сочли бы выполненным свой жизненный подвиг и посвятили бы остаток дней прозябанию в классе и откладыванию денег на новую шинель. Не то было со Сперанским. Вечерние часы он отдавал штудиям Декарта, Лейбница и Ньютона, сочинению семейного романа и составлению "Правил высшего красноречия". Любопытно, что последний труд написан не карамзинским языком, считавшимся тогда образцовым, а своеобразным, не лишенным изящества слогом, получившим, правда, дальнейшее развитие совсем в другой сфере.

Эти занятия не пропали даром - кто-то порекомендовал Сперанского князю Куракину в секретари по переписке на русском языке (с оставлением в должности преподавателя семинарии). Доходы Михаила Михайловича поднялись до четырехсот рублей, но, несмотря на приглашение Куракина бывать к обеденному столу, он продолжал скромные обеды в обществе княжеской прислуги, стремясь избежать "лишних забобонов".

После смерти императрицы Екатерины Сперанский подал прошение ректору семинарии о переходе на "статскую службу": его патрон при Павле стал одним из первых лиц империи. Спустя год Михаил Михайлович делается титулярным, а затем коллежским и

статским советником с жалованьем две тысячи рублей в год. Его канцелярские способности настолько необходимы министрам Павла, что Сперанский безнаказанно щеголяет во французском кафтане, жабо, манжетах и башмаках. Генерал-прокурор Оболянинов испрашивает для него две тысячи десятин в Саратовской губернии, должность секретаря и андреевскую ленту.

Однако самого Сперанского размах его деятельности не удовлетворял: "Живу в хлопотах и скуке". Он являл собой тип воспламеняющегося, одухотворенного, творческого бюрократа, и потому обстановка первых лет александровского царствования пришлась ему как нельзя более по вкусу. Когда в 1801 году сенатору Трошинскому, автору манифеста о вступлении Александра на престол, понадобился секретарь, его выбор остановился на Сперанском. 19 марта он был зачислен начальником канцелярии и статс-секретарем при Государственной комиссии (что приравнивалось к чину генерала) с окладом в две тысячи рублей и такой же пожизненной пенсией. Затем его привлек к себе Кочубей, у которого даже возникла своеобразная драка за способного статс-секретаря: Кочубей обратился к самому Александру, и Сперанский перекочевал в министерство внутренних дел по личному указанию царя.

Все проекты нововведений первых лет царствования были написаны Михаилом Михайловичем, и написаны так, как никто не писал до него. Благодаря его слогу отчеты министра внутренних дел государю впервые стали предаваться гласности и печататься в газетах и бюллетенях. Сперанский явился создателем образцового русского бюрократического языка, как Пушкин и Жуковский - литературного.

В 1806 году Михаил Михайлович впервые близко сошелся с Александром, когда Кочубей, заболев, стал присылать его вместо себя с докладом государю. Царь был поражен точностью и дельностью мыслей и замечаний Сперанского и с тех пор стал доверять ему личные поручения. После отставки Кочубея в 1807 году Александр взял статс-секретаря к себе с отставлением от прочих должностей.

Это обещало очень многое в будущем. Но пока внешние дела все еще мешали Александру сосредоточиться на внутреннем состоянии отечества.

При Эйлау счастье Наполеона пошатнулось, сражение при Фридланде снова укрепило его, а тильзитское свидание, по-видимому, упрочило его окончательно. Никогда еще его звезда не светила так ярко. Именно этот избыток счастья и погубил его. Обеспечив себя союзом с Россией от образования новых коалиций, он уже считал себя в силах достигнуть всего. Казалось, сбываются вещие слова аббата Сийеса, сказанные о нем десятью годами ранее: "Этот человек все знает, все хочет и все может". Он был уверен, что ему в самом деле удастся осуществить грандиозную блокаду Англии, приостановить экономическую жизнь более ста миллионов европейцев, хотя этот замысел должен был привести к системе постоянных нашествий и всеобщего угнетения. Тильзитское свидание толкнуло Наполеона на путь гибели, внушив ему желание невозможного и дав средства добиваться его.

План французского императора состоял в том, чтобы сплотить весь континент, поднять его против Англии и мобилизовать его для войны на два фронта - на Средиземном море и со стороны океана. Если на севере Россия, Пруссия, германские княжества и Голландская республика стояли сплошной, неодолимой стеной на пути проникновения английских товаров на континент, если в Италии Наполеон не стеснялся даже с папой Пием VII, заявляя, что не потерпит дальше его нейтралитета, то Пиренейский полуостров оставался огромной прорехой в системе континентальной блокады.

В счете, который оба императора открывали друг другу, Наполеон и не думал заносить в свой актив приобретения за Пиренеями и в Италии. Он не скрывал того, что придает мало значения своим "прекрасным фразам, сказанным в Тильзите", и с оскорбительной прямоотой писал царю, что "иногда бывает очень выгодно что-нибудь пообещать". В то же время для него было очевидно, что царь только в том случае примирится с этим непрерывным ростом французского могущества, если ему самому будет открыт простор для завоеваний. Наконец ему удалось обратить честолюбие Александра с дунайских княжеств на Швецию, преданную

анафеме в Тильзите. В 1808 году русские войска внезапно перешли шведскую границу и вступили в Финляндию. После такого насилия над почти беззащитным соседом царь уже не мог жаловаться, что Наполеон точно так же поступает с Испанией. Французский император потирал руки:

- Я продал Финляндию за Испанию.

Вместе с тем он задумывался, как сделать царя глухим к жалобам оккупированной Пруссии, откуда французы не спешили уходить.

Наполеон убеждал царя, что при личном свидании они легко столкнутся, их дружба совершит это чудо. Наконец Александр поддался на эти уговоры и согласился на свидание без предварительных условий. Встреча была назначена на сентябрь, в Эрфурте.

Наполеону ни разу не приходила в голову мысль о возможности национального сопротивления в Испании: он ждал только каких-нибудь местных волнений в городах. Это была одна из его главных и наиболее губительных ошибок. Гордая Испания ответила на издевательский спектакль в Байоне народной войной. Испанский юноша, ни разу не выстреливший по французскому солдату, не мог рассчитывать на внимание своей возлюбленной. Не успел Наполеон доехать из Байоны в Париж, как его догнало известие о капитуляции генерала Дюпона в Байлене: 18 тысяч французов со своими знаменами, орудиями и обозом, окруженные со всех сторон испанскими "бандами", капитулировали перед необученными повстанцами.

Последствия байленской капитуляции были громадные. Французы разом потеряли Испанию и Португалию, где высадился английский десант; в Германии, и особенно в Пруссии, тайные общества призывали немцев к восстанию; австрийский император Франц I издал указ о всеобщей мобилизации; в самой Франции народная совесть начала глухо возмущаться против наглой политики, уже не оправдываемой даже успехом. Таким образом, Наполеон, только что готовившийся к широкой наступательной кампании, видел себя теперь вынужденным повсеместно защищать свои границы.

Тем не менее его ум деятельно работал, отбрасывая и меняя прежние планы. Для того чтобы вновь завоевать Испанию, он должен был перебросить за Пиренеи значительную часть своей германской армии. Это делало немыслимым дальнейшую неуступчивость в прусском вопросе. Принуждаемый необходимостью к жертве, Наполеон принял мгновенное решение - очистить Пруссию, но обратить этот шаг в бескорыстное одолжение Александру и тем самым крепче привязать его к себе. Союз с Россией оставался по-прежнему основой всех планов французского императора, но теперь этот союз из орудия наступления превращался в средство обороны и сдерживания.

Наполеон думал только о предстоящем свидании с Александром. Он хотел пленить, заинтересовать, поразить, ослепить русского царя. В Эрфурт император вез с собою все, что у него было замечательного во всех областях: Талейрана, актера Тальма, весь женский персонал французской комедии, гвардию и придворный штат - словом, полный набор великолепных декораций. Старый немецкий город должен был превратиться в сцену для очередного всеевропейского спектакля.

Отъезд Александра из Петербурга состоялся 2 сентября.

Начало путешествия было невеселым. В Кенигсберге царю пришлось выслушать долгие жалобы прусского министра Штейна на ненасытное властолюбие Наполеона.

- Поверьте, я сделаю все, что смогу, - заверил его Александр.

За Вислой царя встречали уже одни французские войска. В Фридберге его приветствовал маршал Ланн, который донес императору: "Нет таких приятных вещей, которых он не сказал бы мне, имея в виду Ваше Величество. Он повторял мне часто и от души: я очень люблю императора Наполеона и дам ему доказательства этого при каких угодно обстоятельствах".

15 сентября Александр прибыл в Эрфурт. Наполеон со свитой встретил его за городскими воротами. Подскавав к царскому экипажу, французский император спешил и обнял вышедшего из коляски царя. Затем оба верхом въехали в город под гул орудий и звон

колоколов, приветствуемые криками войск: "Да здравствуют императоры!" Наполеон проводил Александра до отведенного ему дома - лучшего здания в Эрфурте, принадлежавшего фабриканту Трибелю.

Их первый разговор был посвящен обмену любезностями, согласно этикету: они осведомлялись друг у друга о здоровье императриц и принцев. В последующие дни близость между императорами как бы восстановилась и окрепла. Они были неразлучны. Наполеон оставлял в своем распоряжении только утренние часы, которые посвящал беседам с Гёте и другими немецкими мыслителями и писателями.

Весь остальной день императоры катались верхом, присутствовали на маневрах, делали смотры; они называли друг друга братьями и подчеркивали свою близость перед нахлынувшими в Эрфурт королями баварским, саксонским, вюртембергским и прочими немецкими государями. Маленький город вообще был полон немецких князьков, именитых гостей и любопытных, и в эту расшитую золотом международную толпу затесалось несколько участников германских тайных обществ. Позже выяснилось, что один немецкий студент хотел заколоть Наполеона, но в решительный момент ему не хватило мужества.

Вечером императоры снова встречались в театре. Здесь Александр впервые видел игру великого актера Тальма, олицетворявшего славу Франции в мире искусства, подобно тому как Наполеон олицетворял ее в мире политики.

По соблазнительной, но опровергнутой легенде, Тальма обучал Наполеона манерам королей. Зато достоверно известно, что Наполеон давал сценические советы Тальма: "Берите пример с меня, Тальма. Мой дворец - сцена современной трагедии, а я сам - трагический герой. Но я не воздеваю глаза и руки к небу, как это делают ваши Цезарь и Цинна". Оба они, конечно, не нуждались в советах друг друга: если их актерское дарование было весьма схоже, то амплуа сильно разнились.

Новаторская отвага Тальма, несомненно, была подкреплена гениальностью, но это была гениальность особого рода - граничащая с душевным расстройством. Его основной актерский метод - передача чувств посредством движения и мимики, но к чувствам своего героя он присоединял такую дозу собственной страсти, что иногда его взгляд действительно становился безумным. Его натура представляла собой какой-то генератор: роль для него была всего лишь искрой, при помощи которой он начинал извергать из себя чудовищную энергию своей души. Может быть, отгадка заключается в том, что судороги страсти на лице Тальма были не чем иным, как гримасами революции, а революция вещь неестественная. Тальма как-то признался, что делал профессиональные наблюдения на заседаниях Конвента и во время уличных событий.

Всеевропейское признание пришло к Тальма в 1808 году. Собираясь на свидание с Александром в Эрфурт, Наполеон сказал:

- Тальма, я тебя повезу играть перед партером царей.

Здесь, в Эрфурте, Тальма продемонстрировал Европе все, чего может достичь искусство в мире политики. На представлении Вольтерова "Эдипа", когда Тальма в роли Филоктета произнес: "Дружба великого человека благодеяние богов", - Александр повернулся к сидевшему слева Наполеону и демонстративно пожал ему руку.

"Зрелище - петля, чтоб заарканить совесть короля",- говорит Гамлет.

Демонстрация братства двух императоров прикрывала очень серьезные разногласия и довольно сильные трения между ними. Правда, насчет восточных планов удалось столкнуться: хотя раздел Турции был отсрочен на неопределенное время, Наполеон, после множества оговорок и поисков лазеек, в конце концов согласился уступить России дунайские княжества в виде задатка под ее будущую долю в турецком наследии. В награду за это он требовал, чтобы Александр "показал зубы" Австрии: сделал ей строгое внушение и сосредоточил войска на границе Галиции. Твердая позиция России в выполнении союзных обязательств перед Францией, конечно, заставила бы Австрию отступить, однако Александр выдвигал множество возражений, пытаясь главным образом связать свою помощь Франции с полным выводом ее войск из Пруссии. Но здесь уже Наполеон становился на дыбы.

- И это мой друг, мой союзник предлагает мне отказаться от позиции, откуда я могу угрожать Австрии с фланга в случае нападения с ее стороны! восклицал он и пугал царя: - Впрочем, если вы решительно требуете эвакуации, я согласен, но тогда, вместо того чтобы идти в Испанию, я сейчас же покончу все счета с Австрией.

Противодействие Александра удивляло Наполеона: он не узнавал своего тильзитского друга. Сам он оставался тем же Наполеоном, готовым поделить (по крайней мере, сейчас) Европу и весь мир с русским союзником, и не замечал, что недоверчивость царя усилилась под влиянием последних событий. Сверх того, у Александра появился тайный советчик, о котором Наполеон и не подозревал: Талейран, еще недавно занимавший должность министра иностранных дел.

Талейрана можно отнести к гениальным предателям, с одной существенной оговоркой: из своих личных предательств он всегда или почти всегда умел извлечь выгоду для Франции. Может быть, будет правильнее назвать его совершенным воплощением политика, действующего без оглядки на какие-либо божественные или человеческие нормы, ибо политика есть кривое зеркало морали, в котором вовремя совершенное предательство обыкновенно выглядит дальновидностью. Отношение Талейрана к этике в сфере политики лучше всего характеризуют его же собственные слова, сказанные им по поводу расстрела герцога Энгиенского: "Это хуже чем преступление: это ошибка".

До революции Талейран принадлежал к тем очаровательным аббатам, дамским любезникам и атеистам, которых Господь не испепелил на месте, наверное, лишь потому, что они и кощунствовали с безукоризненной вежливостью. Юный аббат двинулся по стезе греха с такой прыткостью, что вызвал ревнивую досаду у знаменитого герцога де Ришелье. Этот почтенный ловелас, служивший бессменным кумиром для трех поколений французских женщин и в восемьдесят девять лет щеголявший своей восемнадцатилетней любовницей, серьезно опасался, что Талейран еще при жизни герцога затмит его альковную славу. "У Талейрана все карманы набиты женщинами", - презрительно морщился впоследствии Наполеон.

Жизнь при дворе в последние годы существования монархии навсегда сохранила для Талейрана свою привлекательность. "Кто не жил до 1789 года, тот не имеет понятия, что означает приятно жить", - говорил он. Однако наступала эпоха, которую Талейран - теперь уже епископ Отенский характеризовал тем, что "все желали выдвинуться талантами, проявленными вне своей основной профессии". Вынужденный подчиниться требованию эпохи, он стал депутатом от духовенства в Генеральные Штаты, что не помешало ему в частной беседе с принцем д'Артуа посоветовать властям распустить собрание народных представителей. Его проницательность не получила должной оценки, и вскоре Талейран уже не принял взятки (наверное, первый и единственный раз в жизни!) от королевского двора, чью судьбу он безошибочно предугадал. Зная натуру Талейрана, следует признать, что для него это был поистине стоический поступок.

Епископ не собирался гибнуть вместе со старым режимом. Стремясь очистить от подозрений в контрреволюционности свой сан, ношение которого уже становилось опасным, он первым внес в Законодательное собрание проект о национализации церковных земель, за что был отлучен папой от Церкви. Затем, чувствуя приближение времен, когда и папское отлучение не помешает ему оказаться на гильотине, Талейран сложил с себя сан епископа и сумел выпросить у Дантона заграничный паспорт. Успев еще откликнуться приветственной статьей на события 10 августа 1792 года (провозглашение Франции республикой), он в тот же день покинул страну. Зачисленный тем не менее в списки подозрительных, он провел последующие два года в Англии и оказался не запачканным в терроре и прочих революционных мерзостях.

Вернувшись в 1796 году в Париж, он предложил свои услуги Директории и был назначен на пост министра иностранных дел. Форма правления мало интересовала его. Как человек умный, он понимал, что при любой власти имеет значение только одно - деньги. "Прежде всего - не быть бедным", - когда-то отчеканил он фразу, ставящую его в один ряд со

знаменитыми мудрецами, сказавшими, что человек есть мера всех вещей и что следует познать себя.

Он действительно брал только по-крупному. За расплывчатые формулировки во второстепенных пунктах международных трактатов Австрия и Испания заплатили ему по миллиону франков, Неаполь пятьсот тысяч, Пруссия триста тысяч. Всего первые два года министерства принесли Талейрану тринадцать с половиной миллионов. А были еще игра на бирже, выгодные подряды для армии... При этом Талейран придерживался своеобразной этики: если он считал, что условия, за которые ему была выдана сумма, вредят интересам Франции, то возвращал полученное сполна.

Это было время, когда Наполеон уже задал себе вопрос: неужели ему всю жизнь придется воевать "для этих адвокатов"? Одним из тех, кто помог честолюбивому генералу прийти к власти, был Талейран. Он сразу признал в Наполеоне повелителя, но никогда не благоговел перед ним. Политика для Талейрана была наукой о возможном, в то время как Наполеон стремился к невозможному, и когда Талейран понял это, он стал врагом императора.

Наполеон дорожил своим министром, которого возвел в титул князя Беневентского. "Это, - говорил он, - человек интриг, большой безнравственности, но большого ума и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел". Император умел воздавать должное людям.

После Аустерлица и Тильзита Талейран одним из первых во Франции задумался: а чем все это кончится? "Штыками можно воевать, но на них нельзя сидеть, - справедливо полагал он, добавляя: - Я не хочу более быть палачом Европы". В эти годы Талейран пришел к идее всеевропейского мира на основе союза Франции с Австрией. Он уже видел то, что Наполеон не хотел видеть, и 1812 год, и взятие Парижа, и остров Святой Елены...

Талейран подал в отставку, условия которой стоили иного назначения: князь Беневентский получил звание вице-электора с титулом "высочество", с наименованием "светлейший" и с окладом триста тысяч франков в год. Единственной его официальной обязанностью было являться в торжественные дни ко двору в костюме из красного бархата с золотым шитьем и становиться сбоку от императорского трона. Так Талейран заблаговременно отделил личную судьбу от будущего жребия Наполеона и готовил почву для своего примирения с Европой. Вместе с тем, сняв с себя всякую ответственность за политику императора, он сохранил право всем пользоваться и на все влиять.

Приглашенный Наполеоном в Эрфурт в качестве консультанта, Талейран, вместо того чтобы способствовать осуществлению планов своего господина, всячески противодействовал им. Он советовал Александру не грозить Австрии. Затем он сделался еще более откровенен.

- Государь, зачем вы приехали? - риторически вопрошал Талейран. - Вам предстоит спасти Европу, и вы можете достигнуть этого не иначе, как только остановив Наполеона. Французский народ цивилизован, французский же государь нецивилизован; русский государь цивилизован - русский народ нецивилизован. Следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа.

Александр вначале подозревал провокацию, но когда кавалер ордена святого Андрея Первозванного князь Беневентский заявил: "Рейн, Альпы, Пиренеи - это завоевания Франции, все прочее - завоевания русского государя. Франция не дорожит ими", царь понял, что Талейрану можно верить: это была не провокация, а государственная измена.

Под влиянием разговоров с Талейраном Александр сделался более неуступчивым. Наполеон настаивал и раздражался. Однажды во время спора у него у кабинета французский император в порыве "необузданного" гнева сорвал с головы шляпу и, бросив на пол, растоптал ее. То была одна из глубоко обдуманных вспышек ярости, которым Наполеон изредка давал себя увлечь. Так это и казалось всем, кто был тому свидетель. Например, Бурьен, друг его детства и личный секретарь, даже простодушно уверял в мемуарах, что в приступе гнева Наполеон мог проболтаться о своих тайных замыслах. Такое представление о

поступках и натуре Наполеона было внушено людям (и порой неглупым людям), начинавшим тогда укореняться в представлении о нем как о человеке стихии, человеке рока, - образ, который он сам сознательно создавал и старательно поддерживал. Какая-то дьявольская стихия действительно всю жизнь клокотала в нем, однако меньше всего на свете Наполеон мог дать увлечь себя чему бы то ни было, а тем более проболтаться о своих планах в порыве увлечения. Его разум, всегда холодный и господствующий над чувствами, и воля, никогда не знавшая чужих влияний, безошибочно выбирали для него ту страсть, то чувство, обнаружение которых было в данную минуту наиболее выгодно. Таким образом, то, что внешне казалось произвольным, на самом деле коренилось во всеобъемлющем рационализме натуры Наполеона. Действительно, стоило на этот раз Александру спокойно произнести: "Вы вспыльчивы, а я упрям. Значит, гневом со мною ничего нельзя сделать. Будем беседовать, будем обсуждать вопрос, иначе я уезжаю" - и направиться к выходу, как Наполеон сразу овладел собой и продолжил беседу в прежнем деловом тоне.

В отместку за упрямство царя Наполеон иногда подвергал его прямо-таки моральным экзекуциям. Так, во время одного смотра император, словно позабыв о сопровождавших его Александре и великом князе Константине Павловиче, дал шпоры коню и пронесся мимо строя с криком:

- Храбрецы, вперед!

Офицеры и солдаты, отличившиеся в прошлых кампаниях, образовали полукруг вокруг него и русского государя. Каждый рассказывал о своих подвигах. Полк этот побывал под Фридландом, поэтому Александру пришлось выслушивать, как такой-то капитан собственноручно убил и ранил столько-то русских, а другой гренадер захватил русскую пушку и т. д. Наполеон выслушивал рассказ и диктовал Бертье свое решение: очередной чин или крест Почетного Легиона. Казалось, он намеренно желает оскорбить и унижить царя. Все взоры были устремлены на Александра, но он стоял спокойно, ничем не выдавая своих чувств; что касается Константина Павловича, то он с возмущением отошел и от нечего делать разглядывал стоявшую рядом батарею.

На совещаниях двух императоров был затронут и династический вопрос. Наполеон уже год как серьезно помышлял о разводе с Жозефиной, чтобы браком с одним из императорских дворов Европы обеспечить будущность своей династии. Он заранее добивался от Александра обещания предоставить ему руку одной из великих княжон в том случае, если он решится на развод. Царь повел речь о своей младшей сестре, великой княжне Анне, которой не было еще пятнадцати лет, и намекнул Наполеону на возможность этого брака, однако при условии, что на это согласится императрица-мать Мария Федоровна, так как император Павел Петрович будто бы предоставил ей в духовном завещании право распоряжаться судьбой дочерей. Эту увертку если не придумал, то одобрил Талейран, выбранный Наполеоном в главные посредники в этом деле. "Признаюсь, - вспоминал Талейран, - меня испугала мысль о еще одной связи между Францией и Россией. На мой взгляд, необходимо было настолько одобрить план этого брака, чтобы удовлетворить Наполеона, и в то же время выставить такие оговорки, которые сделали бы его трудноосуществимым". Он добился своего: к политическим недоразумениям между двумя императорами прибавилась еще и личная обида полуотвергнутого жениха. Зато Талейран, благодаря посредничеству признательного царя, без помех женил своего племянника на герцогине Курляндской: это была плата за вероломство.

Итогом эрфуртских встреч была конвенция, подписанная 30 сентября. Императоры продлевали свой союз с условием десять лет держать его в тайне. Они обязывались торжественно предложить мир Англии; Александр признавал перемену династии в Испании, а Наполеон - присоединение к России Финляндии и дунайских княжеств. В случае объявления Австрией войны одной из союзных империй другая должна была оказать союзнице военную помощь. Наполеон не достиг своей главной цели, состоявшей в том, чтобы дипломатически парализовать Австрию при помощи России и предотвратить новую войну в Германии. Поэтому он отказался исполнить просьбу Александра о возвращении

прусскому королю крепостей на Одере и согласился только сбавить Пруссии часть контрибуции, дав Фридриху Вильгельму "милостыню" в двадцать миллионов. В целом Эрфуртский договор был для Наполеона полууспехом - почти поражением. Россия закрепляла за собой новые приобретения и сохраняла средства нажима на беспокойного союзника.

2 октября Александр и Наполеон, выехав вместе из Эрфурта, простились на Веймарской дороге и расстались навсегда; им суждено было увидеться вновь лишь сквозь дым орудий.

Новый, 1809 год принес с собой возобновление затянувшейся войны со Швецией.

Зимой Александр приказал генералу Кноррингу предпринять активные военные операции на побережье Швеции. Но Кнорринг бездействовал, занимаясь упрочением положения русских войск в Финляндии. Тогда, чтобы подстегнуть нерешительного главнокомандующего, в Финляндию был послан Аракчеев.

С прибытием Аракчеева все пошло как по маслу. Багратион занял Аландские острова, Кульнев разорил окрестности Стокгольма, Барклай захватил Умео, а Шувалов заставил сдаться генерала Грипенберга в Вестрботнии.

Эти победы русского оружия решили участь Густава IV. Он был свергнут в результате дворцового переворота, и власть перешла к его дяде, герцогу Карлу Зюдерманландскому, принявшему корону под именем Карла XIII. Кнорринг, рассчитывая на скорый мир, заключил перемирие и отвел войска в Финляндию.

В Борго по высочайшему указу собралось собрание представителей сословий Финляндии. Александр почтил собрание своим личным присутствием. 16 марта он произнес перед депутатами речь, в которой, между прочим, сказал:

- Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши основные законы; собрание ваше здесь служит ручательством моего обещания.

Царь провозгласил сохранность для финнов их религии, законодательства, прав и привилегий каждого сословия. Финляндия становилась самой свободной частью империи.

19 марта Александр посетил Або, въехав в город через триумфальную арку с выбитой на ней надписью по-шведски: "Александр I, войска которого покорили край и благодать которого покорила народ". 25 марта царь вернулся в Петербург. Перемирие было прекращено, и военные действия возобновились. Главнокомандующим русскими войсками в Финляндии был назначен Барклай-де-Толли, который, по словам царя, час от часу все более ему нравился. Мир со Швецией был подписан только в сентябре.

Результаты эрфуртского свидания усилили решимость Австрии объявить Франции войну. В беседах с канцлером Меттернихом Талейран выдал венскому двору тайну разногласий между Наполеоном и Александром, причем выразил убеждение, что "Александра уже не удастся вовлечь в войну против Австрии". Для выяснения позиции России в отношении предполагаемой войны в Петербург в конце января приехал австрийский посол князь Шварценберг. Вначале он был обескуражен словами царя, сказанными ему при аудиенции: "Если вы двинетесь, я - тоже. Вы вызовете пожар во всей Европе и сами будете его жертвой". Но после разговора с Марией Федоровной австрийскому послу показалось, что он проник в истинные намерения русской политики. "Действие, рассчитанное с хладнокровием и благоразумием, - сказала ему императрица-мать, - но выполненное с быстротой и величайшей энергией во всех его частностях, произвело бы здесь в скором времени самое благоприятное влияние". В результате Шварценберг донес в Вену, что только страх удерживает царя от открытого выступления против Наполеона и что Александр был бы рад избавиться от французской зависимости.

В Австрии начались лихорадочные приготовления к войне. Был выработан тайный договор с Англией о субсидиях, австрийские дипломаты плели сеть антифранцузских интриг по всей Европе, армия сосредоточивалась на границе с германскими землями.

В то же время Наполеон узнал о факте более странном - об интриге, возникшей в самом Париже. Талейран, вступив в сговор со всемогущим и всезнающим министром полиции

Фуше, готовил общественное мнение к замене императора другим лицом, спекулируя на возможной гибели Наполеона в Испании от руки фанатика и на опасности новой войны в Германии, которая может лишить Францию всех ее завоеваний по ту сторону Рейна. Их стараниями составилось уже закулисное правительство, готовое прийти на смену императору; даже бесшабашный и глупый Мюрат позволил заговорщикам привлечь себя к участию в предполагаемом перевороте.

Перехваченные письма Талейрана отчасти раскрыли Наполеону истину, не осведомив его, однако, о размахе заговора и связях заговорщиков с иностранными государствами. Тем не менее гнев императора был страшен. Примчавшись в Париж, он в бешенстве топал ногами на Талейрана:

- Вы - дерьмо в шелковых чулках! Вы заслужили, чтобы я разбил вас, как стекло! Почему я вас не повесил на решетке Карусельской площади!

Талейран выдержал грозу с невозмутимым спокойствием и, выходя из кабинета, обронил невольным свидетелям его позора:

- Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан!

На следующий день он как ни в чем не бывало занял свое место за креслом императора, который упорно избегал смотреть на него. Наполеон не решился объявить войну заговорщикам в столь критический для себя момент.

Готовясь к войне с Австрией, император не оставлял надежды сохранить мир с помощью России. Достаточно было бы, если бы Александр решился наконец повысить тон, заговорить ясно и определенно, открыто объявив себя союзником Франции; тогда Австрия немедленно сложила бы оружие. И Наполеон судорожно хватался за мысль сдержать Вену окриком из Петербурга.

Но Александр упорно отказывался понять его и следовать за ним. И дело было не в том, что царь желал новой войны в Германии; напротив, он хотел бы обеспечить европейский мир; но, веря императору Францу и его министрам больше, чем Наполеону, он в глубине души считал их опасения законными, потому что и сам уже не доверял своему союзнику. К тому же в Австрии он видел буфер между Россией и Французской империей. Рекомендуя австрийцам спокойствие и терпение, царь не закрывал им, однако же, видов на будущее и не осуждал их на вечное смирение; тем самым, вместо того чтобы удержать Австрию от войны, он невольно еще больше подстрекнул ее, и дальнейшие события застали его врасплох.

29 марта австрийская армия под командованием эрцгерцога Карла вторглась без объявления войны в союзную с Францией Баварию и открыла военные действия.

Письма Наполеона в Петербург превратились в один горячий призыв о помощи. В пламенных выражениях он заклинал царя отозвать своего посла из Вены и двинуть свои войска в Галицию; он назначает ему свидание под стенами Вены и предлагает ему долю в своей славе.

Для достижения этой цели он рад обещать все, готов принять на себя любое обязательство, он даже отказывается взять себе что-либо при разделе Австрии. "Можно будет разъединить три короны Австрийской империи... Когда это государство будет таким образом разделено, мы сможем уменьшить численность наших войск; заменить эти всеобщие наборы, ставящие под ружье чуть не женщин, небольшим числом регулярных войск... Казармы превратятся в дома призрения, и рекруты останутся у сохи... Если желательно будет и после победы гарантировать неприкосновенность австрийской монархии, я дам согласие на это, лишь бы только она была вполне разоружена".

Александр не потребовал у Наполеона ни одного из этих обязательств. 29 марта, призвав к себе французского посла Коленкура, царь заявил ему, что считает миссию Шварценберга оконченной и что вечером будет отдан приказ о введении русских войск в Галицию.

- Я сделал все, чтобы избежать войны, - сказал Александр, - но если австрийцы вызвали и начали ее, император найдет во мне союзника, который будет действовать открыто. Я

ничего не буду делать наполовину.

Но Шварценберг, сменивший Коленкура в кабинете царя, услышал вовсе не упреки и не грозные предупреждения. "В знак своего полного доверия император сказал мне, - писал Шварценберг, - что в пределах человеческой возможности будут приняты все меры с целью избежать враждебных действий против нас. Он прибавил, что находится в странном положении, так как не может не желать нам успеха, хотя мы и являемся его противниками".

Русским войскам, которые должны были действовать в Галиции, было приказано избегать по возможности всяких столкновений с австрийцами, и само выступление их в поход было сильно замедлено. На недоуменные запросы Коленкура Александр ссылаясь на дурное состояние своих финансов, на затяжной характер войны со шведами и турками, на трудность вследствие большого расстояния соединить свои войска с французской армией в Дрездене и таким образом освятить союз боевым братством. Решив оказать Наполеону военную поддержку, без которой Россия не могла избежать разрыва с Францией, Александр сделал все, чтобы лишить эту поддержку всякого действительного значения.

Военное счастье вновь сопутствовало Наполеону. Несмотря на то что австрийские войска опередили его на несколько дней и война застала французскую армию в момент формирования и концентрации, эрцгерцог Карл не воспользовался своим преимуществом во времени: австрийцы вообще не любят торопиться. Наполеон воспользовался этой ошибкой. Закончив сосредоточение сил, он обрушился на австрийские корпуса. Пятидневная кампания в Баварии слилась как бы в одно грандиозное сражение; удар следовал за ударом, каждый новый день приносил новую победу. Австрийская армия была разрезана на две части, дорога на Вену открыта. Однако в битве при Эсслинге эрцгерцог Карл восстановил положение, вынудив Наполеона отступить.

Неудача при Эсслинге была несколько скрашена утешительными вестями с востока: Александр наконец двинул в Галицию 40 тысяч человек под командованием князя Голицына. Правда, это решение царя было вызвано причинами, не зависящими от хода австрийской кампании союзника. Дело было в том, что австрийская армия эрцгерцога Фердинанда вторглась в Польшу и вступила в Варшаву. Маршал Понятовский, командующий вооруженными силами Варшавского герцогства, отступил в Галицию и поднял там национальное восстание против австрийцев. Восстание грозило перекинуться на польские земли, принадлежавшие России, что и заставило Александра оккупировать австрийскую Галицию. Впрочем, созники-поляки доставляли русским больше хлопот, чем враги-австрийцы. "Я больше боюсь моих союзников, чем моих врагов", - писал Голицын в Петербург. Война с австрийцами была почти бескровной. При приближении русских войск австрийцы умышленно отступали. Единственная стычка с ними при Подгурже произошла ночью, по ошибке, и стоила русским двух казаков убитыми и двух офицеров ранеными. Вскоре эрцгерцог Фердинанд очистил почти всю Польшу и удержал за собой лишь один Краков.

Между тем французская армия оправилась от неудачи под Эсслингом. Наполеон вновь перешел в наступление. Решительное сражение произошло при Ваграме. Австрийцы уступали позицию за позицией с такой планомерностью, что Наполеон, не дожидаясь окончания боя, воскликнул: "Битва выиграна!" - и спокойно заснул на медвежьей шкуре, расстеленной для него прямо на земле верным мамелюком Рустаном. Но от него не укрылось, что его разноплеменная армия утратила прежний дух боевой спаянности. "Это уже не солдаты Аустерлица!" - с горечью заметил император. С этих пор Наполеон все чаще заменял штыковой удар канонадой, и эта новая тактика сделала сражения еще более кровопролитными.

Ваграмское поражение сломило решимость Австрии продолжать войну. В Шенбрунне были открыты мирные переговоры. Александр не прислал в Вену своего представителя, поручив Наполеону договариваться с побежденными за Россию. Царь заранее отказался от всякого вознаграждения и только напомнил союзнику об интересах России по отношению к Польше. Ведя эту войну против воли, Александр не желал брать на себя ответственность за

мир.

Эта двойственность поведения царя повлекла дальнейшее охлаждение в отношениях России и Франции. Покинутый своим главным союзником, Наполеон щедро вознаграждал более слабого, но более преданного друга - Варшавское герцогство, присоединив к нему лучшую часть Галиции. Восстановленная наполовину Польша, находящаяся вне сферы влияния России, сразу сделалась для Александра предметом непрекращающихся подозрений на счет истинных планов французского императора. Александр подписал с Коленкуром, действовавшим с согласия Наполеона, секретную конвенцию о Польше. Обе стороны давали друг другу ручательство, что королевство Польское никогда не будет восстановлено и что сами слова "Польша" и "поляки" будут навсегда изъяты из государственных актов. Александр прикончил в себе еще одну мечту своей юности.

Что касается самой России, то Наполеон выкроил для нее из всей австрийской Галиции лишь узкую полоску - Тарнопольский округ с 400 тысячами жителей. Это скромное вознаграждение походило, с одной стороны, на подачку, с другой - ставило Александра в неудобное положение перед австрийцами.

Таким образом, при заключении мира Наполеон не выполнил ни одного из высказанных пожеланий царя. Он дал России слишком мало, чтобы привязать ее к себе, а Польше слишком много, чтобы самому оставаться в числе друзей Александра. Вернувшись в Париж, император еще пытался спасти союз с Россией. В своей речи перед Законодательным корпусом он сказал: "Союзник и друг мой российский император присоединил к своей обширной империи Финляндию, Молдавию, Валахию и часть Галиции. Не соперничаю ни в чем, могущим послужить ко благу России. Мои чувства к ее славному монарху согласны с моей политикой" - и вновь подтвердил, что не имеет намерений возродить Польское королевство. Тем не менее он уже не мог восстановить пошатнувшегося доверия Александра. Характерен следующий эпизод. Князь Волконский, вернувшийся из Парижа, рассказал царю о любезном приеме, оказанном ему Наполеоном, и, между прочим, поведал, как император разрезал за десертом яблоко и, протянув половину его князю, сказал, что мир, подобно этому яблоку, должен принадлежать Франции и России.

- Сначала он удовольствуется одной половиной яблока, а там придет охота взять и другую, - заметил Александр, выслушав Волконского.

Неудачей закончилась и попытка Наполеона скрепить союз с Россией династическим браком. Коленкур, напомнивший в ноябре царю о видах своего императора на великую княжну Анну, услышал в ответ, что если бы дело зависело от одного его, Александра, желания, то он получил бы положительный ответ, не выходя из кабинета.

- *Cette idee me sourit**, - сказал Александр, но попросил десятидневной отсрочки, чтобы переговорить по этому вопросу с Марией Федоровной.

Императрица-мать выдвинула требование, чтобы в Тюильри был православный священник и православная домовая церковь, так как русские принцессы никогда не меняют своей веры. Когда Наполеон согласился и на это, потребовалась новая отсрочка, чтобы уладить дела с принцем Саксен-Кобургским, который уже считался женихом Анны, затем возникли другие препятствия: Александр пытался поставить свое окончательное согласие на брак в зависимость от уступчивости Наполеона в немецком и польском вопросах и т. д. В конце концов Коленкур догадался, что его водят за нос, о чем и сообщил откровенно своему господину.

В это время Австрия, движимая страхом перед возможным упрочением франко-русского союза, стоившим ей утраты лучших земель и четырех миллионов подданных, неожиданно изъявила готовность отдать Наполеону руку одной из эрцгерцогинь. В конце 1809 года Наполеон отправил в Россию курьера передать, что он "предпочел австриячку", эрцгерцогиню Марию Луизу. Русский посол в Париже перешел на вторые роли, уступив свое место австрийскому послу. Пора тильзитской дружбы близилась к концу.

V

Иные люди хороши на одно время, как календарь на такой-то срок: переживши свой

срок, переживают они и свое назначение.

П. А. Вяземский. Записная книжка

Новое свидание с Наполеоном, как ни странно, косвенным образом способствовало оживлению преобразовательных начинаний в России. Отправляясь в Эрфурт, Александр взял с собой Сперанского для докладов по гражданским делам. Сперанский, отлично владевший французским языком, много беседовал в Эрфурте с наполеоновским окружением и даже с самим императором о внутреннем устройстве Франции. Передавали, что Наполеон обратил на него внимание и как-то сказал Александру: "Не угодно ли вам, государь, поменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?" Из этих бесед Михаил Михайлович вынес убеждение, что во Французской империи наилучшим образом соединены самодержавная власть императора, дееспособность государственного аппарата и права граждан. Раз на балу Александр спросил его:

- Как нравится тебе за границей?
- Мне кажется, - ответил Сперанский, - что здесь лучше учреждения, а у нас - люди.
- Это и моя мысль, - сказал царь. - Воротившись домой, мы с тобой много об этом говорить будем.

Действительно, по возвращении в Петербург Сперанский был назначен товарищем министра юстиции для занятий в комиссии составления законов. Вскоре все высшее управление делами империи сосредоточилось у него в руках.

В разговорах со Сперанским Александр выразил намерение "даровать России внутреннее политическое бытие". Много вечеров они провели вместе, читая разные сочинения (в основном французских ученых и правоведов) о государственном управлении. Сперанский восхищался смелостью Учредительного собрания и Наполеона, Гражданским кодексом и конституцией Франции, принципами равенства, наполеоновским Государственным советом и французской централизацией. Так путем сотрудничества царя и его секретаря по французским лекалам был выкроен план преобразования государственного устройства России. Александру казалось, что в этом плане он узнает свои собственные идеи 1801 года.

По словам Сперанского, "весь разум его плана состоял в том, чтобы посредством законов учредить власть правительства на началах постоянных и тем сообщить действию этой власти более достоинства и истинной силы". Этими скромными словами статс-секретарь прикрывал изумительную смелость своего плана, положения которого превосходили своим радикализмом знаменитый "Наказ" Екатерины II, некогда всполошивший своим вольнодумством русское общество и всю монархическую Европу. Среди них, например, встречаются такие: "Ни одно правительство не является законным, если оно не основывается на воле страны. - Основные Законы государства должны быть делом народа. - Цель Основных Законов - ставить в известные пределы деятельность верховной власти". Это было как бы русское издание Декларации прав человека. Политическая свобода немыслима без уравнивания в правах всех сословий, поэтому Сперанский прямо заявлял о необходимости отмены крепостного права (крестьяне получали свободу без земли), без чего невозможны ни реформы (рабская зависимость крестьян от помещиков, а помещиков от царя неотделимы друг от друга), ни народное просвещение (зачем давать образование рабам?), ни развитие промышленности, которая требует применения свободного труда. Затем, чтобы уничтожить деспотический произвол власти, управление разделялось на законодательные, исполнительные и судебные учреждения. Все они сверху донизу имели земский выборный характер. Во главе законодательной власти стояла Государственная дума - избранное народом национальное собрание, состоявшее из депутатов всех сословий (права царя по отношению к этому собранию копировали права Наполеона по отношению к Законодательному корпусу), во главе исполнительной - министерства, во главе судебной - Сенат. Деятельность этих трех высших учреждений объединялась и направлялась Государственным советом, состоявшим из лучших представителей аристократии, охранявших права и интересы всего народа. Конституция

была призвана увенчать собой все преобразования, причем она должна была быть преподнесена обществу в готовом виде самой же властью. "Конституции, - писал Сперанский, - во всех почти государствах устрояемы были в разные времена отрывками и по большей части среди жестоких политических бурь. Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устрояя политическое существование своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы". Сперанский был, наверное, первым и единственным русским государственным деятелем, писавшим о вдохновении власти. На самом деле в то время порывам вдохновения в России были подвержены всего два государственных ума: Александра и самого Михаила Михайловича - один светлый, но презиравший действительность, другой блестящий, но не понимающий ее.

План Сперанского был составлен с необычайной быстротой. Михаил Михайлович работал по восемнадцать часов в сутки. Уже в октябре 1809 года план лежал на столе царя, согласованный во всех своих частностях. "Если Бог благословит все сии начинания, - писал Сперанский в заключение, - то в 1811 году, к концу десятилетия настоящего царствования, Россия восприимет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится".

Общие контуры преобразований были известны только Александру и его секретарю и держались в тайне; даже самые близкие люди из окружения царя не представляли размаха задуманных реформ. Аракчеев, разгневанный подобным недоверием, решил громко хлопнуть дверью и подал царю прошение об увольнении от должности военного министра. Александр просил его остаться, но, по его же словам, "личное честолюбие, мнимо затронутое, восторжествовало над чистейшей преданностью" гатчинского капрала. 1 января 1810 года, вновь очутившись в Грузино, Аракчеев написал на прокладных листах напрестольного Евангелия домово́й церкви: "В сей день сдал звание военного министра. Советую всем, кто будет иметь сию книгу после меня, помнить, что честному человеку всегда трудно занимать важные места государства".

Бог не благословил начинаний Сперанского, они начались с частных и частностями же ограничились. Сперанский, к несчастью для него, был творческой натурой и в любом деле предпочитал творить новое, чем обрабатывать старое, он был художником в сфере государственного управления, что совершенно противопоказано государственному деятелю. Поэтому, по словам его биографа М. А. Корфа, "все... осталось только на бумаге и даже исчезло из памяти людей, как стертый временем очерк смелого карандаша".

Одной из скрытых причин неудачи Сперанского была та, что его увлечение Наполеоном пришлось не ко времени, совпав со все возрастающим недоверием и раздражением царя против своего навязчивого союзника.

В 1809 году отношения между двумя императорами осложнились еще больше. Из всех поводов к конфликту наиболее серьезным являлся польский вопрос. Наполеон отказался ратифицировать проект соглашения, подписанный Румянцевым и Коленкуротом, о том, что королевство Польское никогда не будет восстановлено.

Для урегулирования разногласий в польском вопросе в Париж был послан князь Алексей Борисович Куракин, имевший официальное поручение поздравить французского императора с женитьбой на австрийской эрцгерцогине Марии Луизе.

Брачные торжества кончились ужасным пожаром во время бала. Танцевальная зала, обшитая досками, загорелась и, мгновенно охваченная огнем, рухнула в две минуты. Люди, давясь, пробирались к выходу по телам упавших, многие выбегали на улицу, словно живые факелы. Погибло и обгорело множество людей. Среди них был и Куракин, который едва не погиб в огне: его вытащили из-под горящих обломков полуживым; волосы на его голове и ресницы сгорели, руки и ноги сильно пострадали от ушибов и ожогов, кожу на левой руке можно было снять, как перчатку. Князя спас его костюм из золотого сукна, который нагрелся, но не воспламенился; люди, вытащившие его из огня, долго не решались поднять его, так как обжигались от прикосновения к его одежде.

На прощальной аудиенции поправившемуся послу, 7 августа 1810 года, Наполеон

сказал:

- Еще раз повторяю: я не желаю и не могу желать разрыва между Францией и Россией. Одним словом, все требует продолжения нашего союза, и я никогда не изменю ему, если меня не принудят к этому.

Между тем он уже вел тайные переговоры с австрийским послом Меттернихом о франко-австрийском союзе, направленном против России.

Клеменс Венцель Непомук Лотар, князь Меттерних-Виннебург, происходил из древней и богатой дворянской семьи. Его отец, офицер-бонвиван, и мать, красавица кокетка, снабдили его внешностью лощеного светского красавца (светлые волосы, голубые глаза и холодная улыбка), знатным именем и сильными страстями. Меттерних был человек увлекающийся. Им владели три страсти: к политике, к женщинам и к собственности. Политикой он начал заниматься по воле случая, так как в молодости, будучи студентом Страсбургского университета (где обучался и Талейран, его будущий союзник и единомышленник), отдавал предпочтение химии и медицине, однако с легкостью баловня фортуны оставил университетские занятия. Благодаря его страсти к политике, владеющей им на протяжении тридцати восьми лет, европейская дипломатия стала использовать понятия "политика союзов", "политика европейского равновесия", "политика европейской безопасности". Женщинами он занимался несколько дольше; он пережил трех жен и дал отставку множеству любовниц. Что касается собственности, то о ней Меттерних не забывал никогда.

Его превращение из приятного салонного молодого человека в одного из самых известных политиков Европы произошло под влиянием французской революции. В 1794 году двадцатилетним юношей он издал брошюру "О необходимости вооружить весь народ вдоль французской границы" - это был единственный случай, когда Меттерних допустил мысль о вмешательстве народа в политическую борьбу.

Император Франц I, терпевший из-за всех нововведений только новые оперы, обратил внимание на молодого человека, который во всеуслышание заявлял: "Я ненавижу все, что является неожиданным образом". Революция грозила превзойти в неприятности все прежние неожиданности, поэтому Меттерних ополчился против нее, нашив на свой плащ белый крест контрреволюционера. Впрочем, политические и нравственные принципы его мало беспокоили; единственным его пожизненным убеждением был последовательный легитимизм. Он вообще отлично проникал в людей, а не в принципы. Революция была непонятна ему, поскольку за нацией он не мог разглядеть людей. Однако именно эта невосприимчивость к новым идеям, как ни странно, и возвеличила его над современными ему политиками, которые то объявляли крестовый поход против Французской республики, то заключали с ней договоры. "Все движется и меняется вокруг меня, - писал он, - но я остаюсь неподвижным. Я думаю, что моя душа имеет цену, потому что она неподвижна". Душевная неподвижность Меттерниха сделала его оплотом монархического порядка в Европе.

Против революции протестовал не его разум, не его чувства, а все его существо - существо консерватора. "Я твердо решил бороться с революцией до последнего дыхания", - как-то заявил Меттерних и сдержал свое слово. Он видел революцию повсюду и во всем, даже в распространении библейских обществ, и подозревал в революционности самих государей, в частности Александра и Фридриха Вильгельма. На одном из конгрессов он долго не мог успокоиться после того, как французской делегации вздумалось угостить его печеньем с трехцветным кремом.

С презрением наблюдая колебания политики монархических государств и позорные капитуляции и сделки с Наполеоном, он замечал: "Мне известен сегодня лишь один человек, который знает, чего он хочет: это я сам". В 1805 году, несколькими месяцами позже Талейрана, он пришел к мысли, что Европе необходим мир на основе равновесия сил. Его миролюбие было основано исключительно на практических соображениях: он видел, что утомленным и растерявшимся монархиям необходим длительный покой.

В следующем году он получил назначение послом в Париж. Наполеон встретил его словами:

- Вы слишком молоды, чтобы быть представителем самой древней монархии.

На это Меттерних нагло ответил:

- Сир, я в том же возрасте, в котором вы были при Аустерлице.

Высокий, стройный, одетый в романтический плащ мальтийского рыцаря - с красным верхом и черной подкладкой, он не оставил равнодушными парижских дам. Он обольстил Каролину Мюрат, сестру Наполеона, и в знак своей победы носил на пальце кольцо из ее волос. Одновременно у него был короткий, но бурный роман с актрисой Жорж Вайнер, любовницей императора. Но, преуспев в салонах, Меттерних потерпел поражение в Тюильри. Накануне войны с Австрией Наполеон через министра полиции Фуше ловко дурачил красавчика посла ложными сведениями о состоянии своих военных сил. Об уровне осведомленности Меттерниха говорит то, что в 1808 году он передал в Вену "абсолютно точную информацию", будто, согласно французским источникам, австрийская армия имеет некоторые преимущества перед французской.

В Эрфурте Меттерних и Талейран впервые протянули друг другу руки. "Я смотрю на ваши интересы как на свои", - уверил австрийца его французский коллега. В доказательство своих слов Талейран после бурной сцены с Наполеоном в Париже предложил Меттерниху свои услуги. Франко-австрийский союз был скреплен ими за спинами их владык.

Разгром Австрии пошел Меттерниху на пользу - он стал министром иностранных дел. Самым крупным его (и Талейрана) дипломатическим успехом в эти годы было "разоружение" Наполеона перед Австрией - его брак с Марией Луизой. Уверенный в себе как никогда, Меттерних стал превращаться в спесивого политика. Отныне он хотел стоять во главе событий. Наполеон отнесся к его притязаниям снисходительно: "Меттерних - почти государственный муж, ибо он отлично врет".

В июле 1810 года между Наполеоном и Меттернихом состоялся первый разговор на тему о совместных действиях против России. Меттерних прямо спросил императора, намерен ли он соблюдать эрфуртские соглашения и не согласится ли сделать совместное с Австрией заявление, чтобы спасти придунайские княжества от владычества России.

Наполеон ответил, что тяготеет своими обязанностями по отношению к России.

- Но вы знаете, - продолжил он, - что вынудило меня к этому. Если вы хотите объявить войну России, то я не буду вам препятствовать. Я приму на себя обязательство оставаться нейтральным. Если русские потребуют от Турции больше, чем им предоставляет договор, то я сочту себя свободным от моих обязательств перед императором Александром, и Австрия сможет вполне рассчитывать на меня.

В секретной записке об отношениях Франции и России, составленной несколькими месяцами раньше, Наполеон был еще более откровенен: в ней говорилось, что ввиду неизбежного сближения России и Англии союз Франции и России подходит к концу и война против бывшего союзника становится настоятельной потребностью для упрочения первенствующего положения Франции в Европе.

Под влиянием этих мыслей Наполеон как-то раз во время охоты обронил, обращаясь к одному из своих генералов:

- Еще три года - и я буду владыкой вселенной.

В самом деле, когда Александр сравнивал свое приобретение Финляндии и незначительных областей в Молдавии, Галиции, Литве и Азии с огромным расширением Французской империи, он испытывал и зависть, и обиду, но главным образом - глубокую тревогу. Даря союзнику одно княжество, Наполеон клал в свой карман три королевства. Германия, на которую Россия со времен Петра I пыталась дипломатическим путем, браками и оружием приобрести преобладающее влияние, теперь целиком была в распоряжении французского императора. Наполеон собрал здесь все династии, состоявшие в родстве с Домом Романовых, и образовал из них Рейнский союз; создал в Германии французское королевство Вестфалию и два полуфранцузских государства - Берг и Франкфурт, расчленил

Пруссию и Австрию. В Италии все, что еще оставалось не разделенным на французские департаменты, Наполеон подчинил себе под названием королевства Италии и королевства Неаполитанского. Кроме того, он был "медиатором" Швейцарского союза и верховным властителем великого герцогства Варшавского. Французская империя и вассальные ей государства насчитывали 71 миллион человек из 172 миллионов, населявших Европу. Князь Куракин (брат пострадавшего от пожара посла) писал Александру из Парижа: "От Пиренеев до Одера, от Зунда до Мессинского пролива все сплошь Франция".

В 1811 году отношения России и Франции приняли откровенно враждебный характер. Наполеон открыл эпоху "внутренних завоеваний" - расширение империи посредством декретов. Голландия, северное побережье Германии, кантон Валлис - эти земли служили англичанам для провоза контрабанды на континент. Опираясь на ряд сенаторских постановлений, Наполеон объявил о присоединении к Французской империи всего королевства Голландского; при этом он не посчитал нужным оправдать это упразднение соседнего государства какими-либо серьезными соображениями и просто сослался на то, что вся эта страна является лишь "наносом земли от рек империи"; затем было объявлено о присоединении Валлиса, герцогства Ольденбургского, княжеств Сальм и Аренберг, части Ганновера, трех ганзейских городов и ряда других земель.

Россия сочла себя задетой двумя обстоятельствами. Во-первых, разместив гарнизоны в Данциге и Любеке, Наполеон выходил к Балтийскому морю, на которое Петр I приучил смотреть русских как на свою собственность. Во-вторых, в числе обобранных немецких князей был герцог Ольденбургский, приходившийся царю шурином по своей женитьбе на великой княжне Екатерине Павловне. Таким образом, Наполеон отнял корону у сестры своего союзника! Александр попытался добиться возвращения своему родственнику захваченных земель, но Наполеон либо затягивал переговоры, либо предлагал ничтожную компенсацию. В конце концов Александр разослал государствам, сохранившим независимость, копии своего формального протеста. Антагонизм между бывшими друзьями был засвидетельствован всей Европой. Наполеон, и так недовольный тем, что так называемые нейтральные суда* разгружают в российских портах английские товары, сделал вид, что счел этот поступок за новый вызов.

К государственному соображению, толкавшим Александра на разрыв отношений с Францией, примешивались и личные мотивы. Царь чувствовал себя обиженным своим неверным союзником, он досадовал на себя за то, что поддался его очарованию и поверил его обещаниям в Тильзите, его раздражал властолюбивый тон, который Наполеон все чаще позволял себе в личной переписке и дипломатических отношениях, и пугали военные замыслы французского императора; кроме того, Александр ревновал к славе Наполеона. Под влиянием этих чувств царь снова обратился к своей старой мысли о том, что на него возложена обязанность освободить человечество от угрожающего ему варварства.

Спасение человечества, как всегда, связывалось в уме Александра с освобождением Польши. Добываясь от Наполеона обязательства никогда не восстанавливать Польское королевство, царь одновременно думал о том, как вырвать несчастных поляков из рук корсиканца, чтобы привести их под свой благословенный скипетр. В этом деле невозможно было обойтись без старого обманутого друга, князя Адама Чарторийского. Весной 1810 года Александр призвал его в Петербург и имел с ним любопытный разговор, в котором высказал свой план: приобрести расположение поляков великого герцогства, присоединив к нему восемь считавшихся польскими губерний Российской империи (на самом деле польским в них было только дворянство, а основную массу населения составляли православные крестьяне - белоруссы и малороссы). Затем, без ведома Румянцева, царь завел переговоры с Австрией, предлагая ей взамен Галиции часть Молдавии и всю Валахию, уже отвоеванную у турок русскими войсками.

В Варшавском герцогстве сложились две партии: одна ожидала восстановления страны от Франции, другая рассчитывала в этом деле на Россию. Чарторийский призывал Александра не обольщаться особыми иллюзиями: военачальники и все влиятельные лица

великого герцогства продолжали оставаться верными Наполеону.

В марте 1811 года Александр решил ускорить отпадение поляков от Наполеона посредством внезапного вторжения в Варшавское герцогство. В то время как русская партия в Варшаве уверяла, что царь скоро обнародует манифест о польской конституции, пять русских дивизий, отозванных из дунайских княжеств, двигались через Подолию и Волынь к границам великого герцогства. Французская партия поспешила поднять тревогу в Гамбурге, где начальствовал Даву, и в Париже, где Наполеон, сперва посмеявшийся над чересчур живым воображением варшавян, в конце концов встревожился не меньше их. Получив от Даву подтверждение в серьезности положения, он предписал французским корпусам Великой армии, разбросанным по всей Европе, а также армиям вассальных государств быть готовыми к походу на помощь Варшавскому герцогству. С этого момента всюду, от Пиренеев до Эльбы и Одера, началось непрерывное движение полков, батарей, обозов - на восток.

Польские авансы Александра и огромные военные приготовления Наполеона дали повод к дальнейшему взаимному раздражению. Французский император высказывал недовольство Коленкуром, обвиняя его в том, что он сделался чересчур "русским" и забывает об интересах Франции. Коленкур попросил об отставке и получил ее. Он был заменен графом Лористоном. Прощаясь с Коленкуром, Александр сказал:

- У меня нет таких генералов, как ваши, я сам не такой полководец и администратор, как Наполеон, но у меня хорошие солдаты, преданный мне народ, и мы скорее умрем с оружием в руках, нежели позволим поступить с нами, как с голландцами и гамбургцами. Но уверяю вас честью, я не сделаю первого выстрела. Я не хочу войны. Мой народ хотя и оскорблен отношением ко мне вашего императора, но так же, как и я, не желает войны, потому что он знаком с ее опасностями. Но если на него нападут, то он сумеет постоять за себя.

Наполеон в свою очередь заверил флигель-адъютанта Чернышева, посланного в Париж царем, что желает только мира; правда, при этом он не упустил возможности представить посланнику царя устрашающую картину своих сил. А в разговоре с русским дипломатом Шуваловым, проездом посетившим Париж, Наполеон сказал:

- Чего хочет от меня император Александр? Пусть он оставит меня в покое! Мыслимое ли дело, чтобы я пожертвовал двумястами тысячами французов для восстановления Польши!

Но, беспрерывно твердя о мире, ни одна из сторон не желала больше делать ни малейшей уступки. Наполеон отлично понимал, что на этот раз ни тильзитская дружба, ни эрфуртская личина дружбы не совершат нового чуда: война неизбежна. В марте 1811 года он писал королю Вюртембергскому с откровенностью, на которую был способен только он: "Война разыграется вопреки мне, вопреки императору Александру, вопреки интересам Франции и России. Я уже не раз был свидетелем этому, и личный опыт, вынесенный из прошлого, открывает мне эту будущность. Все это уподобляется оперной сцене, и англичане стоят за машинами".

В преддверии грандиозной, небывалой войны Александр как никогда нуждался в поддержке общества, которой он так долго пренебрегал. Между тем все классы, все сословия русского общества выражали единодушное недовольство курсом правительства. Конечно, имени царя никто не называл, все нападки и упреки адресовались второму лицу в государстве - Сперанскому. В ненависти против него объединялись "паркетные шаркуны", как их называл Александр, то есть придворные чины, раздраженные тем, что Сперанский пробовал заставить их сдавать экзамен при назначении на должность; помещики, обеспокоенные проектами освобождения крестьян; высшая аристократия, презиравшая выскочку, "поповича", пытавшегося учить их уму-разуму; крестьяне, купцы и мещане - из-за повышения налогов и цен; патриоты, становившиеся по мере приближения войны с французами все более пылкими и голосистыми, объявившие изменой заимствование французских учреждений; министры Балашов (полиции), Гурьев (финансов) и ряд других, которые завидовали своему коллеге; двор императрицы Марии Федоровны, очаг

непримиримой оппозиции французскому влиянию; французские эмигранты-роялисты, иезуиты и многие-многие другие, в том числе ряд русских писателей и мыслителей, как, например, Карамзин. Эта ненависть доходила до того, что один весьма неглупый человек (писатель Вигель) писал: "Близ него (Сперанского. - С. Ц.) мне казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира". "Ненависть - сильнейшая из пропаганд", - скажет Сперанский позднее.

У бедного "статс-дьявола" совсем не было умения бороться с интригой и, главное, совершенно не было охоты устранять своих врагов. Участвовать в придворных дразгах казалось ему отвратительным занятием. Он думал только о своем деле и торопил царя с выполнением задуманных реформ, что, как мы знаем, всегда настораживало Александра. Действительно, царь, по обыкновению, начал оглядываться и колебаться. Ему нашептывали, что Сперанский подкапывается под самодержавие, и Александр вдруг все чаще стал повторять, что обязан передать самодержавие в целостности своим наследникам, что образование министерств и Государственного совета было ошибкой, и все охотнее забывал, что Сперанский лишь выполнял его волю, более-менее правильно понятую.

15 марта 1811 года царь посетил Тверь и здесь получил из рук сестры, великой княгини Екатерины Павловны, записку Карамзина "О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях". Записка содержала резкое осуждение либеральных начинаний первых лет царствования и недавних реформ Сперанского.

Реформы Сперанского вызывали у писателя и историка одно негодование: "Новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданности произвола. Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основы империи и коих благотворность остается доселе сомнительною". Карамзин считал, что результатом столь разрекламированной работы был простой перевод на русский язык наполеоновского Кодекса, хотя, язвил автор, русские еще не попали под скипетр этого завоевателя. По его словам, лишь в некоторых статьях, как, например, о разводе, Сперанский откладывал в сторону Кодекс и брал в руки Кормчую книгу.

Сперанский и Карамзин выражали два противоположных взгляда на движущие силы истории, древние как мир: политический и нравственный. По мнению Сперанского, люди ничего не значат в истории, ход которой определяется развитием учреждений. Согласно этому взгляду, чтобы сделать людей хорошими или по крайней мере заставить их прекратить делать зло, надо дать обществу разумные, правильные учреждения. Карамзин же считал, что разумный общественный порядок создается привлечением к управлению хороших людей: "Не нужно нам конституций, дайте нам пятьдесят умных и добродетельных губернаторов, и все пойдет хорошо". Примирить эти два взгляда легче, чем людей, которые их исповедуют.

Основная мысль записки заключалась в том, что "самодержавие есть палладиум* России; целостность его необходима для ее счастья". Чтение укрепило Александра в перемене его настроения по отношению к реформам. Да и что ему оставалось делать? Вот уже десять лет лучшие люди России твердили ему, что им не нужна никакой конституции, и это не могло не повлиять на образ мыслей Александра.

Тем временем до царя стали доходить слухи, что Сперанский действует в интересах Наполеона: роняет ценность ассигнаций, обременяет народ налогами, раздражает его, ломает государственный аппарат, продает французам государственные тайны. Нелепость этих слухов была очевидной, поэтому когда в октябре встревоженный и павший духом статс-секретарь предложил царю отставить его от всех должностей и предоставить ему заниматься исключительно работой по составлению свода законов, Александр отказал ему в этом.

Однако вскоре Александру донесли, что Сперанский проявляет в разговорах крайнюю невоздержанность на язык и не щадит самого государя, проводя оскорбительные параллели между военными талантами Александра и французского цезаря, давая ему насмешливые прозвища, унижая его характер и ум, выставляя его человеком ограниченным, равнодушным

к пользе отечества, красующимся своей фигурой, посвистывающим у окна, когда ему докладывают дела, и т. д. Таким образом, поведение Сперанского выставлялось как личное предательство по отношению к царю, который почтил его своей дружбой и неслыханным доверием. Александр был оскорблен. К тому же он, быть может, уже тайно желал избавиться от опеки сильного человека, под которую невольно попал.

В начале 1812 года очередная жертва царской дружбы была готова к закланию. Интриганы, хлопотавшие о низвержении "изменника", не подозревали, что царь больше не нуждается в новых доказательствах "вины" Сперанского, его участь уже была решена в сердце и уме Александра. Позже, в ссылке, Сперанский писал: "Сии разные лица составляли одно тело, а душа сего тела был тот самый, кто всему казался и теперь кажется посторонним".

Тем не менее внезапное падение Сперанского стало полной неожиданностью для всех. Рано утром в воскресенье 17 марта Александр призвал к себе директора канцелярии министра полиции Якова Ивановича де Санглена и сказал ему:

- Конечно, как мне ни больно, но надобно расстаться со Сперанским. Он сам ускорил свою отставку. Я спрашивал его, как он думает о предстоящей войне и участвовать ли мне в ней своим лицом. Он имел дерзость описать мне все воинственные таланты Наполеона, советовать, чтоб, сложив все с себя, я созвал Боярскую думу и предоставил ей вести отечественную войну. Но что ж я такое? Разве нуль? Из этого я убеждаюсь, что он своими министерствами только подкапывался под самодержавие, которого я не могу и не вправе сложить с себя самовольно к вреду моих наследников.

Вечером наступила развязка. Сперанский обедал у одной своей знакомой, когда фельдъегерь привез ему приказ государя явиться во дворец к восьми часам. Дело было обычное, и Сперанский поехал без тени подозрения. В секретарской сидел князь А. Н. Голицын, также приехавший с докладом. Сперанского позвали первым. Аудиенция длилась около двух часов. Когда наконец Сперанский вышел из кабинета царя, он казался сильно взволнованным и смущенным. Его глаза "умирающего теленка" были заплаканны, поэтому, подойдя к столу, чтобы уложить в портфель бумаги, он повернулся к Голицыну спиной*. В это время в дверях показался Александр, также сильно растроганный ("На моих щеках были его слезы", - вспоминал Сперанский).

- Еще раз прощайте, Михайло Михайлович, - сказал он и закрыл дверь.

Содержание их последней беседы осталось тайной. Сперанский в ссылке обычно охотно откровенничал о своих отношениях с царем, но о разговоре 17 марта - никогда, и даже запрещал родным и знакомым об этом спрашивать. Что касается Александра, то он только раз заговорил об этом с Новосильцовым несколькими месяцами позже.

- Вы думаете, что Сперанский изменник? - сказал царь. - Нисколько. Он, в сущности, виновен только относительно меня одного: виновен тем, что отплатил за мое доверие и мою дружбу самой черной, самой гнусной неблагодарностью. Но это еще не побудило бы меня прибегнуть к строгим мерам, если бы лица, которые с некоторого времени взяли на себя труд следить за его словами и поступками, не усмотрели в них и не донесли о тех случаях, которые заставляли предполагать в нем самые зложелательные намерения. Время, положение, в котором находилось отечество, не позволили мне заняться обстоятельным и строгим рассмотрением обвинений, которые доходили до меня... Поэтому я сказал ему, удаляя его от моей особы: "Во всякое другое время я бы употребил два года, чтобы проверить с самым тщательным вниманием все сведения, которые дошли до меня по поводу вашего поведения и ваших действий. Но ни время, ни обстоятельства не позволяют мне этого в настоящую минуту: неприятель приближается к пределам империи, и ввиду того положения, в которое вас поставили подозрения, вызванные вашим поведением и речами, которые вы себе позволяли, для меня весьма важно в случае несчастья не казаться виновным в глазах моих подданных, продолжая оказывать вам доверие и даже сохраняя за вами занимаемое вами место. Ваше положение такого рода, что я не советовал бы вам даже оставаться в Петербурге... Выберите себе сами место для вашего дальнейшего пребывания до

конца событий, которые приближаются. Я играю в большую игру, и чем она больше, тем более вы подвергались бы опасности в случае неуспеха - ввиду характера народа, которому внушили недоверие и ненависть к вам".

Конечно, этого слишком мало для двухчасового разговора, но главное ясно: оскорбленное самолюбие Александра спряталось за государственные соображения. Ни забывать, ни прощать личных обид царь не умел.

Местом ссылки Сперанского был выбран Нижний Новгород. Поздно ночью Сперанский вышел из дому, сел в кибитку и уехал в девятилетнее заточение.

Наутро 18 марта князь Голицын был поражен мрачным видом Александра.

- Ваше величество нездоровы? - осведомился он.

- Нет, здоров.

- Но ваш вид?..

- Если бы тебе отсекали руку, - с мрачной торжественностью сказал Александр, - ты, верно, кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моею правой рукой!

Россия торжествовала. Ссылку Сперанского праздновали, как первую победу над французами. Вина ненавистного статс-секретаря не была оглашена публично (Александр, разумеется, не мог объявить, что утоляет свою жажду мести, а повторять вздорные обвинения в измене ему не позволяла совесть), поэтому общество, следуя нашему давнему русскому поверью, что без вины не наказывают, приписывало ему самые черные намерения. "Не знаю, - писал современник, - смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не искал гибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолжение многих лет трудился в тиши кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели как на Пандоррин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покарать все наше отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства его виновности открыли наконец глаза обманутому государю. Только дивились милосердию его и роптали, как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя и довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел!"

Поведение подданных дало Александру еще один повод укрепиться в своем презрении к людям. Тем же утром он сказал де Санглену:

- Вы не можете себе представить, какой вчера был тяжелый день для меня. Я Сперанского возвел, приблизил к себе, имел к нему неограниченное доверие - и вынужден был его выслать. Я плакал! Но для пользы государства нужно было отослать Сперанского. Это доказывается радостью, которую отъезд его произвел в столице, - верно, произведет и везде погода немного. Люди мерзавцы! Те, которые вчера утром ловили еще его улыбку, те ныне меня поздравляют и радуются его высылке.

Умолкнув, Александр взял со стола книгу и вдруг с гневом бросил ее обратно.

- О подлецы! - в сердцах воскликнул он. - Вот кто окружает нас, несчастных государей!

Себя Александр оправдал давным-давно, когда сказал: "Нельзя применять одну и ту же мерку к государям и частным лицам. Политика налагает на них обязанности, осуждаемые сердцем".

Грозные события, последовавшие вскоре за падением Сперанского, отвлекли внимание всех от судьбы ссыльного статс-секретаря. 12 мая 1812 года Карамзин уже мог написать: "Его все бранили, теперь забывают. Ссылка похожа на смерть".

Александр и Наполеон, не доверяя больше мирным заверениям друг друга и готовясь к военным действиям, подыскивали себе союзников, порой самых неожиданных.

24 декабря 1811 года Фридрих Вильгельм написал Александру, что должен был пожертвовать влечениями своего сердца и заключить союзный договор с Францией. Заверения в дружеских чувствах к царю не помешали ему предложить Наполеону 100 тысяч человек взамен на обещание очистить одну из крепостей на Одере, уменьшить контрибуцию и присоединить к Пруссии после победы над Россией Курляндию, Лифляндию и Эстляндию.

Выслушав эти предложения, Наполеон злобно уязвил короля:

- А как же клятва при гробе Фридриха?

Император вовсе не собирался увеличивать армию Пруссии и потому заявил, что довольствуется вспомогательным корпусом в 20 тысяч человек; контрибуция была снижена всего на 20 миллионов франков.

В марте 1812 года Наполеон подписал договор с Австрией, которая перед тем дважды отвергла предложения России. Но и в этом случае Наполеон удовольствовался 30-тысячным корпусом под командованием князя Шварценберга.

Впрочем, новые союзники Франции пытались застраховаться на обе стороны. Фридрих Вильгельм не забыл ничего из прошлых унижений и, отправляя свой корпус в поход на Россию, в то же время послал в Петербург свое доверенное лицо, фон Кнезебека, чтобы передать Александру, что он ждет спасения Пруссии только от русского императора, своего друга. Равным образом и Австрию присоединиться к Наполеону отчасти побуждал страх перед проникновением русских на Дунай. Меттерних уверял Александра, что Австрия только уступает категорической необходимости и что содействие, оказываемое ею Наполеону, сведется на нет, если Россия ничего не предпримет против нее. Иными словами, чтобы убедиться в дружеских чувствах Австрии и Пруссии, Александру предлагалось всего-навсего победить Наполеона.

Зато Наполеон обманулся в тех надеждах, которые он возлагал на Швецию и Турцию.

В 1810 году наследником шведского престола неожиданно для Наполеона был избран Бернадот, командующий французскими войсками в Дании. Наполеон считал его самым ненадежным из маршалов (во время переворота 18 брюмера 1799 года Наполеон сумел добиться от Бернадота только обещания сохранять нейтралитет, у него были неприятные столкновения с Бернадотом и позднее) "этот человек не средство, а препятствие". Когда Бернадот явился в Тюильри сказать императору о своем избрании в наследники Карла XIII, Наполеон выслушал его с явным неодобрением. Тогда Бернадот сказал с явной насмешливостью:

- Неужели вашему величеству угодно поставить меня выше вас самих, заставив отказаться от короны?

Наполеон недовольно пробурчал:

- Ну, пусть будет так...

Император потребовал от Бернадота клятвы не воевать с Францией, но наследный принц Шведский ловко ускользнул от всяких обещаний.

2 ноября 1810 года Бернадот, перешедший к тому времени в лютеранство, совершил торжественный въезд в Стокгольм. Наполеон продолжал обращаться с ним как со своим подчиненным, и это был один из немногих случаев, когда личная неприязнь перевесила в императоре государственные соображения. Подобное высокомерие было тем более неуместно, что в Стокгольме всеми силами противились присоединению к континентальной блокаде, а Александр проявлял верх предупредительности к новой династии, оспаривая Швецию у Наполеона. Французский император совершил еще худшую ошибку, захватив в начале 1812 года шведскую Померанию, чтобы облегчить себе подступы к России. В ответ на этот шаг шведский министр иностранных дел объявил русскому посланнику: "Теперь мы свободны от всяких обязательств по отношению к Франции", а Бернадот поручил передать Александру, что после своего прибытия в Швецию он сделался совершенно человеком Севера и что Россия может смотреть на Швецию как на свой верный передовой оплот. В марте Наполеон одумался и предложил Бернадоту Финляндию и Норвегию, но было уже поздно - Швеция подписала договор с Россией. С этих пор Бернадот, отлично знакомый с французской армией, стал раздавать всем врагам Наполеона щедрые стратегические и тактические советы, сослужившие им немалую службу в 1812-1813 годах. Этот француз преподавал искусство бить французов и цинично призывал не давать пощады солдатам Франции. Позиция Бернадота позволила Александру отозвать войска из Финляндии и присоединить их к армии, обращенной против Наполеона.

В мае, после прошлогоднего разгрома Кутузовым армии великого визиря, мирный договор с Россией подписала и Турция. У русской дунайской армии также развязались руки.

Наконец, Англия дала понять Александру, что в любую минуту готова подписать мир с Россией. 3 мая договор был заключен. Теперь уже никто не сомневался, что война с Францией начнется со дня на день.

Окончание следует.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Часть четвертая

Гигантомахия

Любое, даже самое громкое, деяние

нельзя назвать великим, если оно не было следствием великого замысла.

Ларошфуко. Максимы

I

Гроза двенадцатого года

Настала - кто тут нам помог?

Остервенение народа,

Барклай, зима иль русский Бог?

А. С. Пушкин.

Евгений Онегин

Наполеон ясно сознавал, что война с Россией будет не из легких. Великая армия, собранная им в Германии и Польше, составляла в общей сложности одиннадцать корпусов, не считая императорской гвардии и кавалерийского резерва Мюрата. В большинство этих корпусов входили иностранные контингенты - поляки, австрийцы, пруссаки, немцы государств Рейнского союза (вестфальцы, баварцы, вюртембергцы, саксонцы, мекленбургцы, гессенцы, баденцы и др.), швейцарцы, итальянцы, голландцы, датчане, испанцы, португальцы, хорваты, далматинцы, иллирийцы. Общая численность Великой армии достигала 678 тысяч человек (356 тысяч французов и 322 тысячи союзников): 480 тысяч пехотинцев, 100 тысяч кавалеристов, 30 тысяч артиллеристов при 1000 орудий, остальные входили в состав понтонных команд и были заняты при обозе. Неман должны были перейти 400 тысяч человек.

Помимо этих корпусов, Наполеон располагал еще 150 тысячами солдат во Франции, 50 тысячами - в Италии, 300 тысячами - в Испании. Таким образом, всего он поставил под ружье 1 178 000 человек.

Для оказания сопротивления этой армаде Александр имел в своем распоряжении пять армий: 24 тысячи человек под командой Витгенштейна, оборонявших Ригу; 110 тысяч, входивших в состав Первой западной армии - на Двине, под началом военного министра Барклая-де-Толли; 37 тысяч Второй западной армии - в районе Смоленска, под командой князя Багратиона; 46 тысяч так называемой обсервационной армии, стоявшей в Луцке, под начальством генерала Тормасова; 50 тысяч резервной армии адмирала Чичагова, прибывшей из Румынии в Молдавию и Валахию. Всего - 267 тысяч человек, из которых непосредственно против Наполеона были сосредоточены 147 тысяч Первая и Вторая западные армии*.

При таком соотношении сил было понятно, что русская армия могла только отступать, противопоставляя Наполеону время, пространство, климат и тревожа с флангов его растянутые коммуникации. Это сознавали даже гражданские лица. Так, Ростопчин, назначенный генерал-губернатором Москвы, писал Александру: "Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате... Русский император всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске".

Однако этот способ ведения войны первоначально не был принят. Отчасти это объясняется тем, что ни Александр, ни генералы главного штаба не могли предположить, что Наполеон приведет к Неману такие громадные силы; полагали, что численность французской

армии не превысит 200 тысяч человек. К тому же повторялась аустерлицкая история: Александр слушал только советы генерала Фуля, прусского офицера на русской службе, второго Вейротера. Фуль предлагал обороняться силами двух армий: Первая западная армия должна была удерживать французов с фронта, а Вторая - действовать им во фланг и тыл. В Дриссе (на Двине) возводился укрепленный лагерь, от которого ожидали всяческих стратегических чудес**.

В начале апреля, при известии о приближении французских войск, Александр собрался выехать к армии, в Вильну. Он вновь, как и семь лет назад, желал быть действующим лицом, а не зрителем великой драмы.

9 апреля во время утреннего парада Александр обратился к войскам с воззванием. Солдаты закричали в ответ, что готовы пролить за него кровь. Александр от волнения не смог продолжать речь и залился слезами. В два часа пополудни, после молебствия в Казанском соборе, он отбыл из Петербурга. В его свите были герцог Ольденбургский, Румянцев, Кочубей, Толстой, государственный секретарь А. С. Шишков (сменивший Сперанского), Аракчеев, Беннигсен, Фуль, Балашов, Волконский и другие. Кроме них, царя сопровождал целый рой иностранцев - все, кто в Европе открыто ненавидел Наполеона: швед Армфельд, немцы Вольцоген и Винценгероде, эльзасец Анштетт, пьемонтец Мишо, итальянец Паулуччи, корсиканец Поццо ди Борго, пруссак Штейн и британский агент Роберт Вильсон. Эти иностранцы образовали военную партию, еще более непримиримую, чем самые ярые русские. Но вследствие совершенного незнания русского языка и России они годились только на то, чтобы получать высокие оклады и представлять перед царем мнение Европы, которым он столь дорожил.

Между тем в многолюдном русском штабе шумели и интриговали. "Пишут из Вильны, - сообщала одна петербургская дама своей знакомой, - что занимаются разводами, праздниками и волокитством, от старшего до младшего, по пословице: "Игуменья за чарку, сестры за ковши"; молодые офицеры пьют, играют и прочее. Все в бездействии, которое может почти казаться столбняком, когда подумаешь, что неприятель, самый хитрый, самый счастливый, искуснейший полководец в свете, исполинскими шагами приближается к пределам нашим..."

Все военные дружно выступали против плана Фуля, но вместо него каждый предлагал свою нелепицу и отвергал все другие. Это страшно раздражало Барклая-де-Толли, не одаренного ни красноречием, ни охотой к досужим спорам. Он ждал приезда царя, чтобы тот водворил в штабе хоть какое-то подобие дисциплины и субординации.

Александр появился в Вильне 14 апреля, в Вербное воскресенье. Барклай-де-Толли встретил государя в шести верстах от города; в предместье Александра ждали виленский магистрат, все городские цехи со знаменами и литаврами, еврейский кагал и горожане. Въезд состоялся под гром орудий и звон колоколов. Начались бесконечные приемы и торжества. Александр ласкал поляков: на них сыпались подарки, награды, придворные звания...

После Пасхи в Вильну прибыл посол Наполеона граф Нарбонн. Император остановил свой выбор на нем потому, что Нарбонн, бывший придворный кавалер при сестрах Людовика XVI, являлся в его свите единственным представителем старой монархической Франции. Наполеон опасался, что русские армии перейдут Неман раньше, чем корпуса Великой армии сосредоточатся в Восточной Пруссии и Варшавском герцогстве, и поручил Нарбонну по возможности успокоить царя и тем самым выиграть время.

В беседе с Нарбонном Александр указал ему на лежавшую на столе карту России.

- Я не ослепляюсь мечтами, - сказал он, - я знаю, в какой мере император Наполеон великий полководец, но на моей стороне, как видите, пространство и время. Во всей этой враждебной для вас земле нет такого отдаленного угла, куда бы я не отступил, нет такого пункта, который я не стал бы защищать, прежде чем согласиться заключить постыдный мир. Я не начну войны, но не положу оружия, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России.

Александр в беседе полностью подавил Нарбонна. Выйдя от царя, французский посол

признался:

- Государь в своей сфере был так хорош, все его рассуждения имели такую силу и были так логичны, что я мог отвечать ему лишь несколькими обыкновенными придворными фразами.

Нарбонн возвратился к Наполеону с известием, что русская армия не тронется с места. 16 мая император выехал к передовым частям Великой армии.

В Александре была решимость не терпеть дальше властолюбие Наполеона, возмущавшее его самолюбие и гордость. Но у него не было твердого и спокойного взгляда на способ ведения войны, на боевые качества армии и ее предводителей. Статс-секретарь Шишков, прибывший с ним в Вильну, удивлялся положению дел в главном штабе. Прежде всего, его сбивало с толку то обстоятельство, что Александр говорил о Барклае-де-Толли, как о главнокомандующем, а генерал отзывался о себе как об исполнителе распоряжений государя. Для тех, кто помнил Аустерлиц, это не предвещало ничего хорошего. Недоумевал Шишков и оттого, зачем в Вильну завезли множество военных и съестных припасов, если армия собирается отступать в Дрисский лагерь. "Зачем, думал я, - пишет Шишков, - идти в Вильну с намерением оставить ее и нести как бы на плечах своих неприятеля в глубь России?.. Разве бы неприятель, без отступления нашего, не пошел бы к нам?" Наконец, он изумлялся, чему обучали солдат накануне самой тяжелой и кровавой войны в истории России. Однажды ему случилось присутствовать при том, как великий князь Константин Павлович показывал солдатам, в каком положении следует держать тело и голову, где у ружья надлежит быть руке и пальцу, как красивее шагать, поворачиваться... Видимо, на лице Шихкова изобразилось такое удивление, что Константин Павлович полушутовски-полупрезрительно спросил его:

- Ты, верно, смотришь на это как на дурачество?

Шишков так смутился, что смог ответить только низким поклоном.

Генералы и флигель-адъютанты, окружавшие Александра, казалось, думали, что они находятся на маневрах или в веселой командировке. Единственным их желанием было упросить государя разрешить устроить бал. Сдавшись на их настойчивые просьбы, Александр дал свое согласие. Местом бала было выбрано имение Закрет, принадлежавшее Беннигсену. При подготовке к балу случилась странная история. За неимением в господском доме большой залы местному архитектору поручили соорудить в саду деревянную галерею. Накануне бала, назначенного на 12 июня, Александр получил записку, в которой неизвестный доброжелатель предупреждал его о том, что галерея выстроена с таким расчетом, чтобы обрушиться на гостей во время танцев. Александр поручил де Санглену осмотреть постройку. Едва де Санглен успел приехать в Закрет, как крыша и стены галереи рухнули на его глазах; остался стоять лишь помост для танцующих. Хватились архитектора, но оказалось, что он скрылся.

Когда де Санглен доложил Александру о случившемся, царь задумчиво покачал головой:

- Так это правда... - И тут же, воспрянув, добавил: - Поезжайте и прикажите помост немедленно очистить: мы будем танцевать под открытым небом.

Общество собралось в саду, где под цветущими померанцевыми деревьями уселись дамы, а около них встали мужчины. Возле уцелевшего помоста был накрыт большой стол. Вечер был тихий, небо слегка подернулось облаками; толпы приехавшего из города народа бродили по саду и вдоль реки.

В восемь часов приехал Александр. Он был очень хорош в мундире Семеновского полка, с синим воротником, оттенявшим белизну его лица. Он приветствовал мужчин и любезно поздоровался с дамами, которых обязал не вставать.

За столом разговор принял общий оживленный характер; чуть погодя Александр открыл бал. Военный оркестр в саду заиграл полонез. Александр пригласил первой г-жу Беннигсен, как хозяйку, потом графиню Барклай-де-Толли, потом графиню Шуазель-Гуфье. Каждой из них он говорил, что она лучше всех и затмила собой остальных. Последовавшая

вслед за полонезом кадрили всех разгорячила; Александр в пылу танца столкнулся с композитором Марлини, любимцем Вильны, подбиравшим с пола рассыпанные одной дамой ноты.

Ужинали при луне, которую царь шутливо называл фонарем, и ярких, сыпавших во все стороны огнях иллюминации. Ночь была такая тихая, что свечи в саду не гасли. Во время ужина Александр не садился, а все переходил от одной дамы к другой.

В этот час в двадцати верстах от Закрета русские караулы наблюдали другое зрелище: французские понтонеры наводили мосты через Неман. Глубокой ночью Балашов подошел к Александру и прошептал, что Великая армия начала переправу. Царь, не изменившись в лице, приказал ему молчать и продолжил веселье. Под утро он вернулся в Вильну и до полудня работал в кабинете, диктуя воззвания, приказы, рескрипты, рассылая курьеров и т. д. Днем он выехал из города. Вслед за ним в лихорадочной спешке Вильну покидали русские чиновники, обратившиеся в бегство вместе со своими семьями и пожитками. Улицы были запружены каретами, набитыми постелями, сундуками, люльками, клетками с перепуганными, бьющимися птицами... Во всем городе не осталось ни одной лошади, ни одного экипажа. Очевидец замечает, что Вильна стала похожа на Венецию: не было слышно ни стука копыт, ни скрипа колес.

Днем французским солдатам зачитали знаменитое воззвание Наполеона, которое заканчивалось словами: "Россия увлечена роком". В конце воззвания Александра к русской армии стояло: "На зачинающего Бог".

Из космополита, щеголяющего перед иноземцами просвещенным пренебрежением к соотечественникам, Александр превращался в сына Отечества, озлобленного его поруганием. Он был слабый, но вместе с тем правой стороной.

В первые дни нашествия Александр сделал последнюю попытку примирения направил к Наполеону Балашова с собственноручным письмом к императору; на словах парламентар должен был сказать от имени царя, что если Наполеон хочет говорить о мире, то он должен отвести свои войска назад, за Неман, иначе, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться на русской земле, русские не положат оружие. На прощание Александр сказал Балашову:

- Хотя, между нами сказать, я и не ожидаю от сего посольства прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит всем новым доказательством, что начали ее не мы.

Как и предполагал Александр, Наполеон отклонил все мирные предложения. В ответном письме император писал в характерном для него "роковом" тоне: "Даже Бог не может сделать, чтобы не было того, что произошло".

Посреди сумятицы и растерянности, вызванных мгновенным крушением плана Фуля и беспорядочным отступлением, Александр ощущал потребность в человеке, которому мог бы доверять, как самому себе. 14 июня Аракчеев вновь принял управление военными делами. "С одного числа, - вспоминал он, - вся французская война шла через мои руки: все тайные повеления, донесения и собственноручные повеления государя императора".

При отступлении к концу июня для русского командования стало выясняться подавляющее превосходство неприятельских сил, благодаря которому Наполеон надеялся разъединить обе русские армии - Барклая и Багратиона.

Александр - фельдмаршалу графу Салтыкову, 28 июня, из Дриссы:

"До сих пор благодаря Всевышнему все наши армии в совершенной целостности; но тем мудренее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело противу неприятеля, силами нас превосходнее, можно сказать смело, на всех пунктах. Противу нашей первой армии, составленной из 12 дивизий, у него их 16 или 17, кроме трех, направленных в Курляндию и на Ригу. Противу Багратиона, имеющего 6 дивизий, у неприятеля их 11. Противу Тормасова одного силы довольно равны. Решиться на генеральное сражение столь же щекотливо, как и от одного отказаться. В том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург, но, потеряв сражение, трудно будет исправиться

для продолжения кампании".

План Фуля - оборона дрисского лагеря - был оставлен; при приближении Наполеона никто и не думал защищать эту злополучную затею. Нового плана не было, поэтому пришлось оставить линию Двины. В русском штабе и армии поднялось величайшее ожесточение против "проклятого немца", грозившее перекинуться на самого Александра. Наиболее дальновидные головы начали помышлять об удалении царя из армии. Инициатива в этом щекотливом деле принадлежала Шишкову. В начале июля он заболел и не мог покидать главной квартиры в Дриссе. "Мысль во время болезни моей о скорой долженствующей на сем месте произойти битве, - писал он, - представлялась мне ежечасно. Безднадежность на успех нашего оружия и худые оттого последствия крайне меня устрашали. Несколько дней уже перед сим бродило у меня в голове размышление, что, может быть, положение наше приняло бы совсем иной вид, если бы государь оставил войска и возвратился через Москву в Петербург". Шишков написал письмо царю, но медлил с отправкой, не уверенный в том, что Александр прислушается к его мнению. На другой день к нему явился флигель-адъютант Чернышев, который принес на просмотр приказ Александра войскам. Приказ оканчивался словами: "Я всегда буду с вами и никогда от вас не отлучусь". Прочитав это, Шишков поначалу пришел в полное отчаяние, но вдруг встряхнулся, твердой рукой вычеркнул последнюю фразу и сказал Чернышеву:

- Донесите государю, что это зависит будет от обстоятельств и что он не может сего обещать, не подвергаясь опасности не сдержать данное им слово.

После ухода Чернышева Шишкову пришла в голову счастливая мысль. Он вспомнил, как Александр однажды сказал ему, подразумевая самого Шишкова, Балашова и Аракчеева: "Вы бы трое сходились иногда и что-нибудь между собой рассуждали". Шишков решил, что его письмо произведет на царя гораздо более сильное впечатление, если оно будет подписано не одним, а тремя лицами.

Балашов, выслушав Шишкова, сразу согласился с ним. Но Аракчеев колебался. Когда Шишков и Балашов сказали ему, что отъезд государя в Москву - единственное средство спасти отечество, Аракчеев прервал их:

- Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь далее при армии?

- Конечно, - в голос уверили его Шишков и Балашов, - ибо если Наполеон атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с государем? А если он победит Барклая, беда еще не велика!

Тогда Аракчеев подписал письмо и с вечера положил на стол Александру.

Царь утром прочитал его, но при докладе Аракчеева сказал только:

- Я читал ваше послание.

Однако на другой день (6 июля), к вечеру, велено было заложить коляску, чтобы ехать через Смоленск в Москву, а Шишков получил распоряжение написать воззвание к первопрестольной и манифест о созыве всеобщего ополчения. Александр взывал к духу русского народа, чтобы превратить столкновение с Наполеоном из политической ошибки в народную и священную войну.

Одновременно было принято важное решение: оставить дрисский лагерь, эти фулевские Фермопилы, и отступить к Витебску на соединение с армией Багратиона.

На пути к Витебску Барклай дважды отразил наседавших французов; в то же время Багратион, огрызаясь, умело уходил от преследования Даву. 22 июля обе русские армии встретились в Смоленске; план Наполеона бить русскую армию по частям не удался.

Наполеон начинал тревожиться; он понял, какова будет тактика русских, раньше, чем сами русские решительно склонились к ней: уходить в глубь страны, оставляя за собой пустыню. К концу июля мародерство, дезертирство, болезни опустошили ряды Великой армии больше, чем три генеральных сражения. На пути от Немана до Двины она потеряла 150 тысяч человек (в основном это были солдаты из иностранных контингентов, но даже молодая гвардия потеряла в одной из своих дивизий 4 тысячи человек из 7 тысяч).

И все же Наполеон теперь являлся обладателем берегов Двины и Днепра восточных границ бывшей Речи Посполитой. Благоразумие подсказывало ему закончить на этом кампанию этого года, укрепиться на достигнутых рубежах, восстановить уже не Польшу, а Речь Посполитую в ее былых границах, и тогда - кто знает, какой ход приняла бы всемирная история? Но не Россия, а сам Наполеон был увлечен роком - он неудержимо стремился вперед, к Москве, чтобы блестящим успехом утешить затаившую ненависть Европу и утолить собственную жажду невозможного. Поляки подзуживали его, крича, что пойдут за ним хоть в ад. Наполеон не понимал, что сделай он еще хоть шаг вперед и ему придется воевать не с Александром, не с его генералами, а с разъяренным народом, суровым климатом и необъятным пространством. Впереди его действительно ждал ад, но этот ад был ледяным!

Приезд Александра 11 июля в Москву вызвал всеобщее воодушевление. С рассветом Кремль наполнился народом. Выйдя в девять часов на Красное крыльцо, Александр был растроган видом восторженной толпы, кричавшей, заглушая звон колоколов:

- Веди нас куда хочешь, веди, отец наш! Умрем или победим!

Поклонившись народу, он открыл торжественное шествие к Успенскому собору. На каждой ступеньке Красного крыльца сотни рук хватали ноги и полы мундира царя, целуя их с благоговейными и восторженными слезами. Один мещанин из толпы, посмелее, вскочил на крыльцо прямо перед Александром и сказал ему:

- Не унывай! Видишь, сколько нас в одной Москве, - а сколько же по всей России? Все умрем за тебя!

Свита пыталась силой раздвигать ряды людей, но Александр остановил эти попытки:

- Не троньте, не троньте их, я пройду.

Процессия продвигалась очень медленно. Генерал-адъютант граф Комаровский вспоминал, что свита вынуждена была "составить из себя род оплота, чтобы довести императора от Красного крыльца до собора. Всех нас можно было уподобить судну без мачт и кормила, обуреваемому на море волнами... Это шествие продолжалось очень долго, и мы едва совершенно не выбились из сил. Я никогда не видывал такого энтузиазма в народе, как в это время".

При вступлении Александра в собор певчие по распоряжению епископа Августина запели: "Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его". Сам Августин приветствовал царя пышной речью:

- Оружием ты победил тысячи, а благодатью - тьмы. Ты и над нами победитель, ты торжествуешь и над своими. Царю! Господь с тобою: Он гласом твоим повелит буре, и станет в тишину, и умолкнут воды потопные. С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!

15 июля в Слободском дворце состоялось собрание дворянства и купечества Москвы, на котором те и другие соревновались в пожертвовании денег и рекрутов. Александр сообщал фельдмаршалу Салтыкову:

- В Смоленске дворянство предложило мне на вооружение 20 тысяч человек, к чему уже тотчас приступлено. В Москве одна сия губерния дает мне десятого с каждого имения, что составляет до 80 тысяч, кроме поступающих охотою из мещан и разночинцев. Денег дворяне жертвуют до трех миллионов, купечество же с лишком до десяти. Одним словом, нельзя не быть тронутым до слез, видя дух, оживляющий всех, и усердие и готовность каждого содействовать общей пользе.

Весь день 15 июля Александр сиял: он чувствовал себя не неудачным военачальником, выгнанным из армии, а русским царем. За большим обеденным столом он обратился к присутствующим:

- Этого дня я никогда не забуду.

Посещение Александром Москвы имело важные последствия - для хода войны, для всего русского общества и для самого царя. До того война, пусть и ворвавшаяся в глубь России, казалась всем войной обыкновенной, похожей на прежние войны, которые велись против Франции и Наполеона. Мало кто задумывался над ее истинными причинами и

характером. Мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войной, которая, подобно волне, должна была вознести Россию на самый гребень истории. Вначале у нее имелись не только горячие сторонники, но и ироничные противники, призывавшие не тягаться понапрасну силами с гениальным человеком. С приездом Александра в Москву война приняла характер народной. Все колебания, все разногласия в оценке войны исчезли вместе с мыслью о возможности мира с грозным врагом. Все сословия и состояния русского общества слились в одном, крепнувшем с каждым днем чувстве, что надо защищать Россию, ценой любых жертв спасать ее от нашествия. Причем чувство это не было мимолетной вспышкой казенного патриотизма, всеподданнейшим угождением желаниям и воле государя. Нет, это было проявление сознательного духовного единения между народом и царем, торжественного и радостного чувства общей принадлежности к великому делу справедливости и истины, которое выше и больше каждой отдельной судьбы.

В Москве Александр увидел мощь русского народа, материальную и духовную, которая ранее была скрыта от него. Отныне его восторженное состояние росло с каждым днем. Он испытал нечто вроде Божественного откровения о своем отечестве, своем народе и, значит, о самом себе, и душа его всецело отдалась Провидению; его сердце и его ум стали ощущаться им как бы даром небес, тончайшими органами познания Божественного замысла о мире и о России; то, что прежде было скрыто во мраке, чудесным образом прояснилось и наполнило его душу радостной благодарностью Творцу. Так, по крайней мере, Александр объяснял себе это настроение и впоследствии неоднократно говорил и писал о душевном перевороте, произошедшем с ним в Москве летом 1812 года. Видимо, с этих пор и появились в нем зачатки позднейшего мистицизма и тех чувств, которые привели к созданию Священного союза.

Конечно, перемена его настроения произошла не сразу. В разговоре с фрейлиной Стурдзой, состоявшемся по приезде в Петербург, Александр, поведав о триумфальных московских днях, добавил:

- Мне жаль только, что я не могу, как бы желал, отвечать на преданность этого чудного народа.

- Как же это, государь? Я вас не понимаю.

- Да, этому народу нужен вождь, способный вести его к победе, а я, к несчастью, не имею для того ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость протекла под сенью двора; если бы тогда меня доверили Суворову или Румянцеву, они образовали бы меня для войны, и, может быть, я сумел бы предотвратить бедствия, которые угрожают нам теперь.

- Ах, государь, не говорите этого, - ужаснулась фрейлина. - Верьте, что ваши подданные знают цену вам и ставят вас во сто крат выше Наполеона и всех героев в свете.

Александр слабо улыбнулся на эту неприкрытую лесть.

- Мне приятно верить этому, потому что вы говорите это. У меня нет качеств, необходимых для того, чтобы исправлять, как бы я желал, должность, которую я занимаю, но, по крайней мере, у меня не будет недостатка в мужестве и в силе воли, чтобы не погрешить против моего народа в настоящий страшный кризис. Если мы не дадим неприятелю напугать нас, этот кризис может разрешиться к нашей славе. Неприятель рассчитывает поработить нас миром, но я уверен, что если мы настойчиво отвергнем всякое соглашение, то в конце концов восторжествуем над всеми его усилиями.

- Такое решение, государь, достойно вашего величества и единодушно разделяется народом, - заверила его Стурдза.

- Это и мое убеждение, - заключил Александр. - Я требую от него одного: не ослабевать в усердии приносить великодушные жертвы, и я уверен в успехе. Лишь бы не падать духом, и все пойдет хорошо.

Эти слова прозвучали как самозаклинание. Александр пытался осмыслить и закрепить свою новую роль, свое место и значение в общем духовном подъеме.

Похожие мысли он высказал и при встрече с г-жой де Сталь, приехавшей в это время в Петербург. Известная писательница, исколесившая всю Европу в поисках того человека, той

силы, которая могла бы сокрушить Наполеона, нашла этого человека и эту силу в России - Александра и русский народ.

"Убедившись в чистосердечии отношений императора Александра к Наполеону, - писала г-жа де Сталь, - я в то же время уверилась, что он не последует примеру несчастных государей Германии и не подпишет мирный договор с тем, кто настолько же является врагом народов, как и врагом королей. Благородная душа не может быть дважды обманута одним и тем же лицом.... Александр выразил мне свое сожаление, что он не великий полководец; на это проявление благородной скромности я ответила ему, что государь представляет более редкое явление, чем генерал, и что поддерживать своим примером дух своего народа равносильно выигрышу самого важного сражения... Император с восторгом говорил мне о своем народе и о том, чем он способен сделаться в будущем. Он выразил мне желание, которое всем известно, улучшить положение крестьян, еще находящихся в крепостной зависимости. "Государь, - сказала я ему, - ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть служит гарантией этого". "Если бы это и было так, - ответил он, - я был бы не чем иным, как счастливой случайностью". Чудные слова, первые, как мне кажется, в таком роде, произнесенные каким-либо самодержавным государем! Сколько нужно нравственных достоинств, чтобы судить о деспотизме, будучи деспотом, и для того, чтобы никогда не злоупотреблять неограниченной властью, когда народ, находящийся под этим правлением, почти удивляется столь большой умеренности".

Словом, Александр, умевший быть, по словам Сперанского, "сущим прельстителем", полностью очаровал знаменитую гостью. Это была не просто обычная светская любезность; г-жа де Сталь представляла "великие интересы Европы", о которых Александр никогда не забывал.

Известия с фронта поступали самые неутешительные: русские армии продолжали отступать. С каждым днем в войсках все острее ощущалась потребность в единоначалии, так как ко всем прочим бедам прибавилась еще одна - раздоры между Барклайем и Багратионом, принявшие совершенно непристойную форму. Особенно горячился князь Петр Иванович. Вот, например, что он писал Аракчееву 7 августа: "Надо командовать одному над двумя. Ваш министр (Барклай), может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, а ему отдали судьбу всего нашего отечества! Я, право, с ума схожу от досады и, простите меня, дерзко пишу... Итак, я пишу вам правду: готовьтесь ополчением, ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя... Министр Барклай на меня жаловаться не может: я не токмо учтив против него, но и повинуюсь, хотя и старше его. Это больно, но, любя моего благодетеля и государя, - повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию!.. Чего трусить и кого бояться? Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен, имеет все худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругает его насмерть... Ох, грустно, больно, никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь. Вся надежда на Бога! Я лучше пойду солдатом... воевать, нежели быть главнокомандующим и с Барклайем".

Вся вина Барклая заключалась в том, что он носил иностранную фамилию, командовал войском, недостаточно многочисленным для наступления, и не имел достаточного личного дарования и доверия со стороны армии и общества, чтобы убедить всех в неизбежности и планомерности своего образа действий, к которому его вынуждала сила обстоятельств. Упорное сопротивление, оказываемое французам при отступлении, разрушение первоначального замысла Наполеона о разъединении русских армий приписывали коренному качеству русского солдата - стойкости, и потому на долю Барклая выпадали лишь обвинения в трусости и бездарности. По словам современника, русские, "изверившись совершенно Барклаю, полагали единственную надежду на князя Голенищева-Кутузова; одна у всех мысль, один разговор; возмущены женщины, старые, молодые, - одним словом, все состояния, все возрасты нарекли его единодушно спасителем отечества; единогласно призывали его, громко везде раздавалось, что погибель наша неизбежна, когда не будет предводительствовать армией князь Голенищев-Кутузов".

Военные дарования Кутузова были, бесспорно, выше полководческих способностей Барклая (точно так же, как благородным прямодушием и чистотой нравов Михаил Богданович превосходил Михаила Илларионовича, льстивого царедворца, искателя наград и отличий и женолюбивого старца), но армейские и придворные интриги, имевшие целью удалить Барклая из армии, были недостойны ни ума, ни таланта Кутузова, так как бросали тень на рыцарски безупречного командующего Первой армией. Багратион, Ермолов, Платов не без ведома Кутузова буквально травили доблестного Барклая, которого никак нельзя было обвинить в недостатке любви к России и который доказал это своим поведением при Бородино.

Отношение Александра к Кутузову не изменилось со времен Аустерлица. Царь, привыкший к немецкой методичности и строгости своего отца, был недоволен тем чисто русским добродушием с оттенком безалаберности, с которым Михаил Илларионович относился к делам в бытность свою киевским губернатором и командующим Дунайской армией. Презирая человеческие слабости заслуженного старика, Александр вместе с тем чувствовал превосходство его ума, того ума, о котором Суворов как-то с восхищением сказал: "Помилуй Бог! Михайло Илларионович умный человек, его сам де Рибас не проведет!" (де Рибас считался большим хитрецом). Это превосходство царь не прощал никому. На свою беду, Кутузов не только оказался прав в Аустерлицком сражении, но и закончил турецкую войну до приезда Чичагова, головы, посланной царем поучить уму-разуму командующего Дунайской армией. Поэтому Михаил Илларионович возвратился в Петербург хотя и победителем, но полуопальным сановником, которого обвиняли в скромном поведении по отношению к туркам (иначе говоря, в человечности к побежденным). Но Кутузов даже из немилости сумел сделать для себя новое отличие. Вскоре петербургский и московский высший свет, фрондировавший против царя, объявил Кутузова единственным спасителем отечества.

Первым знаком доверия к нему со стороны общества стало избрание его петербургским дворянством начальником ополчения. Кутузов произвел сильное впечатление в дворянском собрании, когда вместо ожидаемой речи произнес растроганным голосом только: "Господа, вы украсили мои седины" - и с дальновидной предусмотрительностью добавил, что, состоя на службе его величества, он может принять начальство над петербургским ополчением только до тех пор, пока государю не будет угодно призвать его к исполнению других обязанностей. В должности начальника ополчения он продолжал поддерживать внимание к себе, участвуя в народных молениях о победе и вращаясь в свете. Благодаря своей ловкости и вкрадчивому обхождению со всеми слоями общества Кутузову удалось искусно предупредить намерение Александра оставить его в тени - он был пожалован княжеским званием с титулом светлости. Но убедить Александра назначить его главнокомандующим могли, конечно, только исключительные обстоятельства: ссора Багратиона с Барклаем, приближение французов к Москве и невозможность оставлять долее командование в руках Барклая, к которому царь вообще питал искреннее расположение. К замене Барклая царя толкало не только мнение общества, но и давление со стороны великого князя Константина Павловича, который осуждал отступление, постоянно вмешивался в распоряжения командующего Первой армией и в конце концов был отослан им в Петербург под видом поручения к государю.

Уступая силе обстоятельств, Александр уполномочил решить вопрос о главнокомандующем специально созданный чрезвычайный комитет в составе фельдмаршала Салтыкова, генерала Вязмитинова, графа Аракчеева, генерал-адъютанта Балашова, князя Лопухина и графа Кочубея. 5 августа на заседании в Каменноостровском дворце члены чрезвычайного комитета единогласно передали командование обеими русскими армиями Кутузову; Барклай был удален с поста военного министра, который занял князь Александр Иванович Горчаков.

На аудиенции 8 августа Александр объявил Кутузову решение чрезвычайного комитета и предоставил Михаилу Илларионовичу полную свободу действий, за исключением одного -

вступать в какие бы то ни было переговоры с Наполеоном; помимо этого царь предписал в случае удачного оборота войны милостиво обращаться с теми подданными западных губерний империи, которые забыли о своем долге. Прощаясь с государем, Кутузов заверил его, что скорее ляжет костями, чем допустит неприятеля к Москве.

Подчинившись воле общества, Александр не скрыл своих истинных чувств. В тот же день он сказал графу Комаровскому:

- Публика желала его назначения - я назначил его. Что касается меня, то я умываю руки.

Через три дня Кутузов выехал к армии. Он нашел обе русские армии в Царево-Займище, на позиции, выбранной Барклаем для генерального сражения. Поздоровавшись с почетным караулом, Михаил Илларионович громко произнес:

- Можно ли все отступить с такими молодцами?

Эти слова тут же разнеслись по армии. Люди приободрились, по бивуакам раздавалось брошенное кем-то словцо: "Приехал Кутузов бить французов". Тем сильнее были недоумение и уныние, когда на следующий день был получен приказ главнокомандующего: сняться с позиций и отступить к Москве.

Дряхлый, обрюзглый, одноглазый, но умудренный опытом Кутузов не мог, подобно многим горе-богатырям, гоняться за богатырскими подвигами. Он сделал больше: сознавая ответственность перед Россией и военные способности Наполеона, ограничил свое честолюбие рамками того самого скромного поведения, которое недавно принесло успех на Дунае, и, прилагая все свое влияние и обаяние для обуздания нетерпения своих сподвижников, направил течение войны к победному исходу. Он подтолкнул Наполеона, который уже и так стоял на краю пропасти, сделать роковой шаг.

II

Худо, худо, ах, французы,

В Ронсевале было вам:

Карл Великий там лишился

Лучших рыцарей своих.

Н. М. Карамзин

Не проявив - уже в который раз - военного дарования, Александр занялся тем, что было ему ближе, - дипломатической деятельностью и здесь достиг более значительных успехов, чем на полях сражений.

10 августа он отправился в Або на свидание с Бернадотом, чтобы укрепить союз личным знакомством и обеспечить неприкосновенность Финляндии. Наследный принц Шведский прибыл в Або тремя днями позже царя - 15 августа.

Оба государя, имевшие только одну общую черту - ненависть к Наполеону, старались перешеголять друг друга в любезности и обаянии. Когда, например, Бернадот коснулся вопроса о возвращении Швеции Аландских островов, Александр ответил:

- С удовольствием исполнил бы просьбу вашего высочества, если бы не был совершенно уверен в том, что такая уступка повредит мне в мнении народа. Для меня лучше отдать вам Ригу, но только в залог до совершенного исполнения заключенных между нами условий.

Бернадот горячо возразил, что слово Александра для него важнее всякого залога. Царь пожал ему руку со словами, что никогда не забудет столь высокого доверия. Принц не только отказался от своих требований, но даже предложил усилить корпус Витгенштейна шведскими войсками, предназначенными для оккупации Норвегии.

- Ваш поступок прекрасен, но могу ли я принять такое предложение? воскликнул Александр. - Если я сделаю это, то каким образом вы получите Норвегию?

- Если успех будет на вашей стороне, - ответил Бернадот, - я получу ее - вы сдержите ваше обещание. Если же вы будете побеждены, Европа подвергнется порабощению, все государи будут подчинены произволу Наполеона, и тогда лучше быть простым пахарем, чем царствовать на подобных условиях.

Царь принял помощь и в свою очередь, чтобы не остаться в долгу, предложил Бернадоту 35-тысячный русский десант для совместных действий со шведскими войсками против французских войск в Германии. К счастью, Бернадот отклонил это предложение.

Вообще, стремление быть любезным порой заводило Александра слишком далеко - дальше, чем он хотел и чем это было нужно для интересов России. Так, помимо странной мысли послать для обороны шведских границ целую армию (это в то время, когда у Кутузова был на счету каждый солдат, а Наполеон подходил к Москве!), Александр совершил еще один легкомысленный шаг обнадежил Бернадота возможностью сменить Наполеона на престоле Франции, что совпадало с тайной мечтой честолюбивого маршала. Этот неосторожный жест привел ко многим недоразумениям в 1814 году.

В Петербурге царя ожидал английский посланник генерал Вильсон, прибывший из главной квартиры русской армии с весьма странным поручением. Он назвал себя уполномоченным армией, но не уточнил, кто конкретно стоял за ним. По его словам выходило, что всякое предложение о переговорах с Наполеоном будет встречено армией не как выражение действительной воли государя, а как следствие предательских влияний на него со стороны других лиц и что армия готова продолжать войну, пока неприятель не будет изгнан; более того, он недвусмысленно дал понять, что доверие армии к Александру поколеблено и может быть восстановлено только путем удаления им от себя лиц, заслуживших всеобщее недовольство, - Барклая и Румянцева.

Судя по всему, Вильсон выражал мнение военачальников вроде Багратиона, Ермолова и Платова, недовольных Барклаем (Платов, например, заявил Барклаю после оставления Смоленска, что отныне считает позором носить русский мундир!). Правда, еще вероятнее, что он был уполномочен не столько русской армией, сколько Англией, где все еще не верили в решимость царя продолжать войну не на жизнь, а на смерть и, видимо, решили укрепить ее, пускай и путем шантажа.

Действительно, слова Вильсона произвели на Александра сильное впечатление: в продолжение речи генерала он несколько раз менялся в лице. Связать смысл сказанного с угрозой нового 11 марта было нетрудно. Когда Вильсон замолчал, Александр отошел к окну и минуты две безмолвствовал. Впрочем, он скоро взял себя в руки. Приняв обычный любезный вид, царь подошел к Вильсону, обнял его и сказал:

- Вы единственный человек, от которого я мог выслушать это сообщение. Но вам нетрудно понять, в какое тяжелое положение вы поставили меня - меня, государя России! Я подумаю обо всем, что вы сказали мне.

С этими словами царь обнял Вильсона еще раз и назначил ему аудиенцию на следующий день.

При их новой встрече Александр уже полностью владел собой, на его лице и в его речах не было ни тени вчерашней растерянности. Он встретил Вильсона добродушно-шутливым приветствием, назвав его "послом бунтовщиков", и затем сказал:

- Я думал всю ночь о нашем вчерашнем разговоре. Вы повезете в армию уверения в моей решимости продолжать войну с Наполеоном, пока хоть один вооруженный француз будет оставаться в пределах России. Я не отступлю от своих обязательств, что бы ни случилось. Я готов отправить свое семейство в отдаленные губернии и принести всевозможные жертвы, но что касается выбора моих собственных министров, то в этом деле я не могу делать уступок. Такая сговорчивость повлекла бы за собою другие требования, еще более неуместные и неприличные. Граф Румянцев не подаст повода ни к какому несогласию либо разномыслию... Дайте мне время - все будет устроено к лучшему.

При отъезде Вильсона царь еще раз заверил его в главном: он не заключит мира ("Лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири"). Обе императрицы, деятельно поддерживавшие решимость супруга и сына, подтвердили эти слова.

30 августа, в день своего тезоименитства, Александр получил донесение Кутузова о Бородинском сражении, которое, как писал главнокомандующий, "кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни шаг земли с превосходными своими силами". Затем,

добавлял Михаил Илларионович, заночевав на поле сражения, он утром отступил за Можайск ввиду огромных потерь в войсках.

Донесение Кутузова было встречено при дворе как победная реляция. Михаил Илларионович был произведен в генерал-фельдмаршалы и пожалован 100 тысячами рублей. Барклаю-де-Толли, проявившему чудеса мужества и хладнокровия, был послан крест святого Георгия 2-й степени, а смертельно раненному Багратиону - 50 тысяч рублей. Еще 14 генералов получили крест святого Георгия 3-й степени, нижним чинам было роздано по пять рублей.

На другой день донесение Кутузова было напечатано в "Северной почте", за исключением строк: "Ваше императорское величество, изволите согласиться, что после кровопролитнейшего и пятнадцать часов продолжавшегося сражения наша и неприятельская армии не могли не расстроиться, и за потерю, сей день сделанную, позиция, прежде занимаемая, естественно, стала обширнее и войскам несовместною, а потому, когда дело идет не о славе выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, я взял намерение отступить шесть верст, что будет за Можайском".

Читая донесение о Бородинской битве, все повторяли летучую фразу Ермолова: "Французская армия расшиблась о русскую". Это было не совсем верно, скорее французская армия сильно ушиблась. Кутузов был вправе отрицать поражение, но дальнейшее отступление было необходимо, так как примерно равные потери сделали соотношение сил еще более неблагоприятным для русской армии: если утром она насчитывала около 120 тысяч человек против 130-135 тысяч французов, то к вечеру 90-тысячной армии Наполеона могло противостоять только 60-70 тысяч русских.

Тем не менее генерал-адъютант граф Чернышев в тот же день, 30 августа, повез Кутузову приказ Александра совершенно истребить полчища Наполеона, дабы "без поражения вконец и совершенного истребления из пределов наших отступить не могли". Согласно привезенным Чернышевым указаниям, эта цель должна была быть достигнута действиями Кутузова с фронта, а Чичагова и Витгенштейна - с тыла французской армии. Каждому русскому корпусу предписывались точные сроки и маршруты движения.

В Петербурге потянулись дни томительного ожидания. Только 7 сентября Александр получил краткое известие от Ростопчина о том, что Кутузов, обманув его, оставил Москву. На следующий день пришло донесение самого фельдмаршала.

Донесение Кутузова привез полковник граф Александр Францевич Мишо де Боретур, пьемонтский эмигрант на русской службе, пользовавшийся доверием государя. Он был немедленно препровожден к царю. Взглянув на скорбное лицо курьера, Александр спросил:

- Вы, вероятно, привезли печальные вести, полковник?
- К несчастью, государь, весьма печальные: Москва нами оставлена.
- Как! Разве мы проиграли сражение или мою древнюю столицу отдали без боя?
- Государь, - ответил Мишо, - окрестности Москвы не представили, к сожалению,

выгодной позиции для сражения со слабейшими против неприятеля силами, и потому фельдмаршал Кутузов был уверен, что избрал спасительную меру, сохранив вашему величеству армию, гибель которой не могла бы спасти Москвы, но имела бы самые пагубные последствия. Теперь же армия, получив все назначенные вашим величеством подкрепления, которые я всюду встречал по дороге, будет иметь возможность начать наступательные действия и заставить раскаяться неприятеля, дерзнувшего проникнуть в сердце вашей империи.

- Вступил ли неприятель в Москву? - спросил Александр.

- Да, государь, и в эту минуту она уже превращена в пепел. Я оставил ее объятую пламенем.

- Слезы показались на глазах Александра.

- Боже мой, сколько несчастий! - воскликнул он. - Какие печальные вести вы мне сообщаете, полковник!

- Не огорчайтесь сильно, государь, армия вашего величества ежедневно умножается.

Царь промокнул платком глаза и глубоко вздохнул.

- По всему вижу я, что Провидение ожидает от нас великих жертв, в особенности же от меня, и я готов покориться Его воле. Но скажите мне, Мишо, в каком настроении оставили вы армию, когда она узнала, что моя древняя столица оставлена без выстрела? Не подействовало ли это на дух войск? Не заметили ли вы в солдатах упадка мужества?

Испросив разрешение говорить откровенно, Мишо сказал:

- Государь, сердце мое обливается кровью, но я должен признаться, что оставил армию - начиная от главнокомандующего и до последнего солдата - в неопisanном страхе...

- Что вы говорите, Мишо! - ужаснулся Александр. - Отчего происходит этот страх? Неужели мои русские сокрушены несчастьем?

- О нет, государь, - продолжил лукавый пьемонтец, довольный тем, что его нехитрый словесный маневр удался, - они только боятся, чтобы ваше величество, по доброте вашего сердца, не заключили мира. Сами они горят желанием сразиться и доказать вам свою храбрость и преданность.

- Полковник, вы облегчили мое сердце! - ожившим голосом сказал Александр, ударив Мишо по плечу. - Вы успокоили меня. Возвращайтесь же в армию, скажите нашим храбрецам, скажите моим верноподданным всюду, где вы будете проезжать, что если у меня не останется ни одного солдата, то я сам стану во главе любезного мне дворянства и добрых моих крестьян, буду сам предводительствовать ими и пожертвую всеми средствами моей империи. Россия предоставляет мне более ресурсов, чем полагает неприятель. Но если Божественным Промыслом предназначено роду моему не царствовать более на престоле моих предков, то, испытав все средства, которые будут в моей власти, я отращу себе бороду до сих пор, - он указал рукой на грудь, - и лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, нежели подписать позор моего отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить! Провидение испытывает нас, будем надеяться, что оно нас не оставит.

Он в волнении зашагал по комнате, лицо его пламенело.

- Полковник Мишо, - вдруг сказал он, остановясь, - запомните то, что я теперь скажу вам: Наполеон или я, он или я - но вместе мы царствовать не можем. Я узнал его, он более меня не обманет.

Письмо Наполеона от 8 сентября, в котором французский император отклонял от себя ответственность за сожжение Москвы, было оставлено без ответа. В то же время Александр поспешил заверить своих союзников, что война продолжается.

Александр - Бернадоту, 19 сентября:

"Потеря Москвы дает мне случай представить Европе величайшее доказательство моей настойчивости продолжать войну против ее угнетателя. После этой раны все прочие ничтожны. Ныне более чем когда-либо я и народ, во главе которого я имею честь находиться, решились стоять твердо и скорее погresti себя под развалинами империи, нежели примириться с Аттилою новейших времен".

Между тем в малодушных советах не было недостатка: великий князь Константин Павлович, Румянцев, Аракчеев выражали сомнение в успехе дальнейшей борьбы. Но Александр оставался непреклонен. "Император тверд и слышать не хочет о мире", - записал в эти дни французский эмигрант Жозеф де Местр. Царь распорядился привлечь все наличные силы для защиты Петербурга и Кронштадта, Балтийский флот был предоставлен в распоряжение Англии. Ему пришлось бороться с паническими настроениями не только при дворе, но и в своей семье. Марии Федоровне, которая хотела уехать из Петербурга, так как считала, что Наполеон со дня на день займет столицу, Александр сказал:

- Государыня, я прошу вас как сын, а как государь - приказываю вам остаться.

Неожиданную поддержку Александр обрел в своей супруге, императрице Елизавете Алексеевне, которая целиком разделяла его непримиримость. Последние годы отношения супругов ограничивались рамками приличий, в них не было интимной теплоты. Теперь же Елизавета Алексеевна сделала первый шаг к примирению и всячески старалась утешить Александра и поддержать в нем решимость. "Это его тронуло, - вспоминает фрейлина

графиня Эдлинг, - и в дни страшного бедствия в их сердца пролился луч взаимного счастья".

Все же всеобщее удручающее впечатление от сдачи Москвы чувствовалось настолько сильно, что Александру приходилось опасаться внезапной вспышки недовольства. Полиция доносила ему, что в народе растет раздражение против правительства и особы государя. При дворе опасения перед бунтом были так велики, что 15 сентября, в день коронации Александра, ему советовали ехать в Казанский собор не верхом, а в карете вместе с императрицами. Александр в первый и последний раз в жизни уступил советам боязливой благоразумия. Действительно, контраст между недавним московским триумфом и этим выездом был разителен. Притихшая толпа проводила царский поезд мрачными взглядами; ни в пути, ни в то время, когда Александр поднимался по ступеням в собор, не раздалось ни одного приветственного крика; в мертвой тишине были слышны лишь шаги царя и придворных по каменным плитам. Казалось, достаточно одного негодующего возгласа - и толпа бросится на государя; однако все обошлось благополучно.

Несмотря на беспокойную обстановку в городе, Александр продолжал прогуливаться один по каменноостровским рощам, а его дворец по-прежнему не охранялся. Однако ему стоило больших усилий сохранять видимое спокойствие и бодрость духа. Гибель Москвы потрясла его - он признавался, что в эти дни ничто не могло рассеять его мрачных мыслей. Это подавленное состояние ускорило духовный переворот, зревший в нем. Однажды он поделился своими переживаниями с князем А. Н. Голицыным. Голицын, некогда легкомысленный и легковесный эпикуреец, вот уже несколько лет как остепенился и наибольшее удовольствие в жизни находил в чтении Библии, которую изучал с ревностью неопита. Выслушав Александра, он робко предложил царю "почерпнуть утешение" из этого источника. Александр ничего не ответил, но несколькими днями позже, придя к жене, спросил, не может ли она дать ему почитать Библию (у себя Александр этой книги еще не держал). Елизавета Алексеевна с радостным удивлением протянула ему изящный томик, лежавший у нее на столе. Александр ушел к себе и сразу принялся за чтение. Пораженный словами и образами великой книги, он стал подчеркивать те места, которые соответствовали его положению и душевному состоянию, и когда он перечитывал их, ему казалось, что какой-то дружеский голос придавал ему силы. Впоследствии Александр признавался прусскому епископу Эйлерту: "Пожар Москвы осветил мою душу и наполнил мое сердце теплотою веры, какой я не ощущал до тех пор. Тогда я познал Бога". Деист превратился в христианина.

Тем временем тарутинский маневр Кутузова начал приносить первые плоды: русская армия отдохнула, пополнила свои ряды, воспрянула духом. По словам Вильсона, выгоду избранной главнокомандующим позиции теперь осознавали все - от генерала до последнего солдата: "Не было уже отчаяния, прекратился ропот осуждения; час мнимого стыда и унижения миновался, возвратилась уверенность. Солдаты вновь ободрились, предвидя борьбу с неприятелем; в самой их поступи, в самом обращении с оружием виделась их готовность сразиться, прорвать вражеские ряды и отбить свои пылающие жилища".

В окрестностях Москвы возникло и ширилось партизанское движение. Начавшись с действий в тылу у французов небольших отрядов гусар и казаков, оно, по мере вовлечения в него крестьян, приняло откровенно разбойничий облик и черты бесчеловечной свирепости, что было, конечно, неизбежно при смешении истинных защитников отечества с людьми, искавшими в народной войне лишь прикрытия своим зверским наклонностям. Кутузов в общем не одобрял привлечения к партизанской войне нерегулярных отрядов и в письмах называл их действия разбойничьими, однако он прекрасно понимал их значение и не препятствовал "разбойничкам" заниматься своим делом - как-никак каждый день пребывания в Москве стоил Великой армии 500 человек. Стремясь продлить, насколько возможно, пребывание Наполеона в разрушенной и сожженной Москве, Михаил Илларионович приказывал партизанам распускать ложные слухи о слабости русской армии, тем самым поддерживая в Наполеоне надежду на скорый мир.

В то же время в Петербурге среди людей, не видевших и не понимавших благотворного

значения тарутинского "стояния", росло число врагов главнокомандующего. Если не самым ярким, то самым крикливым из них был Ростопчин, называвший Кутузова старой бабой, которая потеряла голову и думает что-нибудь сделать, ничего не делая. Он советовал царю для предотвращения мятежа в армии и в стране отозвать этого "старого болвана и пошлого царедворца", "гнусного эгоиста", пришедшего "от старости лет и развратной жизни почти в ребячество", который только "спит и ничего не делает".

Немногие понимали значение "бездеятельности" Кутузова. Так, генерал Кнорринг в ответ злым языкам, утверждавшим, что главнокомандующий спит по восемнадцать часов в сутки, говорил: "Слава Богу, что спит; каждый день его бездействия стоит победы. Он возит с собой переодетую в казацкое платье любовницу. Румянцев возил их по четыре. Это не наше дело".

Александр по-прежнему принадлежал к числу недоброжелателей главнокомандующего, как бы возглавляя оппозицию непонимания. Одним из ярких свидетельств тому был случай с посольством Лористона.

Вскоре после вступления в Тарутино Кутузов получил письмо от начальника главного штаба Великой армии Бертье, в котором говорилось о желании Наполеона направить в русский лагерь посла с важными поручениями. Письмо поставило Кутузова в крайне затруднительное положение: считая, что было бы полезно завязать переговоры с Наполеоном, так как это позволяло выиграть время, он вместе с тем чувствовал себя связанным словом, данным царю при назначении на должность главнокомандующего, - не вступать ни в какие переговоры с неприятелем. После долгих колебаний Михаил Илларионович поступил так, как находил наиболее полезным: медлил с ответным письмом, затем до вечера держал Лористона на русских форпостах, приказав одновременно шире раскинуть лагерные костры и петь веселые песни, и наконец принял французского посла у себя в кабинете, надев по такому случаю (первый раз за все время главнокомандования) мундир.

Лористон начал с наболевшего - с жестокостей партизанской войны. Кутузов возразил, что он бессилен что-либо предпринять, поскольку жестокость является лишь выражением негодования народа против завоевателей. Тогда Лористон перешел к главному.

- Неужели эта небывалая, эта неслыханная война должна продолжаться вечно? - воскликнул он. - Император искренне желает положить предел этой распри между двумя великими и великодушными народами и прекратить ее навсегда.

Михаил Илларионович ответил, что не имеет никаких полномочий на этот счет.

- При назначении меня в армию, - сказал он, - и названия мира ни разу не было упомянуто. Я навлек бы на себя проклятие потомства, если бы сочли, что я главный виновник какого-либо соглашения, - таков в настоящее время образ мыслей нашего народа.

Лористон попросил выписать ему пропуск для проезда в Петербург, где он надеялся получить аудиенцию у Александра. Кутузов отказал ему в этом, обещав, однако, известить государя о желании французского посла.

Таким образом, Михаил Илларионович блестяще выполнил свой план, дав отпор Лористону по всем пунктам и тем не менее обнадежив его относительно успеха переговоров в будущем. Но Александр, будучи извещен о разговоре с Лористоном, увидел в этом лишь нарушение его воли. Главнокомандующий получил нагоняй в собственноручном письме государя. "Из донесения вашего, писал Александр, - с князем Волконским полученного, известился я о бывшем свидании вашем с французским генерал-адъютантом Лористоном. При самом отправлении вашем к вверенным вам армиям, из личных моих с вами объяснений известно вам было твердое и настоятельное желание мое устраняться от всяких переговоров и клонящихся к миру сношений с неприятелем. Ныне же, после сего происшествия, должен с такою же решимостью повторить вам: дабы сие принятое мною правило было во всем его пространстве строго и непоколебимо вами соблюдаемо... Все сведения, от меня к вам доходящие, и все предначертания мои, в указах на имя ваше изъясняемые, и одним словом все убеждает вас в твердой моей решимости, что в настоящее время никакие предложения

неприятеля не побудят меня прекратить брань и тем ослабить священную обязанность: отомстить за оскорбленное отечество".

Александра, вытерпевшего недавно большое унижение в разговоре с Вильсоном, можно было понять: в то время как он делал уступки "армии", которая, по словам "посла бунтовщиков", готова была на государственный переворот в случае переговоров государя с противником, главнокомандующий этой самой армией самовольно завязывал сношения с Наполеоном. Кроме того, Александр со все возрастающим нетерпением ожидал, когда же скажутся те выгоды позиции в Тарутино, о которых писал ему Кутузов после оставления Москвы. Не видя и не зная настоящего положения французов, он тревожился о безопасности Петербурга и 4 октября писал Михаилу Илларионовичу: "На вашей ответственности будет, если неприятель окажется в состоянии отрядить значительную часть сил в Петербург, где осталось немного войск... Вспомните, что вы еще должны отвечать оскорбленному отечеству за потерю Москвы..." Это старание выставить в рескриптах Кутузова виновником потери древней столицы, в то время как он уже сделал все, чтобы вызвать агонию французской армии, было и нетактично, и неумно.

Наконец царь услышал долгожданную весть о победе - 15 октября полковник Мишо привез в Петербург донесение Кутузова о Тарутинском сражении. Впервые французы (из корпуса Мюрата, которому было поручено наблюдать за тарутинским лагерем) бежали перед русскими, потеряв не менее 2 тысяч человек.

Новость привела Александра в восторг, который еще более увеличился, когда Мишо заявил ему о желании армии видеть государя в своих рядах. Однако чутье подсказало ему не торопиться возглавить войска, пока силы Наполеона еще не окончательно подорваны.

- Все люди честолюбивы, - сказал Александр Мишо, - признаюсь откровенно, что и я честолюбив не менее других. Знаю, что если бы я находился при армии, то вся слава отнеслась бы ко мне и что я занял бы место в истории. Но пусть пожинают лавры те, которые более меня достойны их. Возвращайтесь в главную квартиру, поздравьте князя Михаила Илларионовича с победой и скажите ему, чтобы он выгнал неприятеля из России и что тогда я поеду ему навстречу и введу его торжественно в столицу.

Пресловутые лавры уже теперь, в преддверии окончательной гибели Великой армии, могли быть по праву разделены между Кутузовым, который дал направление всей борьбе с нашествием, и Александром, задавшим, так сказать, морально-дипломатический тон отношений к врагу. Его твердая, непримиримая позиция, призывы к всенародному сопротивлению, неусыпные заботы о всех необходимых для успеха средствах подняли народный дух и оживили деятельность военного ведомства. Но этим и ограничивается его благотворное участие в Отечественной войне. Попытки Александра руководить военными действиями и сам взгляд на ход войны и качества собственных военачальников нельзя считать правильными; многое даже указывает на ошибочное понимание и оценку событий, особенно с момента оставления Москвы. Александр в своем нетерпении как бы забывал, что, для того чтобы Великая армия погибла, нужно дождаться благоприятных условий. Поэтому, чем бы ни руководствовался Александр в данном решении не вмешиваться в распоряжения Кутузова, нельзя не признать, что его скромность (или претензия на скромность) должна быть поставлена ему в заслугу.

Невозможность дальнейшего пребывания в Москве стала очевидной для Наполеона к началу октября. Вычислив по русским календарям, что серьезные холода наступят не раньше чем через две-три недели, он решил обойти русскую армию в Тарутино и расположиться на зимние квартиры в тех самых "обильных" губерниях, которыми так дорожил Кутузов. Успех маневра зависел в первую очередь от быстроты, поэтому Наполеон распорядился оставить в Москве 10 тысяч раненых французов, чтобы не быть связанным большим обозом. Поручая их великодушию неприятеля, император вместе с тем как будто нарочно делал все, чтобы до крайности раздражить русских: приказал снять крест с колокольни Ивана Великого и поручил оставленному в Москве Мортье взорвать храмы и дворцы Кремля и "эту мечеть", как он выразился о храме Василия Блаженного. И действительно, несмотря на

самоотверженные действия оставшихся в городе москвичей, с опасностью для жизни разминировавших Кремль и тушивших фитили, вследствие взрывов 12 октября кремлевские башни дали трещины, а дворец Екатерины был почти полностью разрушен; в отместку за это при возвращении русской армии солдаты и партизаны перебили около 4 тысяч раненых французов.

Движение французов к Калуге обнаружил Сеславин: сидя в дозоре на дереве недалеко от старой Калужской дороги, он увидел карету, в которой ехал сам французский император, окруженный маршалами и генералами. Не довольствуясь виденным, Сеславин захватил на опушке леса унтер-офицера Старой гвардии и, перекинув его через седло, умчался с ним в Тарутино.

Кутузов, не медля ни минуты, двинул армию к Малоярославцу, чтобы преградить путь Наполеону. Ожесточенный восемнадцатичасовой бой, в течение которого город восемь раз переходил из рук в руки, закончился занятием Малоярославца французами, но за это время все русские корпуса успели подойти к месту сражения. К вечеру 12 октября вся 100-тысячная русская армия расположилась в двух верстах к югу от города.

Кутузову предстояло решить трудный вопрос: дать ли наутро генеральное сражение или придерживаться прежней тактики выжидания? Тарутинское сражение произвело чрезвычайно бодрящее впечатление на царя, который, успокоившись за судьбу Петербурга, с легкостью женского своенравия перешел от резких упреков главнокомандующему к самым лестным рескриптам в его адрес. Но теперь Александр с еще большей настойчивостью требовал решительных действий, с той лишь разницей, что вместо прежних властных напоминаний он ограничивался высказыванием своей уверенности в предстоящих победах.

Михаил Илларионович не побоялся навлечь на себя новое неудовольствие государя, отказавшись от генерального сражения. "Все это развалится и без меня", - кивнул он в сторону французского лагеря. План Кутузова состоял в прикрытии от французов не разоренных войной местностей. "Полагаю нанести неприятелю величайший вред параллельным движением", - сообщил он в Петербург.

Решение Кутузова было встречено в русском штабе без особого удовольствия - оно не сулило ни лавров, ни наград. Вильсон, видевший свою задачу в том, чтобы следить за дряхлым главнокомандующим и понукать его, открыто обвинил его в том, что он хочет дать Наполеону "золотой мост".

- Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии, - спокойно ответил Кутузов. - Наследство его достанется не России, а той державе, которая уже теперь господствует на морях, и тогда преобладание ее будет невыносимо.

- Исполняйте ваш долг, и будь что будет, - процедил сквозь зубы англичанин.

Но и Наполеон не осмелился вступить в генеральное сражение с русскими. Вопрос о дальнейших действиях решился сам собой: 14 октября обе армии одновременно отступили в противоположные стороны. Французы устремились на запад по той самой разоренной дороге, по которой и пришли в Москву.

Старая Смоленская дорога представляла собой в полном смысле пустыню: сожженные или покинутые жителями деревни, полуразрушенные города, разлагающиеся людские и конские трупы на обочинах... Те скудные припасы, которые еще можно было найти, забирала Старая гвардия, шедшая впереди, остальной армии не доставалось ничего. С фуражирами и мародерами, рыскавшими в округе, безжалостно расправлялись партизаны, местные крестьяне и казаки. 28 октября, когда Великая армия (или, вернее, те 40 тысяч человек, еще способных держать оружие, которые шли впереди) достигла Дорогобужа, выпал первый снег; это еще более затруднило снабжение из-за отставания обоза и катастрофического падежа лошадей. Вскоре мороз достиг двенадцати градусов, и этот весьма скромный, по русским понятиям, холод оказался убийственным для полуголодных южан.

В то время как Кутузов сдерживал, насколько мог, боевое рвение своих генералов (впрочем, не всегда успешно), Александр прислал ему свой план окружения Наполеона

силами главной армии и корпусов Чичагова, Тормасова и Витгенштейна. Кутузов отнесся к этому плану весьма скептически. Он отнюдь не считал Наполеона зверем, попавшим в капкан (действия французского императора на Березине полностью подтвердили опасения Михаила Илларионовича), и по-прежнему стремился только к тому, чтобы не дать Наполеону разбить себя, полагая, что остальное сделают время, холод и ежедневная убыль людей во французской армии. Кутузов осторожно высказал царю сомнения насчет его плана, указывая главным образом на невозможность одновременного четкого выполнения предписанных маневров русскими корпусами, разбросанными на огромном расстоянии друг от друга. Поэтому Александр, не придавший никакого значения возражениям главнокомандующего, стал возлагать основные надежды на Чичагова, более способного, по его мнению, "по решимости его характера", исполнить план окружения и "искоренить французов до последнего".

Осторожность Кутузова имела веские основания. Сражения у Вязьмы и Красного показали, что французская армия все еще сильна: не будучи в силах атаковать, она тем не менее не терпела поражений и пробивалась через все заслоны. Но план Александра также содержал свою долю правды: разбросанность русских корпусов уравнивалась неурядицей среди Великой армии, к тому же почти лишенной кавалерии вследствие недостатка в кормах. Задним числом можно с уверенностью утверждать: прими Кутузов план Александра, русская армия не потеряла бы столько людей в преследовании французов. Медлительность Михаила Илларионовича, ставившего себе в заслугу сбережение людей, "чтобы было с чем явиться на границу", не оправдывается цифрами потерь, которые понесла русская армия: из 100 тысяч человек, вышедших из Тарутино, в Смоленск пришла только половина, причем лишь 10 тысяч из них выбыло в сражениях, остальных скосили голод, холод и болезни (таким образом, потери преследующей русской армии равняются потерям гибнущей французской армии при Березине). Вряд ли генеральное сражение нанесло бы русской армии больший ущерб.

Образ действий Кутузова оказался тесно связанным со жгучим чувством национального самолюбия. Действительно, в конце концов торжество русской армии над врагом было безусловным и решительным, но странное дело - это произошло без оглушительных ударов на поле боя, что дало повод французам оспаривать нашу славу победителей, так как Наполеон фактически не проиграл в России ни одного сражения. Конечно, не стоит тратить много слов, чтобы доказать, что холод только довершил поражение Великой армии, однако следует заметить, что исход Отечественной войны решался не на полях сражений, а в умах и сердцах множества самых разных русских людей, вдруг почувствовавших себя народом, вследствие чего понятия "свобода" и "достоинство" приобрели для них первостепенное значение. Это превращение массы людей со своими эгоистическими интересами в народ и не было учтено французским императором. Наполеон превосходно знал человеческую природу, современники записали за ним множество чрезвычайно метких характеристик государственных и военных деятелей, поэтов, писателей, живущих и умерших знаменитостей. Но, рассчитывая политические ходы, Наполеон неизбежно упрощал и огрублял свои знания о людях, сводя все их поступки к двум основным мотивам: страху и выгоде. Поэтому, сталкиваясь с тем, как целыми народами - испанцами, русскими, а позже немцами - овладевали противоположные чувства бескорыстия и самоотречения, Наполеон терялся и становился от этого упрям, жесток и почти невменяем в своем стремлении добиться цели во что бы то ни стало. В его действиях в подобных случаях историки и мемуаристы склонны были видеть некие роковые ошибки, на которые и указывали с добросовестностью посредственности, как будто, избежав этих ошибок, он мог истребить в противнике патриотизм и самоотверженность. На самом же деле гений Наполеона оставался прежним всегда и везде, и упрекать его в упадке гениальности можно с тем же правом, с каким человеку, спотыкающемуся в темноте, можно поставить в вину упадок зрения.

Переправа через Березину является превосходной иллюстрацией сказанного. В то

время как Кутузов, придерживаясь своего понимания обстановки, вообще отсутствовал на поле боя, чем фактически лишил русские войска единоначалия, переложив командование на нетрезвого балагура Платова и сухопутного адмирала Чичагова, Наполеон, напротив, оказался на высоте своего призвания, умелыми действиями выведя остаток армии из мышеловки, придуманной Александром. Вина Кутузова в данном случае была несомненна и намного превышала промах несчастного Чичагова, новобранца на суше, которого сделали козлом отпущения; а гибель французов явилась не столько результатом нашей победы, сколько естественным концом деморализованной армии.

Тем не менее торжество было полное и ликование русской армии было столь же искренним, как и законным. Право Кутузова и его сподвижников на чествование было несомненно. Заслуга Михаила Илларионовича заключалась в благоразумном руководстве в борьбе с нашествием, в умении избрать и провести безопаснейший способ для достижения успеха. И если его старческая деятельность не была ознаменована громкими победами, то за ним имеется не менее важная заслуга избежания опасных ошибок. Вместе с ним честь и славу за благополучный исход войны разделял Александр, перед заслугами которого теряются личные побуждения уязвленного тщеславия и самолюбия. Та стойкость, которую он проявил при продолжительных неудачах, то настойчивое участие в руководстве военными действиями, которое, несмотря на все недочеты, требовало от военачальников главного - решительных ударов по врагу, наконец, то насилие над собой, которое он совершил, наделив Кутузова полномочиями главнокомандующего, - все эти заслуги ставят Александра на такую высоту, на которой теряются из виду все недочеты его легкомысленной, по-женски суетной и впечатлительной личности, светлые стороны которой нашли свое счастливое применение в роковом и доблестном 1812 году. Однако главная заслуга в окончательном успехе принадлежала стойкости армии, самоотверженности народа и безраздельной любви к родной земле - этим трем стихийным вителям Отечественной войны.

Начиная с 7 ноября военные действия обратились в преследование 20 тысяч человек, бегущих по Виленской дороге.

Обещание Александра сбылось: в России больше не осталось ни одного вооруженного француза. Обычно считают, что русскую границу в июне 1812 года перешло около 400 тысяч человек, которых потом, уже в пределах России, догнало еще 150 тысяч - всего 550 тысяч солдат и офицеров. Из всей этой массы людей (из которых 50 тысяч дезертировало в самом начале кампании) в декабре обратно переправилось через Неман около 18 тысяч человек. В русский плен сдалось 130 тысяч человек, следовательно, сражения, партизанская война, болезни, мороз унесли в могилу примерно 350 тысяч солдат и офицеров Великой армии.

Для Наполеона бедствие было непоправимым. Сокрушительный удар был нанесен не только его военному могуществу - рушилась вся его политическая система, по которой он хотел заставить жить Европу. С истреблением его польских полков рушилось дело возрождения Польши, с уничтожением немецких корпусов - Рейнский союз, Вестфальское королевство и все планы создания Германии, подвластной Франции; наконец, гибель французской армии подготавливала распад самой Французской империи. Вся верная ему Европа оказалась погребена в снегах России; на смену ей шла другая Европа антинаполеоновская. Нашествие неудержимо поворачивалось в другую сторону на запад.

III

Придет народ от стран полнощных

Оковы снять с ахейн маломощных.

В. А. Озеров. Поликсена

По мере приближения остатков французской армии к границам России Александру предстояло выбрать: заключать ли мир с Наполеоном или продолжать войну ради чуждых интересам России целей - восстановления политической независимости Германии, возвеличения значения Австрии и смены политического режима во Франции. Уже в конце 1812 года в беседе с фрейлиной Стурдзой он высказал свои мысли на этот счет.

- Неужели, государь, - заметила Стурдза, - мы не обеспечены навсегда от подобного нашествия? Разве враг осмелится еще раз перейти наши границы?

- Это возможно, - сказал царь, - но если хотеть мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже. В этом я глубоко убежден.

Между тем Кутузов придерживался противоположного взгляда, считая, что война должна завершиться там же, где и началась, - на Немане. Помимо убеждения, что дальнейшее продолжение войны может быть выгодно только англичанам и немцам, к прекращению боевых действий его вынуждало катастрофическое сокращение численности армии: из 100 тысяч солдат, имевшихся у него под рукой в Тарутино, в Вильну вступили только 27 тысяч человек. Все это вынудило Михаила Илларионовича просить Александра дать войскам отдых, иначе, предупреждал он, расстройство войск дойдет до такой степени, что придется "вновь составлять армию".

Ответом царя на эту просьбу было требование новых жертв: "Поверхность наша над неприятелем расстроеным и утомленным, приобретенная помощью Всевышнего и искусными распоряжениями вашими, и вообще положение дел требует всех усилий к достижению главной цели, несмотря ни на какие препятствия. Никогда не было столь дорого время для нас, как при нынешних обстоятельствах. И потому ничто не позволяет останавливаться войскам нашим... в Вильне".

Не особенно рассчитывая на выполнение Кутузовым этих распоряжений, Александр сам выехал к армии. Несмотря на сильную стужу, он ехал от Петербурга до Вильны в открытых санях на тройке, которой управлял неизменный кучер Илья.

11 декабря Кутузов, в парадной форме, с орденами, звездами и портретом государя в бриллиантовой оправе на груди, со строевым рапортом в руке выстроил у дворцового подъезда почетный караул лейб-гвардии Семеновского полка. Александр появился в пять часов дня. Он прижал к сердцу главнокомандующего, принял рапорт, поздоровался с семеновцами и прошел во дворец рука об руку с Михаилом Илларионовичем. Они уединились в кабинете и долго беседовали. По окончании аудиенции граф Толстой поднес Кутузову на серебряном блюде орден святого Георгия 1-й степени (до царя дошли сведения, что старик остался недоволен пожалованной ему шпагой с бриллиантовым эфесом и лаврами из изумрудов стоимостью 60 тысяч рублей; Михаил Илларионович картинно потрясал ею в обществе и заявлял: "Я скажу императору, какая это дрянь", - считая ее слишком малой наградой за то, что он в течение года "заставил две армии" - турецкую и французскую - "питаться кониной"). Вильсон в своих записках уверяет, что Александр пожаловал Кутузову орден с большой неохотой и, объясняя англичанину причины своего поступка, будто бы сказал: "Мне известно, что фельдмаршал не исполнил ничего из того, что следовало сделать, не предпринял против неприятеля ничего такого, к чему бы он не был буквально вынужден обстоятельствами. Он побеждал всегда только против воли... Однако дворянство поддерживает его, и вообще настаивают на том, чтобы олицетворить в нем народную славу этой кампании... Мне предстоит украсить этого человека орденом святого Георгия первой степени, но признаюсь вам, я нарушаю этим статуты этого славного учреждения... я только уступаю самой крайней необходимости. Отныне я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасностям подобного предводительства". Если эти слова и были действительно сказаны (а мы знаем, всякий человек слышал от Александра то, что хотел слышать), то нет сомнений, что в разговоре с Кутузовым царь удержался от каких-либо укоров, которые - Александр не мог не понимать этого - были неуместны спустя всего четыре месяца после того, как он собирался отрастить бороду и питаться картофелем в Сибири.

Наутро 12 декабря, в день своего рождения, Александр, принимая поздравления от генералов кутузовского штаба, сказал им:

- Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу!

Космополит вновь взял в нем верх над патриотом. Под влиянием обстоятельств и общего настроения Александр ненадолго увлекся собственным народом, проникся

умилением и восторгом (выражаемыми преимущественно перед дамами - Стурдзой и г-жой де Сталь) к своим соотечественникам, почувствовал себя русским царем. Но быстрое завершение Отечественной войны не дало укрепиться этому поверхностному патриотизму. Александр по-прежнему оставался диковинным оранжерейным цветком, не связанным корнями с русской почвой. Однако под влиянием чтения Библии и религиозных размышлений его космополитизм претерпел важные изменения: он перестал быть светским космополитизмом XVIII века, постепенно превратившись в космополитизм христианско-мистический, гораздо больше соответствовавший сентиментально-мечтательной натуре Александра. Теперь он ощущал себя не русским царем, а христианским государем, призванным укротить зверя; ему казалось, что он наконец-то понял свое предназначение - стать защитником угнетенных народов. Эта мысль поднимала его в собственных глазах, придавала смысл его существованию и оправдывала глубинное презрение и непонимание русской жизни, равнодушие к непомерным бедствиям страны, тщеславное желание одержать верх над Наполеоном. Проникнутый этим настроением, он искренне не мог понять и принять национального эгоизма Кутузова и его единомышленников, думавших прежде всего о русских интересах и выгодах.

Вечером по случаю дня рождения государя в доме Кутузова был дан бал. Город был иллюминирован, на ратуше вывешен транспарант, изображавший Россию, отсекающую голову гидре. Перед началом бала по приказу Кутузова семеновцы поднесли к ногам Александра трофейные знамена, однако на лице царя выразилось лишь чувство сожаления. Никакого впечатления не произвела на него и представленная ему жена французского офицера, сопровождавшая мужа во всех сражениях и стычках и взятая вместе с ним в плен.

- Я не сочувствую этого рода отваге в женщинах, - только и сказал царь.

Зато он не отходил от графини Шуазель-Гуфье, ставшей героиней дня из-за того, что полгода назад, в первые дни нашествия, она, представляясь Наполеону в Вильне, единственная из всех польско-литовских дам русского подданства не сняла с платья шифр фрейлины русского двора. Александр, вообще охотно разговаривавший с женщинами на политические темы, развивал перед ней свое видение прошедших событий.

Подчеркнув народный характер войны, царь с особым умилением отзывался о русских крестьянах.

- О мои бородачи! - сказал он восторженно. - Они гораздо лучше нас: между ними встречаешь еще первобытные патриархальные добродетели, истинную преданность государю и отечеству. Они не поддались на приманку французов, обещавших им свободу. Жиды также выказали удивительную привязанность, - с некоторым недоумением добавил он.

Говоря о гордости французского императора, погубившей Европу и его самого, царь воскликнул:

- Какую потерял он будущность! Стяжав славу, он мог даровать мир Европе, но он не сделал этого! Очарование исчезло! - И, помолчав, добавил: - А заметили вы светло-серые глаза Наполеона? Его проницательный взгляд невозможно выдержать.

Здесь же, на балу в честь своего дня рождения, Александр подписал акт об амнистии тем полякам, которые сражались под знаменами Великой армии. Впрочем, Потоцкие, Радзивиллы и прочие паны, воевавшие против России, все это время пользовались доходами со своих имений, нисколько не опасаясь их конфискации, - это был один из жестов доброй воли царя по отношению к Польше. Акт об амнистии рассердил Кутузова, просившего государя наградить своих офицеров землями польско-литовских мятежников. Не одобрил его и великий князь Константин Павлович. Танцуя, он расталкивал польские пары и грубо кричал:

- Ну, вы, дайте дорогу!

Почтив своим присутствием бал у фельдмаршала, Александр в то же время не разрешил виленским дворянам устроить бал в его честь, сославшись на то, что "в нынешних обстоятельствах ни танцы, ни звуки музыки не могут быть приятны" и что он посетил дом

Кутузова, только чтобы "сделать удовольствие старику".

Вильна действительно представляла собой далеко не радостное зрелище. Город был наполнен больными и ранеными русскими и французскими солдатами; на улицах валялось около 20 тысяч неубранных трупов людей и лошадей, с которыми не знали, что делать. В госпитале Базилианского монастыря скопилось около 7,5 тысячи мертвых тел, наваленных друг на друга даже в коридорах; разбитые окна и проломы в стенах были закрыты телами умерших, чтобы предотвратить замерзание живых. Французские пленные, которых нечем было кормить, свободно бродили по улицам, выпрашивая милостыню. Александр подобрал нескольких из них в свои сани и развез местным помещикам, дав деньги на их содержание. Кроме того, он посетил лазареты, сделав некоторые распоряжения по улучшению положения пленных.

Однако тягостное зрелище тысяч мертвых и искалеченных тел нисколько не повлияло на намерение Александра продолжить погребение молодого поколения России на полях Европы. Его приезд в Вильну стал не ознаменованием успешного окончания Отечественной войны, а предвестием дальнейшего кровопролития.

Для продолжения войны с Наполеоном Россия должна была напрячь все силы. Царский манифест провозгласил о небывалом рекрутском наборе - по 8 человек с каждых 500 душ. Эта мера сопровождалась туманными объяснениями, что хотя "рог сильного сломлен", но Россия не может терпеть злобы, присваивающей себе право "располагать престолами царей", и т. п. Этот манифест, в отличие от предыдущих воззваний Александра, не мог, разумеется, найти никакого отклика в русском сердце; он попросту не был понятен большинству народа. Александру не приходило в голову, что от такой напасти, как притеснение Наполеоном прав Гогенцоллернов и Бурбонов, Россия "терпела" значительно меньше, чем от подобного рекрутского набора. Гораздо больше сочувствия вызвал другой указ государя - о сооружении храма Христа Спасителя для увековечения народного подвига в Отечественной войне.

Основным препятствием к немедленному возобновлению боевых действий по-прежнему была миролюбивая позиция Кутузова. "Вы дали обет, - говорил Михаил Илларионович царю, - не класть оружия до тех пор, пока хоть один вооруженный неприятель будет находиться в вашей земле. Вторая часть обета исполнена, исполните же первую!" Александр жаловался: "Несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо". Чтобы обломать упрямство старика, он пустил в ход все свое очарование. Шишков, разделявший мнение Кутузова о бесполезности дальнейшей войны с Наполеоном, однажды спросил его, почему он не настаивает твердо перед государем на прекращении войны.

- Царь, - уверенно сказал Шишков, - по вашему сану и знаменитым подвигам, конечно, уважил бы ваши советы.

- Я говорил ему об этом, - вздохнул Михаил Илларионович, - но первое: он смотрит на это с другой стороны, которую также совсем опровергнуть не можно; и другое, скажу тебе про себя откровенно и чистосердечно: когда он доказательств моих оспорить не может, то обнимет меня и поцелует, тут я заплачу и соглашусь с ним.

Ни Шишков, ни Кутузов не могли понять, что никакие стратегические и политические соображения не в силах поколебать страстного желания Александра отдать визит в Париже.

Известие о переходе на сторону русских 16-тысячного корпуса прусского генерала Йорка ускорило выступление русской армии в заграничный поход. 24 декабря войска графа Витгенштейна беспрепятственно вошли в Кенигсберг, а 28-го главные силы русской армии двинулись из Вильны к Меречу на Немане. 1 января 1813 года они перешли границу Великого Герцогства Варшавского. Заграничный поход начался.

В конце января главный штаб русской армии, который теперь возглавлял князь Волконский, разместился в Плоцке. Присутствие государя изменило вид и атмосферу главной квартиры: если в Тарутино все обращались друг к другу запросто и нередко ходили в сюртуках, сшитых из солдатского сукна, то в Плоцке офицеры, подражая царю и его свите, нарядились в лучшие форменные мундиры и обзавелись великолепными экипажами. Сам

Александр выезжал всегда верхом, одетый щеголем, с выражением живейшего удовольствия на лице.

Впрочем, радоваться пока что было особенно нечему. В Варшавском герцогстве никто не встречал русских как освободителей; одни евреи в каждом местечке, где проходили русские войска, выносили разноцветные хоругви с изображенным на них вензелем Александра, били в барабаны и литавры и играли на трубах. Иногда - чрезвычайно редко - к ним присоединялись хмурые поляки, которые сами не знали, чего хотели. Сама главная армия из-за непрерывного движения стремительно сокращалась, оставляя позади больных и отставших. Из 27 тысяч человек, вышедших из Вильны, к границам Силезии подошло всего 17 тысяч; подкрепления запаздывали.

Тем не менее русским вначале сопутствовал успех. 18 января Милорадович подписал перемирие с австрийским корпусом Шварценберга. После ухода австрийцев русские войска заняли Варшаву (ключи от города вручил Милорадовичу тот же чиновник, который в 1794 году поднес их Суворову). Высочайшим указом Варшава была освобождена от постоя.

В это время князь Адам Чарторийский возобновил переписку с царем - он предлагал создать из Варшавского герцогства Польское королевство под властью великого князя Михаила Павловича. Александр решительно отклонил эти планы: "Я буду говорить с вами совершенно откровенно... Для того чтобы провести в Польше мои любимые идеи, мне, несмотря на блеск моего теперешнего положения, предстоит победить некоторые затруднения: прежде всего общественное мнение в России - образ поведения у нас польской армии, грабежи в Смоленске и Москве, опустошение всей страны оживили прежнюю ненависть. Затем, разглашение в настоящую минуту моих намерений относительно Польши бросило бы всецело Австрию и Пруссию в объятия Франции: результат, воспрепятствовать коему было бы весьма желательно, тем более что эти державы уже выказывают наилучшее расположение ко мне. Эти затруднения, при благоразумии и осторожности, будут побеждены.... Имейте некоторое доверие ко мне, к моему характеру, к моим убеждениям, и надежды ваши не будут более обмануты. По мере того как будут выясняться результаты военных действий, вы будете видеть, до какой степени дороги мне интересы вашего отечества и насколько я верен моим прежним идеям. Что касается до форм правления, то вам известно, что я всегда отдавал предпочтение формам либеральным. Я должен предупредить вас, однако же, и притом самым решительным образом, что мысль о моем брате Михаиле не может быть допущена. Не забывайте, что Литва, Подолия, Волынь считают себя до сих пор областями русскими и что никакая логика в мире не убедит Россию, чтобы они могли быть под владычеством иного государя, кроме того, который царствует в ней".

В начале февраля русские войска перешли Одер, и главная квартира была перенесена в Калиш. Здесь наметилась одна характерная особенность дипломатического поведения Александра. Вступая во владения прусского короля без всякого гласного или тайного соглашения с последним, царь обратился сначала к его подданным, призвав их к вооруженной борьбе с французским владычеством, а затем от его же имени обратился к подданным других немецких государей. Тем самым он как бы заявлял, что признает себя судьей и вершителем судеб тех стран, куда вступал по собственному произволу. Не дожидаясь признания другими монархами своих прав на руководство сопротивлением Наполеону, он сам провозглашал себя предводителем сражающейся Европы.

Фридрих Вильгельм, не знавший, как ему реагировать на действия Александра, выехал из Потсдама в Бреславль, поближе к русским войскам, и здесь, по старой привычке, попытался усидеть на двух стульях, поддерживая одновременно сношения с Францией и Россией. Но, видя, что вся Пруссия с восторгом откликнулась на призыв Александра к борьбе, он отменил колебания и подписал с Россией союзный договор. Русские войска вступили в Берлин.

3 марта Александр примчался в Бреславль. Король встретил его за городом. Не говоря ни слова, они бросились друг к другу в объятия, после чего верхом въехали в Бреславль под гром орудий и звон колоколов. 21 марта прусский король отдал визит, приехав в Калиш.

Кутузов, не имея сил сидеть на коне, стоял во главе построенной для встречи армии. Фридрих Вильгельм отдал должное отличной выучке русских войск, но нашел их слишком малочисленными.

Михаил Илларионович с каждым днем все больше слабел. Все же без его воли не отдавалось ни одного распоряжения по армии. Когда здоровье не позволяло ему делать личный доклад государю, Александр сам приходил к нему в кабинет или спальню. Руководя военными операциями в Польше и Пруссии, Кутузов оставался при своем мнении относительно бесцельности заграничного похода и при всяком удобном случае напоминал об этом. Так, на военном совете, где решался вопрос, идти или нет за Эльбу, он с нарочито простонародной грубостью рубанул: "Самое легкое дело идти теперь за Эльбу. Но как воротимся? С рылом в крови!" Тем не менее Александр продолжал выказывать ему знаки расположения и настоял на том, чтобы Фридрих Вильгельм передал старому фельдмаршалу начальство над прусскими войсками. В Штейнау, пограничном силезском городе, жители поднесли Александру лавровый венок, который царь отослал Михаилу Илларионовичу, сказав, что лавры принадлежат ему.

Согретый последними лучами славы, Кутузов медленно угасал. 6 апреля он не смог следовать дальше за армией, слег и через десять дней скончался. Александр известил княгиню Кутузову о том, что она стала вдовой, в собственноручном письме: "Болезненная и великая не для одних вас, но и для всего отечества потеря. Не вы одна проливаете о нем слезы: с вами плачу я и плачет вся Россия!" А на докладе, где похоронить тело фельдмаршала, царь написал: "Мне кажется приличным положить его в Казанском соборе, украшенном его трофеями". Вместе с тем он испытывал огромное облегчение оттого, что последняя преграда к широким наступательным действиям исчезла. Командование русскими и прусскими войсками было возложено на графа Витгенштейна.

Тем временем опасения Кутузова начинали оправдываться: ситуация на театре военных действий менялась не в пользу союзников. Россия при самом большом напряжении сил не могла ни в 1812-м, ни в 1813 году выставить больше половины тех сил, которые ставил под ружье Наполеон. Сенат без затруднений вотировал все предложенные французским императором наборы. 140 тысяч юношей, подлежавших набору в 1813 году, были призваны досрочно и уже обучались в казармах военному делу; кроме того, досрочно был забран призыв 1814 года. "Я все еще могу расходовать триста тысяч человек в год", удовлетворенно говорил Наполеон. Весной под его знаменами находилось 500 тысяч человек; правда, в большинстве своем это были отроки довольно хрупкого сложения, не достигшие двадцатилетнего возраста, тщательно распределенные императором между ветеранами. Сам Наполеон за последний год сильно постарел; им часто овладевала непреодолимая сонливость, верховая езда быстро утомляла его, желудочные и печеночные боли терзали его обрюзгшее тело. Однако личный престиж императора устоял, он все еще считался непобедимым.

Действительно, летняя кампания 1813 года подтвердила, что Наполеон остается лучшим полководцем мира. В Эрфурте он принял командование над 110-тысячным войском, только что прибывшим из Франции, во главе которого в середине апреля двинулся против союзников, чьи силы не превышали 72 тысяч человек (39 тысяч русских и 33 тысячи пруссаков). Отбросив русский авангард у Вейсенфельса, Наполеон двинулся к Лейпцигу, но союзники перерезали ему дорогу и 20 апреля близ Люцена на Позернской равнине атаковали французов.

Александр и Фридрих Вильгельм наблюдали за ходом боя с холма, расположенного неподалеку от места, где разворачивалось сражение. На просьбу своей свиты удалиться в более безопасное место Александр ответил:

- Для меня здесь нет пуль.

Но его присутствие в который раз не принесло русским войскам успеха. Оба союзных государя только к ночи оставили отступавшую армию и направились ночевать в деревню Гроич, с трудом пробираясь между фурами с припасами и ранеными при помощи

фельдъегеря, освещавшего путь фонарем. Александр не ложился всю ночь, справляясь о состоянии армии. Убедившись из донесений, что возобновлять наутро сражение нельзя, он пошел к дому, который занимал прусский король, и приказал разбудить его, чтобы сообщить эту неутешительную весть. Фридрих Вильгельм, заметно огорченный, отвечал с некоторой запальчивостью:

- Это мне знакомо. Если только мы начнем отступать, то не остановимся на Эльбе, но перейдем также и за Вислу. При таком образе действий я снова вижу себя в Мемеле.

А когда царь ушел, он вскочил с постели, подошел к окну и заметил как бы про себя:

- То же самое, как и при Ауерштедте.

Он успокоился только тогда, когда раненый генерал Шарнгорст убедил его в необходимости сохранить союз с Россией.

Союзная армия продолжила отступление. Было решено переправиться на правый берег Эльбы. Вскоре мимо штабс-капитана свиты его императорского величества Александра Ивановича Михайловского-Данилевского промчались в клубах пыли коляски Александра и его свиты. Волконский на минуту остановил свой экипаж и, бросив Михайловскому-Данилевскому: "Запиши в реляции, что мы идем фланговым маршем", - покатил дальше. "Какова должна быть история, основанная на подобных материалах, - подумал будущий историограф заграничного похода русской армии, - а к сожалению, большая часть истории не имеет лучших источников".

Действительно, в официальной реляции Люценское сражение было представлено как победа. Витгенштейн получил андреевскую ленту, а прусский маршал Блюхер - Георгия 2-й степени.

Витгенштейн остановил армию на дороге из Дрездена к Бреславилю, у Бауцена, заняв грозную позицию, на которой когда-то с успехом сражался против французов Фридрих II: с юга ее обрамляли утесистые склоны Исполиновых гор, с севера - необозримые болота, поперек дороги путь противнику преграждали две стремительные речки с крутыми берегами, а позади находилось плато Гогенкирхен, укрепленное многочисленными селами. Бауценская позиция, господствовавшая над дорогой, представляла собой настоящую арену, со всех сторон окруженную естественными и искусственными преградами. Подкрепления, которые привел Барклай-де-Толли, увеличили силы союзников, потерявших в предыдущем сражении около 20 тысяч человек, до 70 тысяч.

Наполеон, осмотрев позицию, решил вести сражение два дня. 8 мая он отеснил союзников за первую реку; на следующий день оставалось прорвать их оборону на второй реке и овладеть плато Гогенкирхен.

В пять часов утра 9 мая Александр и Наполеон одновременно прибыли на поле боя и весь день оставались на виду друг у друга, заняв со своими штабами два противоположных холма. Витгенштейн, в отличие от маршалов Наполеона, ни разу не подъехал к войскам.

Сражение было жаркое и упорное, однако после полудня перевес французов стал очевиден. В четыре часа генералы предложили Александру прервать сражение. Раздосадованный Александр вскочил в седло.

- Я не желаю быть свидетелем этого поражения. Прикажите отступать, сказал он Витгенштейну и дернул поводья.

К ночи сражение утихло. С обеих сторон из строя выбыло 30 тысяч человек, в том числе около 12 тысяч французов.

Союзные армии отступили к Рейхенбаху.

Александр ехал шагом, утешая отчаявшегося Фридриха Вильгельма.

- Я ожидал иного! - жаловался прусский король. - Мы надеялись идти на запад, а идем на восток!

Александр отвечал, что, несмотря на поражение, ни один батальон армии не расстроен вконец и что, глядишь, дела с Божьей помощью пойдут лучше.

- Если Бог благословит наши общие усилия, - вздохнул Фридрих Вильгельм, - то мы должны будем сознаться перед лицом всего света, что Ему одному принадлежит слава

успеха.

Царь горячо пожал ему руку и сказал, что всецело разделяет его чувства.

Следствием бауценского поражения была смена главнокомандующего русской армией. Спустя четыре дня Барклай вступил в новую должность.

Развить военный успех летней кампании Наполеону помешало поведение Австрии. Меттерних зорко наблюдал за событиями. После гибели в России Великой армии его любимая мысль о посредничестве Австрии в европейских делах получила опору в реальной политической обстановке. Теперь Меттерних начал игру, о которой давно мечтал: он постарался встать над обеими враждующими сторонами, чтобы не допустить впредь преобладающего влияния ни Франции, ни России. Поздравляя Наполеона с победами, он в то же время заверял русского царя и прусского короля в ненависти к французскому владыке. Правда, речь пока не шла о свержении династии Наполеона; в лице австриячки Марии Луизы и ее сына, малолетнего "короля римского", Габсбурги надеялись иметь послушного им наследника французского престола, к тому же связанного с ними родственными узами.

После Люцена и Бауцена Меттерних решил, что наступило время предложить это посредничество, и убедил Наполеона заключить перемирие с целью подготовить созыв большого европейского конгресса для выработки условий всеобщего мира. Французский император и сам видел, что его нынешние победы - не Маренго и не Аустерлиц. Его маршалы громогласно требовали мира, во Франции распространялось уныние и разочарование, и Наполеон считал нужным воочию показать всем, что он искренне желает мира. Он уверил себя, что Австрия ни в коем случае не покинет его, поскольку император Франц, как отец Марии Луизы и дед Наполеона II, не может остаться безучастным к их дальнейшей судьбе. А главное - он рассчитывал восстановить свои силы, пополнить конницу и закончить летнюю кампанию блестящим успехом, который приведет к покорности колеблющуюся Европу. Перемирие было заключено 23 мая сроком на шесть недель - до 8 июня - и затем продлено до 29 июля. Оно носило характер исключительно военный и не принесло Наполеону никаких политических выгод. Впоследствии он признал, что заключение перемирия было крупным промахом с его стороны: союзная армия за это время привела себя в порядок, а Австрия вступила в антифранцузскую коалицию.

Действительно, Наполеон терял на дипломатическом поприще гораздо больше, чем выигрывал на военном. Меттерних умело воспользовался его самоослеплением. На свидании в Опочно (на границе Чехии) с Александром он заверил его, что австрийские войска вскоре примкнут к союзникам, и просил только небольшой отсрочки, чтобы Австрия смогла закончить свои военные приготовления. "Если Наполеон отклонит наше посредничество, - успокаивал он царя, - вы найдете нас в рядах ваших союзников; если же он это посредничество примет, то сами переговоры, которые в таком случае начнутся, с очевидностью докажут, что Наполеон не желает быть ни благоразумным, ни справедливым, и результат будет тот же". В те же дни Англия подписала с Россией и Пруссией новый договор о субсидиях, обязавшись покрыть все издержки дальнейшей борьбы с Наполеоном. Наконец, Бернадот не только согласился предоставить военные силы Швеции в распоряжение союзников, но и преподал им несколько стратегических и тактических советов, исходя из своего знания состава и образа действий французской армии.

В Праге состоялось несколько совещаний уполномоченных посланников враждующих сторон, на которых выяснилось, что они не наделены никакими полномочиями для заключения мира и только тянут время в формальных пререканиях. 29 июля, в последний день перемирия, Меттерних объявил, что Австрия вступает в войну на стороне союзников. Он переиграл Наполеона методично, ход за ходом, как искусный шахматный игрок. Александр поддержал разрыв переговоров: "Только меч может и должен решить исход событий".

В ночь с 29 на 30 июля на пространстве от Праги до силезской границы запылали сигнальные костры, оповещавшие союзные армии о возобновлении военных действий. На следующий день 125-тысячная русско-прусская армия выступила к границам Чехии. По пути

к ней присоединились австрийские войска под командованием фельдмаршала князя Карла Шварценберга, насчитывавшие 130 тысяч человек, и 180-тысячная шведская армия Бернадота; 200 тысяч англичан и испанцев готовились перейти Пиренеи, 80 тысяч австрийцев намеревались отнять у Франции Италию, 200 тысяч пруссаков и русских под командованием Блюхера действовали в Германии. Теперь на Наполеона двигалась миллионная армия коалиции. Император мог противопоставить ей всего 550 тысяч человек, среди которых было много немцев и итальянцев, готовых изменить ему при первой возможности. Проволочка с переговорами дорого обошлась Наполеону: если летняя кампания еще была ознаменована успехами, то осенняя окончилась катастрофой под Лейпцигом.

Формально находясь в стороне от руководства военными действиями, Александр продолжал оказывать преобладающее влияние на ход кампании, несмотря на присутствие в армии австрийского императора и прусского короля. План коалиции состоял в том, чтобы изнурять Наполеона, всячески избегая решительного сражения с ним и громя поодиночке его маршалов. Мысль об этой новой тактике исходила от Бернадота и была поддержана двумя французскими перебежчиками - генералами Моро и Жomini, любезно принятыми Александром, который включил их в свою свиту.

Однако применить эти советы на деле оказалось труднее, чем предполагалось. В начале августа главная русская армия под командованием Барклая-де-Толли и австрийские войска князя Шварценберга устремились к Дрездену, где находился слабый французский корпус Сен-Сира. 13 августа 60-тысячная армия союзников собралась под городом. Около полудня Александр со свитой и в сопровождении Шварценберга отправился на рекогносцировку. Царь настаивал на немедленном штурме, австрийский фельдмаршал советовал ждать прихода подкреплений. Препирательства продолжались до вечера и позволили Наполеону подтянуть к Дрездену главные силы. Наконец ночью союзниками была принята неопределенная диспозиция Шварценберга: взять город путем артиллерийского обстрела и ряда демонстративных атак.

Наутро приступили к исполнению принятого плана. Но благоприятный момент был упущен. Когда в одиннадцать часов Александр поднялся на высоты Рекница, он увидел французские подкрепления, тянущиеся к Дрездену по Бауценской дороге. Одновременно были получены сведения о прибытии в город самого Наполеона. Это вызвало новые препирательства в штабе союзников; наступление колонн было остановлено. По словам Михайловского-Данилевского, "то место, где стояли монархи со штабом своим, уподоблялось шумному народному совещанию". Медлительность Шварценберга привела Моро в крайнее раздражение, и, бросив свою шляпу на землю, он сказал фельдмаршалу: "Черт побери вас, сударь! Я не очень удивляюсь тому, что начиная с семнадцатилетнего возраста вы всегда бывали биты". Александр отвел героя республиканских войн в сторону и постарался успокоить его. "Ваше величество, этот человек лишит вас всего", - не унимался Моро.

В шестом часу разгорелось сражение. Наполеон, не опасаясь за свой центр, достаточно прикрытый дрезденскими укреплениями, двинул в бой оба своих крыла. К вечеру русские и австрийцы были отброшены от Дрездена. Александр находился на поле боя, пока не стих последний выстрел, а ночью вновь созвал военный совет. Ввиду того что подошедшие к ночи подкрепления увеличили силы союзников до 160 тысяч, ему удалось убедить Шварценберга оставаться на занятых позициях.

Ночью хлынул холодный дождь, увеличив уныние солдат, терпевших недостаток в припасах и обескураженных неудачей приступа.

15 августа в шестом часу утра Александр прибыл на позиции. Ливень не утихал, мешая передвижению обеих неприятельских армий и делая ружья совершенно непригодными к употреблению. Через час союзная и французская артиллерии вступили в поединок, продолжавшийся без перерыва восемь часов. Все это время Александр со штабом находился на холме, наблюдая, как ядра проламывают просеки в густых рядах колонн; многие

смертоносные снаряды долетали и до холма. Часу в третьем Александр заметил, что его лошадь бьет копытом о камень, и, тронув поводья, отъехал на несколько шагов. Место, на котором стоял царь, занял Моро. Не прошло и минуты, как раздался нарастающий свист - и французское ядро прошило насквозь его лошадь. Генерал получил страшное ранение в обе ноги. Когда генерала унесли*, появился гонец с донесением, что четыре австрийских полка на левом фланге сложили оружие. Все сразу заговорили об отступлении. Александр предложил возобновить бой наутро, но Шварценберг уже был невменяем - он только и твердил что об огромных потерях - которые и в самом деле были велики: 30 тысяч человек за два дня - и изнурении австрийской армии. Царь с сокрушенным видом предоставил ему распоряжаться. Ночью, под непрекращающимся дождем, по колено в грязи, началось отступление. В темноте слышались только вопли раненых и ругательства.

Наполеон, промокший до костей, вечером приехал во дворец союзника, короля Саксонского. Несмотря на непогоду, въезд в Дрезден был обставлен со всевозможной торжественностью: за императором несли трофейные знамена и вели 15 тысяч пленных союзников. Когда саксонский военный министр поздравил победителя, Наполеон выразил сожаление, что ненастье помешало ему окончательно уничтожить неприятеля.

- Но, - добавил он, - там, где меня нет, все идет плохо.

Действительно, победа под Дрезденом была последней улыбкой фортуны наскучившему любимцу. План Бернадота начал приносить плоды. В то время как Наполеон отстаивал Дрезден, шведская армия разбила маршала Удино при Гросс-Берене, а Блюхер нанес поражение Макдональду на реке Кацбах. Вследствие этих неудач Наполеон счел нужным остаться в Дрездене, поручив преследовать отступающих союзников 15-тысячному корпусу Вандамма.

Вандамм намеревался преградить путь Шварценбергу в Чехию, заняв Петерсвальдский проход через Богемские горы. Но войска Сен-Сира и Мортье оставили его без поддержки, и вместо того, чтобы окружить союзную армию, Вандамм сам был окружен под Кульмом и вынужден сложить оружие с половиной своего корпуса, оставшейся в живых после яростного боя. Сражение при Кульме стало первой победой над французами, при которой присутствовал Александр, имевший к тому же полное право приписывать успех сражения своим распоряжениям, так как австрийский фельдмаршал, по обыкновению, и не помышлял о решительных действиях; Фридрих Вильгельм оставался эхом мнения Александра. Что же касается императора Франца, то он под гром орудий предавался в Теплице своему любимому развлечению - музыке. Когда после сражения принц Леопольд, командующий русской конной бригадой, приехал к нему во дворец с просьбой уступить апартаменты для усталых офицеров, Франц, исполнявший скрипичную партию в трио и находившийся в отличном расположении духа, безропотно согласился очистить залу: "И прекрасно, мы можем продолжить нашу игру и вниз". Совершенно довольный, он спустился вниз и вновь взялся за смычок, так и не поинтересовавшись судьбой сражения. Поэтому не случайно сражение при Кульме до конца дней оставалось одним из любимых воспоминаний Александра.

Таким образом, дрезденская победа не принесла Наполеону никаких выгод. Напротив, теперь все три неприятельские армии приближались друг к другу, готовясь соединиться и запереть Наполеона в Саксонии.

Французский император очутился в положении преследуемого. В начале октября кольцо союзных армий замкнулось на Лейпцигской равнине. Наполеон был вынужден принять генеральное сражение, вошедшее в историю под названием "битва народов", так как здесь сошлись солдаты со всех концов Европы*.

4 октября в десятом часу утра Александр прибыл на поле битвы, где войска строились в боевые порядки. В молчании он шагом ехал к первой линии, как вдруг с французской стороны раздался гул первого орудийного залпа.

- Неприятель приветствует прибытие вашего величества, - с улыбкой заметил Милорадович, следовавший за государем.

В этот день против Наполеона сражалось 220 тысяч человек - силы русско-прусской

армии Блюхера, атаковавшей французов с севера, и австро-русской армии Шварценберга, нападавшей с юга. Сам император располагал 155 тысячами человек.

Первые три часа противники не уступали друг другу ни пяди земли. Затем Наполеон двинул значительную часть кавалерии с главными силами пехоты на центр союзников, намереваясь разъединить их силы. Австрийцы и русские дрогнули и подались назад, обнажая высоту, на которой находился Александр со всем штабом. Наполеон, видя центр прорванным, поздравил саксонского короля с победой и велел звонить во все колокола Лейпцига. "Все еще вернется к нам", - с довольной улыбкой сказал он своему секретарю Дарю.

Генералы умоляли государя отъехать в более безопасное место, но Александр, не слушая их, со спокойным видом говорил только о подкреплениях для опрокинутых войск. Все считали сражение проигранным, не отчаивался один Александр. По словам Михайловского-Данилевского, это была лучшая минута его военной деятельности. "Я смотрел нарочно в лицо государю, - пишет он, - он не смешался ни на одно мгновение и, приказав сам находившимся в его конвое лейб-казакам ударить на французских кирасир, отъехал назад не более как шагов на пятнадцать. Положение императора было тем опаснее, что позади него находился длинный и глубокий овраг, через который не было моста".

В эту критическую минуту царь распорядился ввести в бой резервную артиллерию и гвардейский корпус. 112 русских орудий открыли канонаду, о которой Милорадович сказал, что она была громче бородинской. Артиллерийский огонь не утихал до шести часов вечера и позволил стянуть к центру резервы. Успех французов остался без последствий. В то же время Блюхер заставил отступить маршала Мармона.

5 октября противники бездействовали. К союзным войскам присоединилась вся северная армия - 110 тысяч человек под начальством Бернадота. Было решено назавтра окружить Наполеона. Александр весь день провел в поле, под дождем, лично присматривая за исполнением его распоряжений. Шварценберг, совершенно ошалевший от вчерашнего боя, уже ни во что не вмешивался.

6 октября, в солнечный и ясный день, разгорелась решающая битва. Александр прибыл к войскам рано утром, еще до снятия с бивуаков. Следуя за колоннами, он переезжал от одной высоты к другой, не обращая внимания на ложившиеся вокруг ядра; Фридрих Вильгельм и Франц следовали за ним. Когда одно ядро упало почти рядом с царем, генералы не выдержали и попросили его не рисковать своей жизнью. Александр с улыбкой ответил:

- Одной беды не бывает. Посмотрите, сейчас прилетит другое ядро.

И в самом деле тотчас же рядом разорвалась граната, ранив нескольких казаков из конвоя*.

Наступление велось союзниками энергично. Французы, несмотря на яростное сопротивление, отступали шаг за шагом. Отовсюду к Александру скакали гонцы с известиями о занятии союзными войсками очередного пункта. В разгар боя командир саксонского корпуса Рюссель перешел на сторону союзников и выпустил по французам заряды, предназначенные для пруссаков. Александр принял явившегося к нему Рюсселя с распростертыми объятиями, восторженно превознося его патриотизм.

Все же, несмотря ни на что, успех в этот день не был окончательным. Французы отступили под самые стены Лейпцига, и наутро нужно было штурмовать город.

С рассветом Александр объехал войска, благодаря их за вчерашнюю победу и призывая щадить город и его жителей.

- Ребята! - взывал царь. - Вы вчера дрались как храбрые воины, как непобедимые герои. Будьте же сегодня великодушны к побежденному нами неприятелю и к несчастным жителям города. Ваш государь этого желает, и если вы преданны мне, в чем я уверен, то вы исполните мое приказание.

Стойкость французской армии была сломлена вчерашним поражением. При первых атаках союзниками городских укреплений французы стали отступать, в конце концов обратившись в беспорядочное бегство. На реке Эльстер повторилась березинская

катастрофа. Для переправы через реку и многочисленные отводные каналы нужно было навести множество мостов. Но Бертье не получил от Наполеона накануне никаких распоряжений на этот счет, так что в наличии оказался только один мост - в Линденау. Половина французской армии скучилась на дороге, ведущей к нему, в то время как другая половина прикрывала отступление артиллерии и обоза. Кто-то успел переправиться, как вдруг на глазах у изумленной армии мост взлетел в воздух - французские саперы, неправильно истолковав приказ Наполеона, сочли нужным взорвать мост, чтобы остановить неприятельскую погоню. Мышеловка захлопнулась. Началась паника. Маршал Макдональд, отлично умевший плавать, переплыл Эльстер нагишом и спасся; предводитель польского легиона Понятовский верхом бросился в воду и был унесен течением; Лористон и еще 21 генерал сдались в плен с 15 тысячами человек и 350 орудиями. Еще 13 тысяч французов предпочли смерть плену и были перебиты на улицах и в домах Лейпцига. Они дрались с неслыханным остервенением; Молодая гвардия шесть раз возвращала свои позиции. Но союзники продолжали атаки, не считаясь с потерями. Лейпцигское сражение стоило жизни 130 тысячам человек, в том числе 50 тысячам французов. Русская армия потеряла 22 тысячи солдат и офицеров.

Александр въехал в город около полудня, когда на его улицах еще кипел бой. В окне одного из домов он увидел бледное лицо саксонского короля. Александр демонстративно отвернулся от него. Вечером он написал в Петербург фельдмаршалу Салтыкову: "Благодарение Всевышнему, с душевным удовольствием извещаю ваше сиятельство, что победа совершенная. Битва продолжалась 4-го, 6-го и 7-го числа. До 300 пушек, 22 генерала и до 37 тысяч пленных достались победителям. Всемогущий Един всем руководствовал". Смирение этих строк скрывало рвущуюся наружу радость: он оказался прав в своих предчувствиях, злодей повержен, он, Александр, воистину является орудием Промысла!

Наполеон отошел за Рейн. Германия была освобождена.

Успех вновь породил разброд в коалиции. Меттерних и Фридрих Вильгельм заговорили о выгодном мире и отводе армии на зимние квартиры. В окружении Александра открыто поговаривали, что цель похода достигнута - Наполеон загнан в свое логово, а прусский король может спокойно вернуться в Берлин. Но Александр упорно настаивал на зимнем походе и твердил, что прочный мир может быть подписан только в Париже, любой другой мир будет только перемирием.

- Я не могу каждый раз поспевать вам на помощь за четыреста лье, говорил он Францу и Фридриху Вильгельму.

Благодаря его настойчивости единство мнений было восстановлено, союзные войска двинулись к границам Франции.

Александр считал необходимым сохранить нейтралитет Швейцарии и потому был возмущен, узнав, что австрийцы без его ведома вступили на ее территорию. По этому поводу царь вспомнил о своем старом друге Лагарпе и 22 декабря отправил ему письмо - впервые за годы разлуки. Зная, что Лагарп еще пользуется влиянием в Швейцарии, Александр просил его заверить тамошние власти, что республиканский строй Швейцарии будет сохранен, если кантоны не поддержат Наполеона и сохранят нейтралитет.

1 января 1814 года, в годовщину переправы через Неман, русская армия перешла мост через Рейн в округе Базеля. Александр наблюдал за переправой. Шел дождь со снегом, дул пронизывающий ветер. На днях, отправляя в Швейцарию своего представителя, графа Каподистрию, Александр инструктировал его, что видит свою задачу в "восстановлении европейской системы", которая должна "возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас самих (то есть государей. - С. Ц.) под охрану общего союза, охранить себя и защитить их от честолюбия завоевателей". С такими мыслями он вступал на землю Франции, следуя по пути угадывания замыслов Провидения.

IV

Есть люди, которым боги в своем милосердии дают славу; чаще всего дают они ее в

гневе, как проклятие и как яд, потому что она расстраивает все внутреннее здоровье человека и ведет его шумно, дикими прыжками, как будто

его ужалил тарантул, - не к святому венцу.

Карлейль

К началу 1814 года ненависть народов бушевала у самых границ Французской империи. Всюду - от Голландии до Пиренеев - одна из неприятельских армий ждала благоприятной минуты, чтобы вторгнуться во Францию. После Лейпцигской битвы у Наполеона не оставалось уже ни одного союзника. Из 170 тысяч солдат, оставшихся в гарнизонах охваченной восстанием Германии, ни один не смог принять участие в обороне Франции. Гарнизоны зарейнских крепостей капитулировали один за другим. Один Даву с нечеловеческой энергией оборонял Гамбург с суши и с моря*. За исключением Гамбурга, вне Франции уже нигде больше не развевалось французское знамя.

Во Францию через Рейн переправились жалкие остатки армии, сломленные неудачами и лишениями, среди которых к тому же свирепствовали болезни. В Майнце собралось едва 40 тысяч человек, которых косил тиф. Каждое утро на улицах находили мертвых солдат, лежавших вповалку. Живые отказывались прикасаться к ним. Пришлось нарядить каторжников, чтобы свалить трупы на большие телеги, обвязав их веревками, словно возы с сеном. Каторжники не хотели идти на эту работу, но им пригрозили картечью. Не лучше обстояло дело и с генералитетом. Лица маршалов выражали бесконечную усталость от войны и полное равнодушие ко всему, что раньше так занимало их, - к славе, почестям, победам. Мюрат в Италии первый из маршалов открыто перешел на сторону врага. Остальных от этого шага удерживала лишь многолетняя привычка раболепного преклонения перед гением императора.

По Франции рыскали летучие отряды, отыскивавшие уклонявшихся от военной службы. В провинции стояли суда, набитые товарами, которые никто не хотел разгружать, а тем более везти в глубь страны. В Париже 1 января ничего нельзя было достать, кроме самого необходимого и кое-каких сластей. Роялисты повсюду расклеивали свои прокламации, стараясь напомнить народу забытое имя Бурбонов. По Парижу распространялись слухи, что слуги в Тюильри в светлую лунную ночь видели тени Генриха IV и Людовика XVI, которые с коронами в руках входили во дворец. В ночь на Новый год какой-то смельчак пробрался в Тюильри и завесил флаг Империи черным крепом.

Но в народе вера в Наполеона была еще крепка. В городах и деревнях люди ненавидели и осуждали войну, но это не лишало популярности того, кто был ее виновником. Крестьяне кричали разом и "Долой косвенные налоги!", и "Да здравствует император!". Измученная страна к середине января дала Наполеону еще 175 тысяч солдат, но обучать их было уже некогда: к началу февраля четыре пятых новобранцев еще не владели воинскими приемами. Что касается экипировки и вооружения, то на складах и арсеналах Франции их почти не было - все осталось на военных складах зарейнских крепостей. Тщетно Наполеон объявлял набор за набором, удваивал, утраивал налоги, отдал на нужды войны свой собственный капитал - 75 миллионов франков золотом, сэкономленных за десять лет от сумм, отпускаемых на содержание его двора, тщетно торопил с работой на оружейных заводах, оборудованием крепостей, подвозом припасов, шинелей и сапог - времени и денег уже не хватало ни на что.

1 января Наполеон, назначив регентство Марии Луизы, выехал из Парижа к армии. Он еще надеялся все спасти.

Александр покинул Базель 4 января и выехал вслед за армией. Главная армия Шварценберга шла к Лангру восемью колоннами, растянутыми на протяжении 350 верст. Силезская армия Блюхера двигалась несколько быстрее уже 15 января она заняла Нанси.

Дожди, снег, холод - все служило Шварценбергу оправданием его медлительности. Александр, с детства приученный к холоду, с молчаливым укором фельдмаршалу ехал большей частью верхом, в одном мундире. Он по-прежнему сам командовал русскими войсками, Барклай только объявлял его приказы. Все донесения привозились прямо к царю,

и все бумаги, заслуживавшие особого внимания, составлялись лично государем. Михайловский-Данилевский не раз заставлял его в кабинете с циркулем в руках, проверяющим по карте таблицы переходов. При получении важных сведений ночью Александр вставал, пешком шел к союзным монархам или Шварценбергу, освещая себе путь фонарем, будил их, садился на кровать, читал донесение и условливался о необходимых мерах. В городах, через которые проходила армия, царь принимал местные власти и обнадеживал их своим покровительством.

Русские офицеры с любопытством и некоторым недоумением взирали на страну своих детских грез, не узнавая в ней ту страну культуры и свободы, о которой читали в книгах просветителей и романистов. "Жители, - писал Н. Н. Муравьев, - были бедны, не обходительны, ленивы и в особенности неприятны. Француз в состоянии просидеть целые сутки у окна без всякого занятия и за работу вяло принимается. Едят они весьма дурно, как крестьяне, так и жители городов; скряжничество их доходит до крайней степени; нечистота их отвратительна, как у богатых, так и у бедных людей. Народ вообще малообразован, немногие знают грамоту, и то нетвердо и неправильно пишут, даже городские жители. Они, кроме своего селения, ничего не знают и не знают местности и дорог далее пяти верст от своего жилища. Дома крестьян выстроены мазанками и без полов. Я спрашивал, где та очаровательная Франция, о которой нам гувернеры говорили, и меня обнадеживали тем, что впереди будет, но мы двигались вперед и везде видели то же самое".

10 января в Лангре Александр увиделся с Лагарпом. Старый учитель был вознагражден за двенадцатилетнюю разлуку самым восторженным и радушным приемом. Представляя его прусскому королю, Александр сказал:

- Всем, что я знаю, и всем, что, быть может, есть во мне хорошего, я обязан господину Лагарпу.

Пока что движение союзных армий по Франции напоминало прогулку. Все неукрепленные города сдавались по первому требованию, немногочисленные гарнизоны крепостей не представляли никакой угрозы, и союзники, выставив против них заслоны, спокойно двигались дальше. 20 января разыгралось сражение при Ла-Ротьере. 136 тысяч французов в течение восьми часов выдерживали атаки 122-тысячной главной армии союзников и к вечеру отступили к Труа. Ликование Александра далеко превышало истинное значение победы (потери были равные - по 6 тысяч человек с каждой стороны), главное для него было в том, что это была первая победа над Наполеоном на французской земле. Сверхъестественная сила императора, изменившая ему под Лейпцигом, не возродилась, он перестал быть непобедимым, а значит, принимая во внимание огромный численный перевес союзников, успех можно было считать предрешенным. Офицеры союзных армий назначали друг другу свидания через неделю в саду Пале-Рояля, и сам Александр пообещал пленному генералу Рейнье, уезжавшему из лагеря союзников по случаю обмена пленными:

- Мы раньше вас будем в Париже.

В сражении при Ла-Ротьере союзники, чтобы узнавать друг друга, повязали на рукава белые повязки, что породило слухи о поддержке ими дела свергнутых Бурбонов. Когда Жomini поставил об этом в известность Александра, царь сказал: "Это моя ошибка". Он не был настроен решительно против Бурбонов, но полагал, что Франция откажется принять их, и потому считал их кандидатуру неприемлемой.

На военном совете в Бриенском замке с участием монархов, Шварценберга и Блюхера было решено немедленно идти на Париж. Чтобы облегчить задачу прокормления огромной армии, положено было двигаться двумя колоннами Блюхер долиной Марны, Шварценберг долиной Сены. Самонадеянность победителей была такова, что вопреки всем стратегическим соображениям они дробили свои силы.

В то же время Александр должен был уступить настояниям Меттерниха и Фридриха Вильгельма и отправить уполномоченных послов к Наполеону с предложением открыть мирный конгресс в Шатильоне. Царь пошел на это неохотно и в разговоре с русским уполномоченным графом А. К. Разумовским дал прямое указание не торопиться с

переговорами, предоставив войне идти своим ходом.

Наполеон был настроен далеко не миролюбиво. Когда герцог Бассано в Ножане вошел к нему, чтобы представить на подпись депеши в Шатильон для французского уполномоченного, он нашел императора лежащим на полу над картой, утыканной булавками.

- А, это вы, - сказал Наполеон, едва повернув к нему голову. - Я занят теперь совсем другими делами: я мысленно разбиваю Блюхера.

Семидесятилетний Блюхер задорно бросился вперед. Высокий, с седыми бакенбардами и усами, закрывавшими все лицо, он выглядел на коне, в гусарском доломане тридцатилетним удальцом. Его любимой поговоркой были слова: "Побеждать - это значит двигаться вперед". Он хвалил мужество русских, находившихся под его началом; русские солдаты добродушно называли воинственного старика Брюхов. Его мечтой было разбить Наполеона. "Только бы мне удалось побить его один раз, и он погиб", - говорил он.

Наполеон не предоставил ему этой возможности. Он обрушился на растянувшиеся во время похода колонны Блюхера всей мощью сконцентрированных сил. В течение двух недель победы следовали одна за другой - через каждые три дня. "Я снова надел мои итальянские сапоги", - хвастливо заявлял Наполеон. Сократив наполовину армию Блюхера, император повернул против Шварценберга. Перед Труа 150-тысячная главная армия союзников, несмотря на требования Александра, не решилась вступить в бой с 70 тысячами новобранцев императора и отступила за реку Об.

Надев итальянские сапоги, Наполеон уже собирался примерить и якобинский колпак: он призвал французов к народной войне. Настроение обывателей стремительно менялось не в пользу союзников. Если поначалу Франция встретила нашествие равнодушно, то теперь она готова была сопротивляться ему. Слова Александра о том, что он воюет не с французами, а с Наполеоном, оставались словами, а война - войной со всеми сопутствующими ей невзгодами: реквизициями, грабежами, изнасилованиями, убийствами, поджогами. Занятые союзниками провинции были буквально разорены реквизициями, свыше двухсот городов и селений вконец разграблено. "Я думал, - сказал однажды генерал Йорк своим бригадирам, - что имею честь командовать отрядом прусской армии; теперь я вижу, что командую только шайкой разбойников".

Действительно, разбой прусских частей мог сравниться только с неистовым грабежом казаков (регулярные русские части соблюдали строгую дисциплину). "Пруссак" и "казак" сделались самыми ненавистными словами во Франции. Казалось, что они не просто ищут добычу, но что им по душе сеять скорбь, отчаяние и разорение. Не довольствуясь тем, что их карманы, походные сумки и телеги ломились от всякого добра (на трупе одного казака нашли пять пар часов), они уничтожали все, что не могли увезти с собой, разбивали двери, зеркала, окна, рубили мебель, рвали обои, поджигали дома и скирды, вырубали сады и виноградники, выбивали днища у бочек с вином и затопляли подвалы. Зарево пожаров озаряло дикие сцены, не поддающиеся описанию. Мужчин рубили саблями и кололи штыками или, раздетых догола и привязанных к ножкам кровати, заставляли смотреть, как насилюют их жен и дочерей; других истязали, пытаясь, где они спрятали ценности и деньги. В Бюси-ле-Лон казаки сожгли ноги слуге, охранявшему господский дом, а так как и после этого он упорно молчал, сунули ему в рот охапку сена и подожгли; в Ножане пруссаки едва не разорвали суконщика, растягивая его за руки и за ноги, и только благодетельная пуля прекратила его мучения. В Провене бросили на угли младенца, чтобы заставить его мать указать место, где спрятаны драгоценности. В одном только округе Вандёвр насчитывалось 550 человек, умерших от истязаний и побоев.

Французские крестьяне составляли партизанские отряды, правда, немногочисленные, которые не менее зверски расправлялись с захваченными союзниками. Особенно прославился отряд отставного офицера Брисса, действовавший в Вогецских горах. Однажды он появился из леса на виду у Александра и обстрелял русский авангард, ранив одного гусара. Впрочем, широкой поддержки у местных жителей партизаны не получили. Что касается местных властей, то они всегда проявляли лояльность к союзникам. Так, мэр города

Бламона уведомил Александра письмом, что шайка злоумышленников намеревается посягнуть на его жизнь.

Угрожающие размеры приобрело и дезертирство из союзной армии. Только в русских частях на пути к Парижу сбежало из строя 6 тысяч солдат.

В этой тревожной обстановке 13 февраля в Бар-сюр-Об состоялся военный совет союзного командования, на который были приглашены Шварценберг, Меттерних, лорд Кэстльри, Нессельроде, Радецкий, Дибич, Волконский и ряд других генералов и сановников. Все они, как один, высказывались за отступление. Александр, напротив, видел только одно направление - на Париж. Он убеждал, просил, требовал, горячился... Наконец он твердо сказал:

- В случае отступления я отделюсь от главной армии со всеми находящимися здесь русскими войсками, соединюсь с Блюхером и пойду на Париж. Надеюсь, - обратился он к Фридриху Вильгельму, - ваше величество, как верный союзник, явивший мне многие опыты своей дружбы, не откажетесь идти со мною.

Прусский король, вздохнув, ответил, что не расстанется с ним и что уже "давно предоставил свои войска в распоряжение его величества".

- Для чего же оставлять меня одного? - забеспокоился император Франц.

Решено было переменить роли армий Блюхера и Шварценберга: теперь пруссаки, усиленные армией Бернадота, должны были оттягивать на себя главные силы Наполеона, а армия Шварценберга - действовать в тыл французам, держа направление на Париж.

На следующий день вся русско-австрийская армия перешла обратно за реку Об. В то же время Блюхер начал крайне рискованное движение к Парижу, подставляя свой фланг Наполеону.

- Да, да, я иду на Париж с разбитой армией! - ликовал старый прусский вояка.

Наполеон ринулся ему наперерез. Завязались упорные бои, победы сменялись неудачами, пока приближение армии Шварценберга не заставило императора отступить.

В начале марта союзники получили неожиданную поддержку из Парижа - от Талейрана. Вице-электор совершил новое предательство во благо Франции. Недавно Наполеон сделал еще одну попытку связать его с собой, поручив возглавить переговоры в Шатильоне, но Талейран отказался от этой чести, едва избежав побоев от взбешенного императора. Для Талейрана было важно не покидать Париж, где он держал в руках все нити политической игры. У него возник план "законного" низложения императора не силой оружия иностранных армий, а волей самой нации в лице Сената, с последующей передачей престола Бурбонам. Пока Наполеон на заснеженных полях Франции выигрывал февральскую кампанию, Талейран в столице вербовал сторонников его низложения. Самым крупным его приобретением был архиепископ Майнцский Дальберг. Вдвоем они послали в лагерь союзников барона Витроля, инспектора казенных ферм, ранее служившего у принца Конде и втайне сочувствующего роялистам. Дальберг передал с ним записку, написанную симпатическими чернилами, осторожный Талейран ограничился устными инструкциями. Суть миссии Витроля сводилась к тому, чтобы побудить союзников как можно быстрее двигаться к Парижу - здесь их ждут.

5 марта Витроль был у Александра и вручил ему листок бумаги, на котором после промачивания в соленой воде появились строчки: "Особа, мной посылаемая к вам, заслуживает вполне вашего доверия. Выслушайте ее и узнайте меня. Пора объясниться. Вы двигаетесь на костылях; встаньте на ноги и пожелайте что можете". Состоялся долгий разговор, во время которого Витроль пришел в ужас: царь высказывался против возвращения Бурбонов!

- Если бы вы их знали, - говорил Александр, - вы были бы убеждены, что бремя такой короны слишком тяжело для них. Идеи свободы не могли развиваться безнаказанно в течение столь долгого времени в стране, подобной вашему отечеству.

"Вот до чего мы дожили, о Боже! - записал потом ошеломленный Витроль. - Император Александр, царь царей, соединившихся для блага вселенной, говорил мне о республике!"

Он, как мог, старался поколебать "гибельное" предубеждение Александра против Бурбонов:

- Мнение нации вы найдете не в провинциях, которые безгласны, а в Париже, и только в Париже! Соедините ваши силы, не оглядывайтесь назад, сожгите ваши корабли, двигайтесь прямо к Парижу, и я предаю мою голову в руки вашего величества: пусть она падет на плахе, если общественное мнение в Париже не выскажется открыто в пользу восстановления монархии.

В конце концов горячность Витроля произвела впечатление на царя.

- Господин Витроль, - сказал он, - в тот день, когда я буду в Париже, я не признаю другого союзника, кроме французской нации. Я обещаю вам, что этот разговор будет иметь величайшие последствия.

Последствия наступили немедленно: переговоры в Шатильоне прекратились, армия Шварценберга двинулась вперед.

8 марта 100-тысячная австро-русская армия настигла Наполеона с 28 тысячами человек на берегу Об, у Арси. Французы вначале в беспорядке кинулись к мосту, но Наполеон со шпагой в руке преградил им путь: "Кто из вас перейдет мост раньше меня?" Весь оставшийся день, до ночи, французы отбивали нерешительные атаки союзников, не уступая ни пяди земли. Александр, следивший за распоряжениями Шварценберга, громко произнес:

- Эти австрийцы сделали мне много седых волос.

На следующий день Наполеон приказал отступать по единственному мосту через Об. Увидев этот маневр, Шварценберг созвал монархов и весь штаб на краткое совещание, которое продолжалось два часа. Александр в этот день чувствовал себя нездоровым и не присутствовал на совещании, поэтому Шварценберг благополучно смог уклониться от несомненной победы. Когда союзники все-таки двинулись вперед, две трети французов уже достигли другого берега. Оставшиеся гренадеры продержались в Арси до темноты и ночью, отступая, взорвали мост. Имея дело с таким противником, мог ли Наполеон бояться поражения?

Войска императора исчезли из поля зрения союзников на целых двое суток. Наконец выяснилось, что Наполеон переправился через Марну и идет к Сен-Дизье с целью ударить в тыл главной армии. Это стало известно из собственноручного письма Наполеона к Марии Луизе, перехваченного 12 марта казаками. (Император всегда писал супруге шифром, но эта записка единственная! - оказалась незашифрованной. В этом невезении было уже что-то фатальное.) Письмо Наполеона кончалось словами: "Этот маневр или спасет, или погубит меня". Получилось - погубил.

Известие о том, что путь на Париж открыт, было сразу оценено Александром. 13 марта в десять часов утра царь собрал общий военный совет, где предложил, соединившись с Блюхером, идти прямо на столицу, оставив Наполеона в тылу. Шварценберг, беспокоившийся за свои коммуникации, настаивал на движении вслед Наполеону. Большинство генералов согласилось с ним.

Однако в дело вновь вмешался случай. Сразу после роспуска совещания Александру принесли письмо министра полиции Савари Наполеону, только что перехваченное казаками, в котором говорилось, что в Париже скопилось множество влиятельных лиц, враждебных правительству, и что министр полиции не может поручиться за спокойствие в столице в случае приближения союзной армии. Царь немедленно потребовал к себе Барклая-де-Толли, Дибича, Толя и Волконского.

- Теперь нам представляется две возможности, - сказал им государь. Первая - идти на Наполеона и в гораздо превосходнейших силах атаковать его, и вторая - скрывая от него наши движения, идти прямо на Париж. Какое ваше мнение, господа?

Он посмотрел на Барклая, как старшего чином. Барклай, взглянув на карту, повторил решение военного совета:

- Надобно со всеми силами идти за Наполеоном и атаковать его.

Дибич предложил послать 40-50 тысяч человек к Парижу, а с остальными силами

преследовать Наполеона. Толь советовал отрядить вслед Наполеону 10 тысяч человек кавалерии, а главными силами идти форсированным маршем к Парижу. Что касается Волконского, то он молчал, находясь в некотором расстоянии от стола с картой, как "адъютант, который ожидает приказания своего генерала" (это не помешало ему впоследствии приписать себе историческое решение идти на Париж). Александр поддержал мнение Толя. Дибич возразил:

- Если ваше величество хочет восстановить Бурбонов, тогда, конечно, лучше идти со всеми силами на Париж.

- Здесь дело идет не о Бурбонах, а о свержении Наполеона, - напомнил ему царь.

Генералы взялись за циркуль, чтобы рассчитать переходы, а Александр в волнении вышел из кабинета. "В глубине сердца моего, - рассказывал он впоследствии князю А. Н. Голицыну, - затаилось какое-то смутное и сильное чувство ожидания, какое-то непреодолимое желание предать это дело в полную волю Божию. Совет продолжал заниматься, а я на время оставил его и поспешил в собственную мою комнату; там колена мои подогнулись сами собою, и я излил пред Господом все мое сердце". Вообще, в последние дни он был весь издерган, нервы его были на пределе. Волконский писал, что жить с царем все равно как "на каторге".

Вернувшись в кабинет, Александр выслушал расчеты генералов: если двинуться на Париж немедленно, то у союзной армии будет не менее двух суток, прежде чем Наполеон подоспеет на выручку столице. Царь немедленно поскакал вдогонку союзным монархам и Шварценбергу. Догнав их, он спешился, расстелил карту прямо на земле и объяснил положение дел. На этот раз Шварценберг, против своего обыкновения, сразу дал согласие изменить направление движения армии.

В тот же день союзная кавалерия наткнулась у Фер-Шампенуаза на 4300 новобранцев, шедших на соединение с Наполеоном. Французы построились в шесть каре и упрямо двигались вперед, пробиваясь сквозь толщу все прибывающей конницы. Они прошли семь миль, отбиваясь вначале от 5 тысяч, потом от 10 тысяч и, наконец, от 20 тысяч всадников. Три каре так поредели, что вынуждены были сомкнуться в одно. Александр лично руководил боем. Видя ожесточение, с каким русские и прусские драгуны и гусары, ворвавшиеся в одно из каре, рубили несчастных "сыновей Марии Луизы" (прозвище новобранцев, призванных во французскую армию в январе 1814 года, во время регентства императрицы Марии Луизы), царь устремился туда с лейб-казацким полком и въехал прямо в середину каре. На все уговоры не подвергать свою жизнь опасности он отвечал:

- Я хочу спасти их.

Вмешательство царя спасло жизнь нескольким сотням французских юношей. Впрочем, они неохотно сдавались в плен, предпочитая смерть в бою. В последний раз солдаты Империи проявили бесстрашие, которое, однако, уже не могло спасти ни Францию, ни Париж, ни императора.

17 марта колонна генерала Раевского первая увидела столицу Франции. К вечеру подошли остальные части - всего около 110 тысяч человек, из которых 63 тысячи были русскими. Главная квартира союзной армии расположилась в Бонди.

Союзники подходили к Парижу с северо-восточной стороны, наиболее укрепленной естественными и искусственными преградами. Здесь перед городом возвышались две группы холмов - Бельвильские высоты и Монмартр, покрытые кустарником, лесом, садами и деревнями. С запада и юга город был, напротив, совершенно открыт, но на военном совете союзники решили атаковать Париж с северо-востока, чтобы не тратить время на переброску войск в другое место (разведка неверно информировала союзный штаб о том, что Наполеон уже находится неподалеку от Мо и будет под Парижем не позже чем через сутки; с другой стороны, разведка значительно преуменьшила число защитников города).

Столицу обороняли отряды маршалов Мармона и Мортье, которые вместе с 13 тысячами национальных гвардейцев насчитывали 42 тысячи человек. Мария Луиза с сыном накануне покинула город. Формально оборону Парижа возглавил брат Наполеона Жозеф,

который назначил главнокомандующим маршала Мармона.

Ночью в союзном лагере царило оживление. Вновь было получено приказание обязать рукава белыми повязками, и солдаты спешно искали и раздирали на полосы простыни. Александру донесли, что армия собирается не оставить в Париже камня на камне. Царь поспешил к Фридриху Вильгельму, но с удивлением услышал, что тот "никак не берется воспретить такого удобного и долгожданного случая для прусских войск" отомстить за все несчастья их родины.

- Если можете, ваше величество, - добавил король, - возьмитесь сами удержать мои войска.

- За моих русских я ручаюсь, - ответил Александр. - Надеюсь сдержать и ваших солдат.

Штурм начался утром 18-го. Опираясь на показания разведки, союзное командование полагало, что корпуса Мармона и Мортье еще не прибыли в Париж, поэтому первоначально на город было двинуто всего 16 тысяч человек из состава русской армии. К тому же прусский офицер, посланный Александром к Блюхеру еще в пятом часу утра, заблудился и доставил депешу с приказанием атаковать Монмартр с трехчасовым опозданием.

Принц Евгений Вюртембергский, возглавлявший русские штурмовые колонны, занял Роменвильский замок, расположенный на склоне высот, - ключ всей позиции. Мармон лично повел французов в контратаку. В течение часа кипел жестокий бой. Упорство французов навело принца Вюртембергского на мысль о том, что он имеет дело не с одной дивизией Компана, а с корпусами Мармона и Мортье. Показания пленных подтвердили его догадку. Евгений тотчас известил об этом Шварценберга и Барклая. На место боя прибыли подкрепления, и французы, не выдержав, стали отступать. Мармон, уже с неделю небритый, в рваном мундире, с головы до ног закопченный порохом, сражался в последних рядах отступающих. Вокруг него закололи штыками с десятков солдат, а ему самому прострелили шляпу. В этот момент один французский батальон, ранее окруженный русскими, пробился сквозь окружение и ударил в тыл атакующим. Благодаря этому отряд Мармона смог отступить на высоты Бельвиля.

В 11 часов Мармон известил Жозефа: "Я не могу продолжать оборону более двух часов и предупредить несчастье насильственного взятия Парижа". Но, к удивлению маршала, союзники приостановили атаку - это Шварценберг, узнав о силах гарнизона, распорядился подождать прибытия Блюхера. Барклай поддержал это решение. В течение последующих двух часов только артиллерия противников поддерживала вялую перестрелку.

В полдень показались колонны Силезской армии, охватывавшие город с севера. Блюхер из-за болезни ехал не на лошади, а в коляске. Тем не менее он был настроен, как всегда, воинственно и клялся сжечь "проклятый город революции". Жозеф, потрясенный этим зрелищем, послал записку Мармону о том, что уполномочивает его вести переговоры о сдаче столицы, после чего последовал за Марией Луизой в Блуа.

К часу дня подкрепления союзников вышли на исходные позиции и двинулись вперед, захватывая одно укрепление за другим. Около трех часов русские войска овладели Бельвильскими высотами. Французы, теснимые со всех сторон, медленно отходили к предместью. В городе началась паника.

В это время Александр беседовал с пленным генералом Пейра. Поговорив с ним с полчаса и расспросив о положении дел в Париже, царь отпустил его к Мармону с требованием сдачи столицы. Вместе с французским генералом в Париж отправился русский парламентар - флигель-адъютант полковник Михаил Федорович Орлов.

- Разрешаю вам прекращать огонь повсюду, где вы найдете это нужным, напутствовал его Александр. - Бог ниспослал мне власть и победу лишь для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие. Если мы можем достичь этого мира без борьбы, тем лучше; в противном же случае уступим необходимости и будем сражаться, потому что с бою или церемониальным маршем, на развалинах или в пышных палатках, но Европа должна ныне же ночевать в Париже.

Ко времени прибытия Орлова Мармон уже полностью пал духом. Успеху русского

парламентера немало способствовала и поддержка его предложений Талейраном. В четыре часа дня Мармон послал к Александру трех парламентариев, из которых лишь один сумел проникнуть за линию огня, двое других, потеряв лошадей и трубачей, возвратились.

К шести часам вечера были выработаны условия капитуляции. Огонь постепенно прекратился по всей линии. Последние выстрелы раздались на Монмартре - приказ о прекращении огня пришел к Блюхеру уже после того, как он направил на высоты дивизию генерала Ланжерона. Поэтому прусский фельдмаршал выполнил приказ не ранее, как взял последний оплот обороны. Вместе со штабом он поднялся на Монмартр, чтобы осмотреть Париж.

- Накажи меня Бог, - проворчал он сердито, - но я охотнее направил бы на это революционное гнездо мои пушки, нежели мою зрительную трубу!

Александр объехал войска и поздравил их с победой. Тут же, перед строем, был зачитан приказ о присвоении Барклаю-де-Толли звания фельдмаршала. (На радостях Александр собирался пожаловать фельдмаршалом и Аракчеева, ни разу не побывавшего ни в одном сражении, но тот благоразумно отклонил эту честь.)

Сражение под Парижем имело больше политическое, чем военное, значение. Тем не менее по числу потерь (по 9 тысяч человек с обеих сторон; из союзников 6 тысяч были русские) оно было наиболее кровопролитным за всю кампанию 1814 года.

К трем часам ночи была подписана капитуляция: Париж во всем полагался на великодушие союзных монархов. Орлов уверил отцов города, что они могут послать депутацию к Александру, чтобы высказать свои пожелания. Те воспользовались этим предложением и направили в Бонди префектов департаментов города, членов муниципального совета и командиров национальной гвардии.

В Бонди депутатов разместили на ночлег, Орлова же незамедлительно проводили к царю. Александр принял его лежа в постели.

- Какие известия вы привезли? - спросил он.

- Ваше величество, это капитуляция Парижа, - ответил Орлов.

Александр взял акт о капитуляции, прочитал и, сложив, спрятал под подушку. Затем, выслушав краткий рассказ Орлова, он отпустил его и тотчас заснул. Страшное напряжение всех душевных сил разрешилось почти обморочным сном.

Наутро царь принял депутацию.

- Передайте парижанам, - сказал он, - что я не вступаю в их стены в качестве врага и что от них зависит иметь меня другом. Но скажите также, что у меня есть единственный враг во Франции и что в отношении к нему я непримирим.

Дальнейшая речь государя повторяла эту мысль на двадцать ладов с крайней запальчивостью, причем Александр нервно расхаживал взад-вперед по парадной зале. Он возложил охрану спокойствия в городе на национальную гвардию и заверил, что не потребует от жителей ничего, кроме припасов войскам; сама армия, кроме гвардии, расположится лагерем под Парижем.

Больше всего теперь Александр желал, чтобы Париж не постигла участь Москвы. В этом заключались, если угодно, его месть и его тщеславие.

Военный замысел Александра оправдался полностью: Наполеон слишком поздно узнал об опасности, угрожавшей Парижу. Разгромив 15 марта у Сен-Дизье 10-тысячный корпус Винценгероде, император из расспроса пленных выяснил, что перед ним лишь заслон, а не главные силы союзников. "Это прекрасный шахматный ход! - воскликнул Наполеон. - Я никогда бы не поверил, что генералы коалиции способны сделать это!"

Император немедленно двинул войска к Парижу, но 18 марта, к началу штурма, он достиг лишь Труа (150 миль от столицы); к концу дня расстояние сократилось почти наполовину, но здесь измученная гвардия оказалась не в состоянии идти дальше. Наполеон продолжил путь всего с несколькими эскадронами, надеясь хотя бы личным присутствием поправить дело. Вскоре он бросил и этот конвой и отправился в Париж на почтовых. В двадцати милях от столицы он столкнулся с кавалерийским отрядом. В одном из всадников

Наполеон узнал генерала Бельяра и, полный нехороших предчувствий, схватил его за рукав.

- Где армия? - спросил император дрожащим голосом.

- Она следует за мной, сир, - был ответ.

- А неприятель?

- Он стоит у ворот Парижа. Ах, сир, - с горечью воскликнул Бельяр, если бы у нас было десять тысяч человек резерва и если бы вы были с нами мы бы спасли Париж и отстояли честь нашей армии.

- Безусловно, - с раздражением сказал Наполеон, - но я не могу быть везде.

Несколько минут он стоял полностью уничтоженный. Затем на него напал припадок бешенства, он метался из стороны в сторону и кричал как безумный, осыпая ругательствами и проклятиями Жозефа и Мармона и обещая пойти на Париж, призвать к оружию народ и либо вышвырнуть союзников вон из столицы, либо погresti себя под ее развалинами.

Со стороны Парижа подходили новые войска и обступали императора. Наполеон продолжал неистовствовать.

Прошло не менее получаса, прежде чем Наполеон успокоился. Казалось, он обрел былую энергию - потребовал стола, свечей, карт. Получив их, он уединился с Бертье и Коленкуром на ближайшей почтовой станции. Здесь он изложил свой план. Коленкур должен был немедленно отправиться в Париж, к Александру, чтобы предупредить свержение Наполеона и предложить мир на условиях Шатильонского конгресса. Пока будут тянуться переговоры, к императору подойдут подкрепления, и Париж будет освобожден.

Коленкур выслушал эти фантазии без всякого воодушевления. Он попытался образумить Наполеона, предложив вступить с Александром в честные переговоры и покориться - не людям, а всемогущим обстоятельствам.

- Нет, нет! - резко оборвал его император. - Прекратите унижать меня! Пока еще можно спасти величие Франции. Наши шансы будут прекрасны, если только вы выиграете мне три-четыре дня.

С этими словами он отпустил Коленкура, решив ждать результатов его посольства в Фонтенбло. Наутро он выехал туда в крайне возбужденном, нервном состоянии. Как раз таким соратники видели его накануне великих побед.

Однако Наполеон уже не обладал прежним авторитетом. Коленкур, прежде безропотно подчинявшийся воле императора, и не думал серьезно о выполнении этого поручения. Он вообще принадлежал к людям, которым невыносима роль обманщика. Коленкур решил использовать свою миссию по-своему и спасти Наполеона тем способом, который представлялся ему наиболее вероятным. Он надеялся подействовать на благородство Александра и тем предупредить роялистские интриги.

Коленкур приехал в Бонди утром 19-го. В окрестных селениях хозяйничали солдаты союзной армии. Всюду были видны следы грабежа и смерти: выбитые двери, окна, мертвые тела людей и животных... Возле самого Бонди наполеоновский посол столкнулся с роскошными придворными экипажами (заготовленными Наполеоном для особо торжественных случаев) - это уезжала депутация парижских властей. Сквозь хрустальные стекла карет были видны довольные лица, на которых не было ни тени патриотического горя.

До начала торжественного въезда в Париж оставалось не более часа; тем не менее Александр принял Коленкура. Посол был встречен как добрый друг, царь обнял его и усадил рядом с собой.

- Я чужд всякого чувства мести, - начал разговор Александр, - я хочу только мира. Не найдя его в Шатильоне, я пришел искать его в Париже. Я хочу мира, почетного для Франции, но прочного для Европы, а посему ни я, ни мои союзники не соглашаемся вести переговоры с Наполеоном. Вступив в Париж, союзники соберут совет из выдающихся лиц, выбранных из всех партий, из всех оттенков общественного мнения. Лицо, указанное наиболее сведущими представителями нации, будет принято союзниками, и Европа освятит его избрание своим согласием.

Александр говорил тихим, спокойным голосом, в котором, однако, звучала непоколебимая решимость. Коленкур попытался возразить:

- Союзники не должны доводить до отчаяния Наполеона и его армию...

- Союзники вовсе не желают никого доводить до отчаяния, - так же спокойно отвечал Александр. - Но они твердо намерены довести борьбу до конца, дабы не быть вынужденными начинать ее вновь. Рассчитывать же на прочный мир с человеком, опустошившим всю Европу от Кадикса до Москвы, союзные государи считают невозможным.

Коленкур молчал, совершенно подавленный. Александр ласково уверил его в своем расположении и пригласил навестить его в Париже в любое время. С этими словами он подал ему руку и вышел.

Последнее, что увидел Коленкур, покидая Бонди, была светло-серая лошадь, поданная царю для торжественного въезда в Париж. Посол Наполеона узнал в нем жеребца по имени Эклипс, некогда подаренного им Александру в Петербурге.

V

Господа, мы в Париже;
Русские учтивы,
Вы видели нашу страну,
Мы пришли на ваши празднества,
Трагедию и балет,
Брюне и водевили;
И мы пишем вам куплеты,
Не предавая ваш город огню.
В. Л. Пушкин.

Куплеты на взятие Парижа

С рассветом 19 марта союзные войска, которым предстояло войти в Париж, начали строиться в походный порядок. Честь вступления во французскую столицу выпала не всем, а только русско-прусской гвардейской пехоте, кавалерии и артиллерии, шести батальонам австрийских гренадер и одному вюртембергскому полку - всего примерно 35 тысяч человек. Дело в том, что во всей союзной армии не было ни одной целой пары сапог и ни одного целого мундира; многие солдаты были одеты во французские крестьянские блузы, в женские кофты и даже в капуцинские рясы, большинство же щеголяло во французских мундирах, снятых с убитых при Арси, Фер-Шампенуазе и под Парижем. Только белые повязки на рукавах и сосновые ветки, воткнутые в кивера, говорили о принадлежности этих солдат к одной армии. Гвардия же находилась в резерве и хотя тоже поистрепалась в боях, но походно-бивуачная жизнь не оставила на ней таких разрушительных следов. По замыслу Александра, "людоеды и татары", которыми пугал французов Наполеон, должны были покорить парижан не только воинственным видом, но и элегантностью.

В восемь часов утра Александр выехал из Бонди в сопровождении небольшой свиты. На нем был парадный мундир лейб-гвардии казачьего полка; роскошный белый султан рассыпался по его шляпе. По пути к царю присоединились прусский король, Шварценберг и более тысячи генералов и офицеров союзной армии (император Франц и Меттерних отсутствовали из соображений приличия, не желая принимать участие в торжестве по случаю победы над родственником Габсбургов; не было также и Блюхера - из-за болезни). За ними тронулись и остальные войска.

Александр мысленно оглядывался на пройденный путь. Подозвав к себе Ермолова, он незаметно указал ему на ехавшего бок о бок Шварценберга и сказал по-русски:

- По милости этого толстяка не раз у меня ворочалась под головой подушка. -Затем, помолчав с минуту, царь спросил: - Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге? Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, считали меня простачком.

- Не знаю, государь! - в смущении отвечал Ермолов. - Могу сказать только, что слова, которые я удостоился слышать от вашего величества, никогда еще не были сказаны

монархом своему подданному.

В одиннадцать часов колонна монархов и генералов достигла Пантенской заставы Парижа. У ворот Александра приветствовал принц Евгений Вюртембергский. Он представил царю свой 20-й егерский полк (русской армии), более других покрывший себя славой в Отечественной войне и заграничном походе (полк участвовал в 137 сражениях; из 7 тысяч нижних чинов, числившихся в нем в апреле 1812 года, оставалось налицо 400 человек, а из 567 офицеров - 8).

Приветствовав храбрецов, Александр открыл шествие. Под звуки военной музыки войска вошли в Париж. Во главе колонны гарцевал прусский гвардейский гусарский полк, за ним ехали лейб-казаки в своих красных мундирах, следом двигались Александр и Фридрих Вильгельм со своей бесконечной свитой; дальше - русская и прусская гвардия, австрийцы и остальные. К входившим в Париж войскам пристало немало любопытных из числа солдат и офицеров тех частей, которые должны были оставаться в лагере под городом. "По левую руку от меня, - вспоминал один такой нарушитель дисциплины, - ехал лейб-медик принца (Евгения Вюртембергского. - С. Ц.) в старом изношенном кителе и дырявой фуражке, по правую - прусский драгун, приветствовавший всех разряженных парижанок неприличными гримасами. Передо мною двигался корпусной аудитор с крестьянской фуражкой на голове, а сзади - австрийский камергер в богатом гусарском мундире".

Вначале вид Парижа внушал победителям только отвращение: тянулось Сен-Мартенское предместье - один из грязнейших рабочих кварталов старого Парижа. Дома здесь были старинные, закоптелые, с облупившейся штукатуркой, улицы - тесные и вонючие, под ногами чавкала грязь, перемешанная с помоями и падалью. В глазах толпившихся здесь людей (блуждающие с женами, нахальные мальчишки) читалось враждебное отчуждение, несколько смягченное любопытством. Повсюду раздавался лишь один вопрос: где император Александр? Один из русских офицеров, ехавший с лейб-казаками впереди царя, автоматически отвечал: "Белая лошадь, белый султан". Стоило вдали показаться генералу на белой лошади, толпа начинала вопить: "Вот он! Вот он!" Здесь любопытство, однако, не перерастало в симпатию и энтузиазм. Кое-где в толпе даже мелькали плакаты с призывом к сопротивлению и слышались возгласы: "Да здравствует император Наполеон!" (В течение всего прошедшего дня простой люд Парижа требовал от правительства оружия, чтобы защищать город, но так и не получил его.)

Со вступлением на северный бульвар все вокруг приобрело праздничный вид. По обеим сторонам улицы потянулись дома, один роскошнее другого. "При всех почти домах находятся богатые лавки с различными товарами, - пишет очевидец. - Серебряные и галантерейные ряды блестят на каждой улице. Художники и разного рода промышленники означаются бесчисленными вывесками, пестреющими на всех домах. Все улицы... вымощены камнем". За неимением роялистских флагов из окон свешивались белые скатерти, женщины с балконов махали белыми платками - повязки на рукавах союзников и тут ввели в заблуждение парижан. Нарядные зрители заполнили улицы. Все женщины, как мещанки, так и аристократки, держали себя одинаково свободно, даже вызывая, теснились вперед и увлекали за собой мужчин.

Изменилось и настроение толпы. Уже в начале бульвара навстречу союзникам выехала странная процессия - кавалькада щеголей из самых знатных фамилий, на богато убранных лошадях, одетые все как один в черные фраки с белой повязкой на правом рукаве и белые перчатки. Это была политическая демонстрация в пользу Бурбонов, устроенная Талейраном. Молодые люди подъехали к свите государей и втерлись в нее с непринужденным изяществом светских людей. Они осыпали любезностями союзных офицеров и ругали Наполеона.

Остальная публика ликовала. На союзников сыпались цветы и белые ленты. Вообще, отличное владение русских офицеров французским языком приводило к тому, что их вначале принимали за соотечественников-эмигрантов.

Александр кричал в обе стороны:

- Я не являюсь врагом! Я приношу мир и торговлю!

- Да здравствует мир! - неслось в ответ. - Мы давно ждали прибытия вашего величества!

- Я пришел бы к вам раньше, но меня задержала храбрость ваших войск, с любезной улыбкой отвечал царь. Им вновь владело только одно желание нравиться, пишет французский историк Тьер, "и никому не хотел он так нравиться, как этим французам, которые побеждали его столько раз, которых он победил наконец в свою очередь и одобрения которых он добивался с такой страстностью. Победить великодушным этот великодушный народ - вот к чему он стремился в эту минуту больше всего. Благородная слабость - если только это была слабость".

Сотни людей теснились вокруг Александра, целовали его коня, стремяна, ботфорты. Женщины и тут подавали пример, хватаясь за его шпоры и даже за хвост его лошади. Царь все терпел, все позволял. Среди страшной давки какой-то портной сумел подать ему свое прошение; Александр принял бумагу с милостивой улыбкой. Сразу, как по команде, со всех сторон к нему потянулись руки с адресами, прошениями... Вскоре Александр оказался не в состоянии принимать их и поручил это одному из адъютантов.

Был момент, когда какой-то молодой человек, находившийся в толпе рядом с царем, внезапно поднял над головами ружье. Михайловский-Данилевский ринулся на него, сшиб с ног, вырвал оружие и, схватив за шиворот, стал звать жандармов. Возникла сумятица. Парижане, не менее русских изумленные появлением в своих рядах вооруженного человека, растерянно повторяли: "Он пьян". Александр, раздосадованный этим неприятным инцидентом, настойчиво повторял:

- Оставь его, Данилевский, оставь его!

Наконец Михайловский-Данилевский разжал руку. Молодой человек скрылся в толпе. Его намерения так и остались невыясненными.

Достигнув Елисейских полей, Александр и Фридрих Вильгельм остановились, пропуская мимо себя войска. Вся громадная площадь и все примыкающие к ней улицы были переполнены народом. Парижанки просились в седла к офицерам, чтобы лучше видеть государей. Очень скоро десятки элегантно одетых дам продефилировали мимо Александра верхом вместе со всадниками. Царь, смеясь, указал на них Шварценбергу.

- Лишь бы только не похитили этих сабинянок! - лукаво ответил старый ловелас.

Даже Евгений Вюртембергский вынужден был уступить напору одной хорошенькой мадемуазели.

- Молодой господин, возьмите меня в седло, я умираю от любопытства, умоляла она.

- Мадемуазель! - строго возразил принц. - Я состою на службе.

- А что это значит?

- А то, что мне предстоит сейчас стать во главе отряда и обнажить шпагу.

- О! В таком случае я буду держать ее вам.

- Вы слишком любезны, мадемуазель, - смягчился Евгений. - Могу я узнать ваше имя?

- Меня зовут Луиза. Отец мой торгует сукнами. Он будет крайне рад видеть вас у себя.

Этот довод сразил принца, и он подхватил девушку в седло.

Другая особа столь же напористо атаковала другого немецкого принца:

- Ах, какая прелестная лошадь!

- Мадемуазель, вы, кажется, более обращаете внимание на росинанта, нежели на самого рыцаря? - с шутливой обидой спросил его высочество.

- Ах, месье, - был ответ, - вы действительно очень красивый молодец, но красивые мужчины не так редки в Париже, как красивая лошадь.

Еще одна парижанка добралась почти до самих государей. Сгорая от любопытства узнать, кто есть кто в этой блестящей толпе, она обратилась к толстяку генералу, покрытому звездами и орденами:

- Месье! Не могли бы вы показать мне короля Прусского?

- Не угодно ли вам взглянуть налево, на моего соседа?

- А Блюхер?
- Его нет здесь.
- А Веллингтон?
- Он пока еще сражается.
- А Шварценберг?
- Он имеет честь говорить с вами.
- Ах, Боже мой, князь, как я счастлива познакомиться с таким знаменитым человеком!

Теперь я не сомневаюсь, что он несет на своих плечах всю Европу.

Прохождение войск мимо государей длилось до пяти часов пополудни. Затем Александр хотел ехать в Елисейский дворец, выбранный им для своего местопребывания в Париже, но тут ему доложили, что дворец, по слухам, минирован. Тогда Талейран предложил царю остановиться у него, и Александр с немногими адъютантами пешком направился на Сен-Флорентинскую улицу. (Позже предполагали, что слух о минировании Елисейского дворца пустил сам Талейран - чтобы иметь Александра всегда "под рукой" и не допустить на него посторонних влияний.)

В доме Талейрана царя уже ожидали граф Нессельроде, генерал на русской службе корсиканец Поццо-ди-Борго и обычные гости вице-электора: Дальберг, аббат де Прадт, финансист барон Луи и генерал Дессоль. Александр поговорил с гостями и прошел в кабинет хозяина. Спустя полчаса приехали король Прусский, Шварценберг и князь Лихтенштейн. Талейран проводил их в кабинет вместе с Нессельроде и Поццо-ди-Борго и попросил дозволения пригласить "своего единственного соучастника", Дальберга.

Разговор шел о том, что сейчас волновало всех, - о будущем Наполеона и Франции. Александр открыл собрание краткой речью, в которой заявил, что союзники преследуют лишь одну цель - мир и готовы заключить его с теми лицами, которые могут считать себя представителями французской нации:

- Ни я, ни союзники не имеем ни малейшего притязания вмешиваться во внутренние дела Франции, давать ей то или другое правительство. Мы готовы признать какое угодно правительство, только бы оно было признано всеми французами и дало бы нам гарантию прочного мира.

Царь готов был видеть во главе Франции кого угодно - Марию Луизу с малолетним Наполеоном II, Бернадота, республиканцев, Бурбонов, но вначале все-таки предложил обсудить возможность оставления на престоле Наполеона. Все единодушно высказались против этого варианта, даже Шварценберг не сказал ни одного слова в защиту зятя своего государя.

Тогда Талейран перешел в наступление:

- Раз мы согласны в том, что республика невозможна для поколения, пережившего ужасы 1793 года, раз мы считаем монархию единственной формой правления, то нам придется согласиться, что фамилия Бурбонов одна способна занять трон Франции, ибо мы не можем произвольно и искусственно создать условия, которые придали бы такую способность другой фамилии. Гений, игра революции могут возвысить на некоторое время человека, но подобный феномен исчезает быстро, как видим мы тому доказательство, и народы вновь возвращаются к порядкам, освященным веками и долгими национальными симпатиями. К тому же я глубоко убежден, что и в настоящую минуту большинство французов предпочитает восстановление древней законной династии всему остальному. Итак, республика - невозможна, регентство и Бернадот - не что иное, как интриги, одни лишь Бурбоны - принцип.

В доказательство своего мнения он попросил разрешения ввести в кабинет нескольких лиц, которые "лучше кого-либо другого знают Францию и настроение общественного мнения". Приглашенные им аббат де Прадт, барон Луи и генерал Дессоль - Церковь, экономика, армия - высказались за реставрацию Бурбонов. Суть их речей сводилась к одному: что ни один здравомыслящий человек во Франции не желает возвращения этого бешеного, готового растерзать Францию и Европу в погоне за своими кровавыми химерами,

что в его жене и сыне все будут усматривать его самого, что, наконец, французский народ не имеет другого выбора, кроме Бурбонов, о которых, правда, "не думали до сих пор, но лишь потому, что для этого не было времени".

- Мы все роялисты, все французы - роялисты, - сказал в заключение своей речи аббат де Прадт.

- Да, вся Франция - роялисты! - поддержал его барон Луи. - Она отталкивает от себя Бонапарта, она не хочет больше его знать. Этот человек труп, хотя пока еще от него нет смрада.

Это циничное заявление вызвало гримасу отвращения на лице Александра. Он снова обратился к Талейрану:

- Мы еще не исчерпали все возможности. Что вы скажете о Бернадоте?

- Возможны лишь две комбинации: Наполеон или Людовик XVIII, - с живостью отозвался Талейран. - Если бы мы желали видеть на престоле солдата, то мы удержали бы того, кого имеем, - ведь это первый солдат в мире. Всякий другой не потянет за собой и десяти человек. - И Талейран снова повторил чеканную фразу о том, что Бурбоны - это принцип, видимо, заготовленную им заранее.

На этот раз ему никто не противоречил. Все немного помолчали, затем Александр произнес:

- Хорошо. Если вы все действительно такого мнения, то, значит, решено. (Фридрих Вильгельм и Шварценберг молча кивнули под его вопрошающим взглядом.) Мы не будем вести переговоров с Наполеоном, - продолжал царь, мы не будем противиться восстановлению Бурбонов. Но не нам, чужеземцам, подобает провозглашать низложение Наполеона, еще менее того мы можем призывать Бурбонов на престол Франции. Кто же возьмет на себя почин в этих двух великих актах?

Талейран подумал с минуту.

- Я беру на себя подвинуть к этому делу Сенат, - сказал он. Александр одобрительно кивнул. - Но для этого необходимо, чтобы Европа раз навсегда отреклась, официально и торжественно, от всякого общения с Наполеоном, чтобы союзные монархи всенародно объявили, что они никогда не признают властелином Франции ни самого Бонапарта, ни кого-либо из членов его семейства. Только ввиду подобного заявления, - иронично улыбнулся Талейран, - сенаторы обрящут в себе смелость свободно высказать свое мнение.

Никто из присутствующих не возражал. Талейран тут же набросал проект декларации, которую Александр от имени всех союзников скрепил своей подписью. Судьба Наполеона была окончательно отделена от судьбы Франции.

В то время как Талейран представлял Александру в трех лицах все общественное мнение Франции, западные, аристократические части Парижа Сен-Жермен и Сент-Оноре - сделались местом проведения демонстраций роялистов. Началом их было появление на площади Согласия (где был казнен Людовик XVI) полусотни всадников с белыми повязками на рукавах. Они громко зачитали воззвание принца Конде и стали раздавать белые кокарды, крича: "Да здравствуют Бурбоны! Долой тирана!" Но народ не выражал им никакого сочувствия.

Когда смотр войск кончился и уже вечерело, около сотни роялистов, окруженные пьяным сбродом, собрались у Вандомской колонны. Это сооружение, увенчанное фигурой Наполеона, было отлито из пушек, захваченных у русских и австрийцев в Аустерлицком сражении, и считалось символом империи. Послышались крики "Долой Наполеона!" и предложения свалить колонну. Масла в огонь подлили несколько русских офицеров, оказавшихся на площади.

- Не Наполеон ли это наверху? - спрашивали они.

- Да, он!

- Высоко взошел, не пора ли ему сойти вниз?

- Сейчас сойдет!

Кто-то из толпы взобрался на плечи статуе и обмотал вокруг шеи императора толстый

канат, концы которого сбросил вниз. Стали тянуть, но медный Наполеон не поддавался. Снизу казалось, что император держит веревки в руках и правит народом. Это открытие сделал русский генерал Левенштерн, возвращавшийся со спутниками из ресторана. Какой-то усач француз поддержал его:

- Смотрите, смотрите! Этот чертов молодец и теперь держит нас в своих руках!

Тут на площади появился караул лейб-гвардии Семеновского полка, посланный лично Александром восстановить порядок. Гвардейцы молча окружили колонну, и толпа, поворчав, разошлась. Передавали слова государя, сказанные им по этому случаю: "Если бы я стоял так высоко, то опасался бы, чтобы у меня не закружилась голова".

К ночи на улицах Парижа водворилась тишина, и только непривычные возгласы патрулей: "Кто идет?" и "Wer da?" тревожили спокойный сон парижан.

На следующий день, 20 марта, Сенат объявил императора Наполеона низложенным. Власть перешла в руки Временного правительства. Александр всячески подчеркивал, что он "друг французского народа", в доказательство чему в этот день объявил о своем решении отпустить на родину всех французских пленных. Этот акт великодушия сделал его имя еще более популярным во Франции; среди простого народа уже пошли разговоры о том, как было бы хорошо, чтобы русский государь назывался также и королем Французским.

Между тем Коленкур, пользуясь приглашением царя, еще три дня оставался в Париже, пытаясь предотвратить переворот. Ему не оставалось ничего другого, как снова идти к царю в надежде на чудо. Александр принял его сразу и, как всегда, любезно, но не сказал ничего утешительного:

- Вам остается теперь лишь одно - отправиться в Фонтенбло и убедить Наполеона принести неизбежную жертву. Я не питаю никакой ненависти к Наполеону. Он несчастен, и с этой минуты я прощаю ему то зло, которое он причинил России. Но Франция и Европа нуждаются в покое, а с ним они никогда не будут иметь его. Пусть Наполеон требует для себя лично чего угодно: нет такого убежища, которое я не согласился бы предоставить ему. Пусть он примет руку, которую я протягиваю ему, пусть он пожалует в мои владения, где встретит не только роскошный, но и сердечный прием. Мы подали бы великий пример всему свету, я - предложив, а он - приняв это гостеприимство. Но мы не можем вести с ним переговоров на ином основании, кроме его отречения.

- Но, отнимая у Наполеона Францию, не согласятся ли союзники дать ему Тоскану? - продолжал выпытывать шансы своего господина Коленкур.

- Тоскану... - задумался царь. - Конечно, она ничего не значит по сравнению с Французской империей... Но неужели вы думаете, что союзники согласятся оставить Наполеона на материке и что Австрия потерпит его пребывание в Италии?

- Тогда, быть может, державы согласятся предоставить ему Парму или Лукку?

- Нет, нет! На материке - ничего. Остров - пожалуй. Может быть, Корсику?

- Но Корсика - это часть Франции. Наполеон не согласится принять ее.

- Ну тогда Эльбу. Убедите вашего господина покориться необходимости, а там посмотрим. Все, что только возможно будет для него сделать, будет мною сделано. Я не забуду, как должно воздать человеку, столь великому и столь несчастному.

Коленкуру не оставалось ничего другого, как подчиниться. 21 марта он уехал в Фонтенбло.

Великодушное отношение Александра к Наполеону во многом было вызвано тем, что шел Великий пост и царь говел. Князь А. Н. Голицын, с которым Александр впоследствии делился своими воспоминаниями о пребывании в Париже, свидетельствует, что настроение государя в эти дни было самое возвышенное. "Я и здесь повторю то же, - говорил Александр, - что если кого милующий Промысл начнет миловать, тогда бывает безмерен в божественной своей изобретательности. И вот в самом начале моего говения добровольное отречение Наполеона, как будто нарочно, поспешило в радостном для меня благовестии, чтобы совершенно уже успокоить меня и доставить мне все средства начать и продолжить мое хождение в церковь". Смирение и великодушие, впрочем, давались ему легко, раз его жажда

мести и тщеславие были удовлетворены.

Чтобы заставить Наполеона подписать отречение, маршалам пришлось составить против него настоящий заговор неповиновения. Несколько дней император боролся с противодействием окружающих; наконец 26 марта он написал окончательный акт об отречении: "Ввиду заявления союзных держав, что император Наполеон является единственным препятствием к восстановлению мира в Европе, император Наполеон, верный своей присяге, заявляет, что он отказывается за себя и своих наследников от престолов Франции и Италии, ибо нет личной жертвы, не исключая даже жертвы собственной жизнью, которую он не был бы готов принести во имя блага Франции". Ней и Коленкур повезли документ Александру.

В тот же день Сенат провозгласил королем Франции Людовика XVIII.

Однако уже наутро Наполеон послал вдогонку Коленкуру гонца, требуя возвратить ему акт об отречении. Целый день он проводил смотры и учения гвардии и твердил, что еще не все кончено, не все потеряно. Но маршалы и генералы один за другим, в одиночку и группами покидали Фонтенбло, чтобы в Париже публично выразить свою преданность новому государю. Наполеон остался почти один в опустевшем дворце.

В ночь с 1 на 2 апреля он принял яд, который всегда носил при себе со времени отступления из Москвы. Но то ли яд потерял силу, то ли Наполеону не хватило языческого героизма римлян, на которых он так любил ссылаться, и он принял слишком маленькую дозу - во всяком случае, он остался жив. (Позднее он отрицал попытку самоубийства: "Я понимаю, что для моих друзей было бы гораздо удобнее, если бы я убил себя. Но это противоречит моим принципам: я всегда считал трусостью неумение переносить несчастье".) Наполеон отделался сильными желудочными спазмами и рвотой. К утру страдания улеглись, осталась только слабость. Его усадили на кресле возле окна, и он с наслаждением вдыхал свежий воздух.

Вошел Бертье, который уезжал в Париж; он уверял, что скоро вернется в Фонтенбло. Наполеон кивал головой, но когда Бертье вышел, сказал Коленкуру спокойно, без капли горечи:

- Вот увидите, он не вернется.

Затем он без возражений подписал договор, привезенный Коленкуром, в котором союзные монархи признавали за ним суверенные права на остров Эльбу. Цезарь принимал державу Санчо Пансы.

В полдень 8 апреля во дворе Белого Коня Наполеон простился со своей гвардией. Он объявил им, что приносит личные интересы на алтарь отечества и удаляется писать мемуары, чтобы "на скрижалях истории" запечатлеть их подвиги.

- А вы, дети мои, продолжайте служить Франции!

С этими словами он припал к побежденному знамени Империи. Ветераны уже не кричали "Да здравствует император!", их лица были искажены болью и гневом, по щекам текли слезы. Бесчисленные раны на теле, любовь, скорбь и ярость в сердце - вот что оставлял император своим солдатам.

Отречение Наполеона прошло в Париже почти что незамеченным. Царь не выразил ни радости, ни торжества. Шла Страстная неделя, и Александром владели совсем иные чувства. "Душа моя, - рассказывал он князю Голицыну, ощущала тогда в себе другую радость. Она, так сказать, таяла в беспредельной преданности Господу, сотворившему чудо Своего милосердия; она, эта душа, жаждала уединения, жаждала субботствования; сердце мое порывалось пролить пред Господом все чувствования мои. Словом, мне хотелось говеть и приобщиться Святых Тайн". Однако этому желанию Александра препятствовало одно обстоятельство: в Париже не было русской церкви. Совершенно случайно стало известно, что последний русский посол, уезжая из Парижа, передал посольскую церковь на хранение в дом американского посланника. Алтарь и необходимая утварь были поставлены в доме напротив Елисейского дворца, где жил Александр, - получилась импровизированная церковь. Префект полиции Пакье отдал распоряжение, чтобы по улице, отделяющей церковь

от дворца, не ездили экипажи. Но сохранять молитвенную сосредоточенность на пути из дворца в церковь и обратно Александру все равно не удавалось. "Бывало, всякий раз хожу в церковь. Но, идучи туда и возвращаясь обратно в дом, трудно, однако ж, мне было сохранить чувство своего ничтожества, которое требует святая наша Церковь в подвиге покаяния; как, бывало, только покажусь на улице, так густейшая толпа... тесно обступает и смотрит на меня... с тем доброжелательством, которое для лиц нашего значения так сладко и обаятельно видеть в людях. С трудом всякий раз пробирался я на уединенную свою квартиру".

Александр распорядился, чтобы вместе с ним говела вся русская армия. Был издан приказ, запрещающий русским посещать во время поста театры и другие публичные увеселения. "А кто явится из русских в спектакль, о том будет известно Его Императорскому Величеству", - предупреждал высочайший приказ.

10 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, Париж увидел необычное зрелище. Александр повелел устроить публичное русское богослужение - как, "так сказать, апофеоз русской славы среди иноплеменников". На площади Согласия, где был казнен Людовик XVI, был воздвигнут алтарь, вокруг которого встали семь русских священников из полкового духовенства, в богатых одеяниях. С утра на бульварах и улицах Парижа выстроилось около 80 тысяч человек союзной армии, в основном русские. Толпы любопытных теснились вокруг Тюильри и по набережной Сены. Александр, Фридрих Вильгельм и Шварценберг прибыли к полудню, и богослужение началось. "И вот, - вспоминал Александр, - при бесчисленных толпах парижан всех состояний и возрастов, живая гекатомба наша вдруг огласилась громким и стройным русским пением... Все замолкло, все внимало!.. Торжественная была эта минута для моего сердца; умиротелен и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле Провидения из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну по королю французскому. Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место пораженной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели; оно невольно втолкнуло благоговение в самые сердца французские". Однако, как это обычно бывало с Александром, к этим торжественным и высоким размышлениям примешались сиюминутные, суетные чувства. "Не могу не сказать тебе, Голицын, - чистосердечно признавался он, - хотя это и несовместно в теперешнем рассказе, что мне даже было забавно видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского креста и друг друга толкала, чтоб иметь возможность скорее к нему приложиться. Так обаяние было повсеместно, так оторопели французы от духовного торжества русских".

Нижним чинам для разговения выдали мясную порцию. "Яичек красных нигде не было, а потому и не христосовались, - вспоминает очевидец. - Качелей также не было, и солдаты в первый день святой Пасхи провалились в своих балаганах, вспоминая о матушке-России, которая в этот день ликовала с красными яичками".

К вечеру из Дижона приехал Меттерних и сразу вернул царя в мир политики. Он известил императора Франца, что "нашел русского императора в весьма благоразумном настроении. Он фантазирует гораздо менее, чем я мог предполагать". Меттерних согласился со всеми статьями договора с Наполеоном об отречении, кроме одного - дарования императору прав на остров Эльбу. "Вот увидите, - предупреждал он, - этот пункт не позднее как через два года снова приведет нас на поле битвы". Однако его проницательность не была оценена - Александр отказался нарушить свое обещание свергнутому императору.

Наполеон покинул Фонтенбло 20 апреля под надзором союзных комиссаров: со стороны России - графа А. П. Шувалова, Австрии - барона Ф. Коллера, Пруссии - полковника графа Трухзес-Вальдбурга, Англии - полковника Нила Кэмпбелла. Императору разрешили взять с собой около 800 ветеранов Старой гвардии, добровольно последовавших

за ним в изгнание, немногочисленную свиту - маршала Бертрана, генерала Друо и еще кое-кого из офицеров, сохранивших верность, и личную казну, помещенную в огромном фургоне.

Императорский поезд имел торжественный вид. Впереди ехал небольшой отряд гвардейской кавалерии, за ним - карета с генералами и закрытая карета, в которой сидели Наполеон и Бертран. Конный конвой также сопровождал эти экипажи, а в хвосте ехали комиссары - каждый в своей карете; позади тянулись гренадеры. Как только процессия выехала из ворот Фонтенбло, замок окончательно опустел - прислуга, дежурные офицеры, даже личный камердинер императора Констан и телохранитель, мамелюк Рустан, - все помчались в Париж ловить удачу.

Население провинций поначалу встречало Наполеона приветливо и даже восторженно. Толпы крестьян на дороге кричали: "Да здравствует император!" - и осыпали бранью союзных комиссаров. Но за Невером, где Наполеон значительно оторвался от военного конвоя, настроение населения резко изменилось. Императора встречали угрюмые лица, повсюду виднелись белые кокарды и знамена. Наполеон с некоторым беспокойством проехал, не останавливаясь, несколько городов и вышел из кареты только в полночь, в Руане, занятом австрийцами. Здесь, под охраной австрийских штыков, он вздохнул свободнее.

На другой день, при приближении к Лиону, комиссары заметили, что император занят лишь мыслями о личной безопасности. Наполеон ни за что не захотел останавливаться в Лионе. Ехали всю ночь, меняя лошадей. Утром был сделан короткий привал, после чего вновь провели в экипажах весь день. Наполеон был возбужден, постоянно приглашал в свою карету союзных комиссаров, часами болтал с ними, шутил. Вальдбургу, смеясь, заметил:

- В конце концов, я вышел из всей этой истории недурно. Я начал партию, имея в кармане всего лишь шесть франков, а теперь я ухожу со сцены с порядочным кушем.

По мере приближения к Авиньону Наполеона встречали все более враждебно. Император почти не выходил из экипажа. В Авиньоне в то время, когда меняли лошадей, у почтовой станции собралась толпа. Слышались крики: "Долой тирана! Долой сволочь! Да здравствует король! Да здравствуют союзники, наши освободители!" Вдруг толпа хлынула к карете Наполеона; впереди всех были какие-то бешеные, остервенелые бабы. Они лезли на подножки, грозили Наполеону кулаками, выкрикивали площадные ругательства; другие бросали в карету камни. Особенно досталось егерю на козлах: его хотели заставить кричать "Да здравствует король!" и грозили ему саблями. Наконец свежие лошади рванулись вперед, и императорская карета помчалась по дороге, сопровождаемая свистом и бранью.

Но и в придорожных деревнях было не лучше. В небольшой деревушке Оргоне толпа пьяных мужиков повесила чучело Наполеона, вываленное в крови и грязи, на виселице возле почтовой станции. Пока меняли лошадей, крестьяне орали: "Долой вора! Долой убийцу!" - бранились и плевали на карету. Бледный Наполеон пытался укрыться за Бертрана, вжавшись в угол кареты. (Он, человек, безусловно, храбрый, не раз хладнокровно смотревший в глаза смерти на поле боя, совершенно терялся при виде враждебно настроенной толпы свойство всех людей с сильно развитым индивидуальным началом.) Десятки рук тянулись к императору, чтобы вытащить и растерзать его. Шувалов первый бросился разгонять толпу, другие комиссары присоединились к нему. Общими усилиями удалось водворить порядок.

Во время дальнейшего пути Наполеон останавливал каждого встречного, расспрашивая о настроении жителей. Из этих бесед он узнал, что народ сильно возбужден указами Временного правительства и что многие фанатики поклялись не выпустить его живым из Франции. Наполеон был парализован страхом и больше не надеялся на комиссаров. Надев английский мундир и круглую шляпу с большой белой кокардой, он сел на выпряженную лошадь и поскакал дальше в сопровождении форейтора и камердинера, чтобы не привлекать к себе внимания. Он решил выдавать себя за полковника Кэмпбелла, который уехал вперед двумя днями ранее - приготовить все необходимое для морского путешествия на Эльбу.

В захудалом деревенском трактире в селении Ла-Калад Наполеон заказал для себя обед и разговорился с хозяином, который оказался мирно настроенным обывателем; зато его

жена, маленькая, болтливая, любопытная женщина, видимо, заправлявшая всем в доме, не могла даже слышать имени Наполеона (женщины, подобные ей, за отсутствием собственного мнения служат верным показателем так называемого общественного мнения). Она выражала уверенность, что "народ покончит с ним, прежде чем он успеет добраться до моря", или, в крайнем случае, "найдет средства утопить его в море".

- Не правда ли? - заключала она всякую фразу, пытливо вглядываясь в глаза проезжему полковнику.

- Правда, правда, - поспешно отвечал Наполеон.

В ожидании обеда, уставший и голодный, он на пять минут задремал на плече у камердинера. Когда он проснулся, ужас вновь охватил его. Император проклинал свое прошлое и давал обет никогда не увлекаться вновь честолюбивыми мечтами.

- Я навсегда откажусь от политической жизни, - чуть не со слезами говорил он камердинеру, - я не буду заботиться ни о чем. Я буду счастлив на Эльбе, счастливее, чем когда-либо прежде. Я буду заниматься наукой. Пусть предлагают мне корону Европы - я отвергну ее. Ты видел, что такое этот народ? Да, я имел право презирать людей. И, однако же, это Франция! Какая неблагодарность! Мне опротивело мое честолюбие, я не хочу более царствовать.

В это время за дверью послышался шум. Наполеон испуганно поднял голову, но это были всего лишь комиссары, догнавшие его. Они уселись отдельно от императора, сохраняя его инкогнито. Подали обед, но Наполеон не мог есть: ему казалось, что пища отравлена. Он брал кусочки мяса в рот и незаметно выплевывал на пол. Вообще, его настроение всецело зависело от трактирщицы: когда она появлялась - он бледнел, когда выходила - с трудом приходил в себя. После обеда, поднявшись в свою комнату, он стал ломать голову, как незаметно выбраться отсюда. При малейшем шуме за окном он вздрагивал, а если его оставляли одного хоть на минуту - плакал, как ребенок. Пришлось вызвать из ближайшего города полицию и национальную гвардию - только тогда Наполеон согласился отправиться дальше. Но, не полагаясь вполне на охрану, император пересел в карету Коллера, переоделся в австрийский мундир и приказал кучеру курить трубку, чтобы окутать экипаж клубами дыма.

В Ле-Люке Наполеона ожидала Полина, его сестра, приехавшая с двумя эскадронами австрийских гусар. Дальше император ехал в сопровождении этого конвоя, и его тревога рассеялась.

В Фержюсе он наконец увидел море. Наполеон остановился в маленькой гостинице - в той самой, где четырнадцать лет назад он ночевал при возвращении из Египта. Воспоминания о прошлом вновь пробудили его высокомерие. "Как только миновала опасность, как только достиг он гавани, он опять принял на себя роль повелителя", - доносил Меттерниху барон Коллер. Узнав, что французское правительство предназначило для его перевозки на Эльбу обычный бриг, он пришел в негодование:

- Что это значит? Я создал французский флот, а мне предлагают какой-то жалкий бриг! Какая низость! Они должны были дать мне линейный корабль!

Он пожелал переправиться на Эльбу не иначе как на английском фрегате "Неукротимый". Союзные комиссары не возражали.

28 апреля он взшел на борт "Неукротимого". Его встретили с почестями. Шувалов и Вальдбург приехали проститься. Наполеон был одинаково любезен с обоими, благодарил за услуги, просил передать Александру искреннюю признательность, но ни словом не упомянул о прусском короле. Коллер и Кэмпбелл остались на борту.

3 мая вдали показалась Эльба. При приближении "Неукротимого" над бастионами Порто-Ферайо взвился флаг Империи. Жители острова встретили нового повелителя восторженно, но пышность встречи напоминала скорее деревенскую свадьбу: городские власти явились в старомодных одеждах, три скрипки и два контрабаса наигрывали веселый марш. Для императора был приготовлен старый балдахин из полинявшего бархата. Однако Наполеон принимал все знаки почета с величавым достоинством. После всего пережитого

ему доставили бы удовлетворение и почести аборигенов Австралии.

VI

Во Франции ничего не изменилось,
только одним французом стало больше.

Из приветственной речи Талейрана

Людовику XVIII в 1814 году

Между тем в побежденный Париж продолжали съезжаться монархи. 3 апреля состоялся торжественный въезд императора Франца. Парижане остались им недовольны: считали, что отцу Марии Луизы следовало явиться с меньшим шумом. Двумя днями ранее в столицу приехал граф д'Артуа, брат Людовика XVIII. Теперь со дня на день ожидали приезда самого короля Франции.

Людовик XVIII приходился младшим братом Людовику XVI. До революции он носил титул графа Прованского. После казни Людовика XVI граф Прованский, уехавший к тому времени из Франции, принял звание регента, а после смерти малолетнего дофина - титул короля Франции. Победная поступь революционных войск заставляла его переезжать из города в город, из страны в страну все дальше на восток, пока наконец он не очутился по приглашению Павла I в Митаве. Здесь ему отвели громадный дворец, построенный Бироном, и назначили двести тысяч рублей на содержание двора (вспомним, что сам Павел, будучи наследником, получал от матери тридцать тысяч). Русский царь был единственным государем Европы, который оплачивал расходы изгнанника, прочие коллеги Людовика по "прелестному ремеслу монарха" не дали ему ни гроша. Несколько лет, проведенных в митавской глуши, были, быть может, не самыми веселыми в его жизни, зато одними из самых спокойных - а престарелый Людовик научился ценить покой. Неожиданное сближение Павла с Наполеоном сделало пребывание Людовика в России неудобным для царя и оскорбительным для короля. Он покинул Митаву и под именем графа де Лилля перебрался в Варшаву. Здесь он получил предложение первого консула официально отречься от престола за кусок земли в Италии и шесть миллионов франков пенсии. Людовик переборол искушение. Он ответил протестами на расстрел герцога Энгиенского и коронацию Наполеона, но, как заметил последний: "Претендент должен протестовать всегда, это единственное остающееся у него средство царствовать".

Разрыв Александра с Наполеоном и приближение французов к Польше вновь привели Людовика в Митаву. Александр был не столь щедр по отношению к Бурбонам, как его отец (уроки Лагарпа о злоупотреблениях старого режима во Франции сыграли в этом не последнюю роль). Очевидцы свидетельствуют о весьма провинциальной обстановке королевских покоев и порядком изношенных фраках придворных. Время и события сделали из Людовика истинно трагическую фигуру несчастного изгнанника. Усилившиеся припадки давней мучительной подагры надолго лишали его ног, кочевая жизнь и унижения лишили бодрости духа, развили в нем подозрительность и болезненное пристрастие к подчеркиванию своего королевского достоинства. По правде сказать, во всей его фигуре только особой формы нос Бурбонов еще говорил о королевской породе этого тучного, обрюзгшего старика с кирпичной, бычьей шеей, неподвижно застывшего в вольтеровском кресле с Горацием в руках, в почти маскарадном костюме - мешковатом старомодном фраке, шляпе с белыми перьями, красных гетрах и бархатных сапогах, в которые он прятал больные ноги. Этот безбожник, предпочитавший античных классиков Библии и в интимных разговорах глумившийся, по старой памяти, над христианством и религией вообще, верил, однако, в свое легитимное божественное право на престол - это была, так сказать, его личная религия, которая одна поддерживала его угасающие силы.

В 1806 году он напутствовал русских офицеров:

- Господа! Побейте хорошенько французов, но после того имейте к ним снисхождение, ведь они мои дети.

Тильзитский мир заставил его искать убежище в Англии, где ему симпатизировали тори и принц-регент Георг. Английское правительство приобрело для него поместье

Гартвелл и выделило приличное содержание.

В 1814 году Людовику было шестьдесят лет; физические и душевные силы его были на исходе. Хотя он и подписывал официальные бумаги восемнадцатым годом своего правления, ему уже плохо верилось в то, что Франция когда-либо признает его своим государем. Получив известие о том, что французская корона теперь действительно принадлежит ему, Людовик лишился чувств и несколько дней не вставал с постели.

Георг принял его в Лондоне со всеми почестями, подобающими королевской особе; солдаты почетного караула и сам принц-регент надели белую кокарду Бурбонов. Людовик был в мундире маршала Франции, который не очень вязался с его бархатными сапогами. Георг сам обвязал его колено лентой ордена Подвязки. Прощаясь с Георгом, Людовик заявил, что "королевский дом наш обязан своим восстановлением на престоле предков после Всевышнего Промысла более всего мудрым советам вашего королевского высочества и непоколебимому постоянству английской нации". Он чтит в Англии страну, не вступавшую ни в какие сделки с Наполеоном. К Александру Людовик относился неприязненно. Митавское гостеприимство не оставило приятных воспоминаний, а колебания царя в вопросе передачи престола Бурбонам окончательно истребили в сердце Людовика не только какую-либо симпатию, но даже чувство элементарной благодарности.

12 апреля Людовик отплыл из Дувра на восьмилинейном корабле, в сопровождении целой флотилии английских и французских судов. 17-го он вступил в Компьен под гром орудий и овации жителей. Маршал Бертье приветствовал его, как отца и благодетеля нации, уверяя, что Франция, "изнывавшая двадцать пять лет", с восторгом встретит своего законного государя. Ней и Мармон не отставали в лести. Людовик сразу понял, с кем имеет дело, и обошелся с ними как добродушный барин с нашалившей дворней. Он выразил солидарность маршалу Лефевру по поводу посетившей его подагры, заверил Мармона, все еще носившего руку на перевязи, что он вскоре сможет вновь служить Франции и королю, после чего назидательно напомнил всем о своем божественном праве на престол.

В Компьене Людовика от имени русского императора приветствовал Поццо-ди-Борго, корсиканец на русской службе, присланный Александром с письмом, в котором царь настойчиво советовал Бурбонам не забывать, что во Франции произошла революция, не преследовать либеральных идей, не раздражать наполеоновской армии и даровать Франции свободные государственные учреждения. Письмо осталось без ответа. Тогда Александр прибыл в Компьен сам и изложил королю на словах все то, о чем писал в письме. Выслушав царя, Людовик ничего не опроверг и ничего не подтвердил. Вообще, в продолжение всего разговора он был занят двумя вещами: своим божественным правом и соблюдением своего королевского достоинства. Принимая царя, Людовик, сидевший, как всегда, в кресле, указал ему на стул, а в ответной речи, невзирая на то что его вольтерьянство было хорошо известно царю, подчеркнул, что все перемены произошли по воле Промысла, что французский король - первый монарх Европы, а Бурбоны - старейшая династия среди царствующих домов.

Прием у французского короля произвел на Александра дурное впечатление.

- Весьма естественно, что король, больной и дряхлый, сидел в кресле, сказал он Волконскому, - но я в таком случае приказал бы подать для гостя другое.

"Император был очень оскорблен этим поведением, - свидетельствует Нессельроде, - и оно повлияло на последующие отношения обоих монархов".

Не добившись от короля прямого ответа на свои требования, Александр в конце концов объявил ему, что он сможет въехать в Париж не раньше, чем примет конституцию или обнародует декларацию о даруемых им народу правах. Людовик выбрал декларацию - дарование вольностей больше вязалось с его божественным правом.

Он въехал в Париж в английской карете, запряженной восьмеркой лошадей, в английском кафтане и английской шляпе с бурбонской кокардой, приколотой собственноручно принцем-регентом; на его ногах были неизменные бархатные сапоги. Рядом с экипажем ехали члены королевской фамилии, сзади - маршалы, национальная гвардия и регулярная гвардейская пехота. Роялист Шатобриан писал, что гвардейцы таяли от

восторга, республиканец Беранже - что они стыдились белых кокард. Кажется, особого энтузиазма действительно не было. Даже Меттерних признавался, что въезд французского короля произвел на него тяжелое впечатление.

За торжественным обедом король нанес Александру новое оскорбление. Несмотря на подагру, Людовик вошел в обеденную залу первым и сел на почетном месте, а когда лакей поднес первое блюдо царю, как гостю, грозно вскричал через стол:

- Ко мне, пожалуйста!

Остальная часть обеда прошла не лучше. Выходя из Тюильри, Александр возмущенно произнес:

- Мы, северные варвары, более вежливы у себя дома. Можно было подумать, что это он возвратил мне престол.

Не желая остаться в долгу, царь усилил внимание к семейству Наполеона: неоднократно посещал в Мальмезоне Жозефину и сблизился с королевой Гортензией, падчерицей свергнутого императора. О Бурбонах он, не стесняясь, говорил:

- Эти люди ничего не забыли и ничему не научились. Они никогда не сумеют поддержать себя.

Людовик в свою очередь называл Александра не иначе как "маленький король Парижа" и не включил его в число получивших большую ленту ордена Святого Духа.

Французский король имел все основания завидовать популярности Александра. Парижане были совершенно покорены и очарованы своим победителем, который хотел, чтобы в нем видели гостя. Префект парижской полиции Пакье писал: "Замечали, что все исходит от Александра. Его союзник, король Прусский, оставался незамеченным; его мало видели, он избегал показываться публично и сохранял всюду свойственную ему застенчивость, которая не могла придать ему особенного блеска. Александр, напротив того, ездил верхом по городу по всем направлениям и внимательно осматривал все общественные учреждения. Совершая эти поездки, он искал случая делать то, что могло возбудить к нему сочувствие всех классов общества". Эти прогулки, кстати сказать, совершались без конвоя и без предварительного уведомления полиции, что доставляло немало хлопот Пакье.

Популярности царя в высшем парижском свете способствовала его дружба с г-жой де Сталь, чей салон служил ему аудиторией для высказывания либеральных мыслей.

Знаменитая писательница приехала в Париж из Лондона. Ее приезд принял значение политического события. В Париже не было ни одного хоть сколько-нибудь значительного лица, которое не посетило бы ее салон. Здесь обсуждались самые последние политические новости, ибо хозяйка салона жила под девизом: "Говорить о политике - моя жизнь". В случае прихода Александра его фигура, конечно, становилась центром всеобщего внимания. Царь с красноречием революционного трибуна громил реакционеров всех мастей и рангов. Он с негодованием отзывался о короле Фердинанде VII, который сразу после своего возвращения в Испанию уничтожил конституцию; клеймил презрением раболепство французской прессы, которая 18 марта клялась в преданности Наполеону, 19-го хранила глубокое молчание, а 20-го разразилась проклятиями в адрес "тирана" (при этом Александр заметил, что ничего подобного нельзя встретить в России); жаловался, что его политические намерения не поняты и не поддержаны французами. О Бурбонах он не хотел и говорить и, похоже, был недоволен собой за излишнюю уступчивость Талейрану.

- Бурбоны, - говорил Александр, - неисправившиеся и неисправимые, полны предрассудков старого режима. Либеральные взгляды у одного герцога Орлеанского, на прочих нечего надеяться.

Он обещал г-же де Сталь, что на предстоящем конгрессе потребует уничтожения рабства в Америке и торговли невольниками.

- Я знаю, - поспешил добавить он, обращаясь к Лафайету, - за главой страны, в которой существует крепостничество, не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников. Но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и с Божьей помощью крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование.

"Что за человек этот император России! - восхищалась г-жа де Сталь. Без него мы не имели бы ничего похожего на конституцию. Я от всего сердца желаю всего того, что может возвысить этого человека, представляющегося мне чудом, ниспосланным Провидением для спасения свободы, со всех сторон окруженной опасностями".

В салоне писательницы получил дальнейшее развитие польский вопрос. Здесь Александр мог встречаться и разговаривать с поляками о будущем их родины, не придавая этим встречам официального значения, которое могло бы встревожить Фридриха Вильгельма и Меттерниха. Послам командующего польским легионом Великой армии генерала Домбровского, генералу Сокольниковскому и полковнику Шимановскому царь заявил о том, что предаст забвению прошлое и прощает полякам участие в разорении России.

- Я желаю видеть одни ваши добродетели, - сказал он. - Вы храбрецы и честно исполнили вашу службу!

- Мы не имеем другого честолюбия, кроме любви к отечеству, - ответил Шимановский. - Это болезнь нашей земли.

- Она неизлечима и делает вам честь, - сказал Александр. - Я уже издавна благорасположен к вашей нации.

Он разрешил польским войскам вернуться в герцогство Варшавское под своими знаменами и заставил французское правительство выдать им полагающееся за прежние годы жалованье. Главнокомандующим польской армии был назначен великий князь Константин Павлович.

Царь виделся и с Костюшко, проживавшим с семьей под Парижем в небольшом домике, который казаки не тронули лишь потому, что на двери было написано его имя. Александр обещал Костюшко в скором времени восстановить Польшу под русским скипетром и даже предложил ему звание вице-короля. Костюшко поблагодарил и ответил, что вернется в Польшу только тогда, когда она будет восстановлена в прежних границах и полностью независима.

Свои планы относительно Польши Александр сформулировал в разговоре с Лагарпом: "Мое намерение состоит в том, чтобы вернуть полякам все, что только окажется возможным для меня, даровать им конституцию, относительно которой я оставляю за собой право развивать ее по мере того, как они станут возбуждать во мне доверие к себе".

Лагарп во время пребывания Александра в Париже стал как бы личным секретарем царя, занимаясь разбором обширной корреспонденции на высочайшее имя. Письма, адресованные русскому государю, приходили в Париж со всей Европы и делились на три категории: восхваления, просьбы и предложения. Александр получил 9 тысяч одних только стихотворных посланий! Среди них была торжественная ода, сочиненная Руже де Лиллем, в которой автор "Марсельезы" восклицал:

Героем века будь и гордостью творенья!

Наказаны тиран и те, кто зло несут!

Народу Франции дай радость избавленья,

Верни Бурбонам трон, а лилиям - красу!

Просьбы, в основном денежного характера, большей частью удовлетворялись. Одна француженка-бонапартистка, например, просила у царя денег, чтобы доехать до Тосканы и поселиться напротив Эльбы, где она могла бы видеть "место заточения" своего кумира. Требуемая сумма из средств императорского кабинета была ей передана. Предложения, напротив, в основном вежливо отклонялись. Так, на предложение изменить название Аустерлицкого моста в Париже Александр ответил: "Достаточно уже и того, что я перешел этот мост со своей армией!"

Вообще, без славословий в адрес "ангела мира" не обходилась ни одна официальная речь, ни один выпуск газет. Известный адвокат Беллар даже на одном из уголовных процессов умудрился начать свою речь с панегирика Александру. Парижанки выразили свое восхищение элегантным и любезным царем тем, что ввели в моду "александровские букеты", состоящие из цветов, первые буквы которых составляли имя русского государя; взрослые

женщины носили их на груди, девочки - в волосах.

Восторженность парижан по отношению к Александру распространялась и на русскую армию. Появление гвардейских офицеров в театрах вызывало рукоплескания и крики: "Да здравствуют русские!" В первые дни после вступления армии в Париж хозяева кофейен отказывались брать деньги с русских - в благодарность за то, что они не мстят за сожженную Москву. Должным образом было оценено и то, что русские не хвастались своими победами над французами. Журналист одной из парижских газет писал: "Мы слышали, что молодые русские офицеры рассказывали в самый день торжественного вступления своего в Париж о подвигах своих от Москвы до Сены как о делах, в которых они были предводимы промыслом Божиим; себе они предоставляли только ту славу, что они были избраны орудием Его милосердия. Они описывали победы свои без восторга и в таких простых выражениях, что мы думали, будто они об этом условились из особенной учтивости. Но они нам показали серебряную медаль, которую генералы и солдаты носят в виде знака отличия. На одной стороне этой медали изображено Око Провидения, а на другой слова Священного Писания: "Не нам, не нам, а имени Твоему"".

Впрочем, некоторым образованным офицерам доставляло удовольствие морочить представителей самой культурной нации Европы. Так, Н. Н. Муравьев рассказывает, что однажды на прогулке он засмотрелся на лебедей в саду Тюильри. Подошедшие к нему хорошо одетые парижане спросили, есть ли в России лебеди...

- Нет, - ответил он, - как же у нас лебедям быть, когда воды целый год во льду и покрыты снегом.

- Как же у вас пашут и сеют? - ужаснулись французы.

- Пашут снег, сеют в снегу, и хлеб родится на снегу.

- О Боже, какая страна!

Иначе вели себя пруссаки. Они присвоили себе часть Пале-Рояля, где кутили с куртизанками. Пример подавал Блюхер, который целые дни проводил здесь за карточным столом. Разгоряченный игрой и вином, он снимал сюртук, засучивал рукава рубашки и сидел, покуривая маленькую трубочку. Прусские офицеры не пропускали в это "святилище" никого из посторонних. Наполеоновские офицеры приходили сюда специально, чтобы затеять дуэль, поэтому пруссаки постоянно имели при себе заряженные пистолеты.

Что касается австрийцев, то они вели себя довольно мирно, но из-за того, что они носили на киверах и шляпах зеленые ветви, которые французы принимали за изображение лавров, между ними и парижанами часто возникали ссоры и драки, вплоть до убийств.

Вообще же русским солдатам жилось в Париже несладко. Например, бивуаки конных полков российской гвардии расположились на Елисейских полях, под открытым небом. Остатки кормового сена служили конногвардейцам постелью, пуки соломы на копыях - крышей. "Во все время нашего пребывания в Париже часто делались наряды, так что солдату в Париже было более трудов, чем в походе, - свидетельствует Н. Н. Муравьев. - Победителей морили голодом и держали как бы под арестом в казармах. Государь был пристрастен к французам до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии брать наших солдат под арест, когда их на улицах встречали, отчего произошло много драк, в которых большей частью наши оставались победителями..." Один русский солдат был казнен за то, что взял хлеб из булочной. Русские офицеры также имели своих притеснителей. Первый из них, пишет Муравьев, был генерал Сакен, которого назначили военным губернатором Парижа. Он "всегда держал сторону французов; в благодарность за сие получил он от города, при выезде своем, разные драгоценные вещи, между прочим, ружье и пару пистолетов, оправленных в золото". Другим "гонителем" был флигель-адъютант царя Рошешуар, француз-эмигрант, назначенный комендантом Парижа. Он окружил себя французами и делал различные неприятности русским офицерам, которые его не терпели. Так что Александр, продолжает Муравьев, "приобрел расположение к себе французов и вместе с тем вызвал на себя ропот победоносного своего войска".

18 мая союзники подписали с Францией мирный договор. Франция возвращалась к

границам 1792 года, потеряв области с населением в 15 360 000 человек. Англия обязалась вернуть французские колонии, удержав за собой, однако, остров Мальту. Произведения искусства, вывезенные Наполеоном из побежденных и завоеванных европейских стран, благодаря заступничеству Александра остались в Париже: царь настоял на том, что здесь они будут доступнее для любителей изящного. Положено было собраться через два месяца на конгресс, чтобы обсудить послевоенное устройство Европы.

В высочайшем манифесте к русским войскам по случаю подписания мирного договора говорилось: "Всемогущий положил предел бедствиям. Прославил любезное нам отечество в роды родов. Воздал нам по сердцу и желаниям".

Александра ничто больше не удерживало в Париже. Но он не хотел покидать Францию, не оставив ей конституции. Между тем Людовик все медлил с обнародованием декларации о правах. Терпеливо подождав несколько дней, Александр решил заговорить с Бурбонами наполеоновским языком: объявил Людовику, что союзные войска не покинут Парижа до тех пор, пока он не сдержит свое обещание. 23 мая долгожданный документ, под именем хартии, был опубликован в парижских газетах.

В тот же день союзные государи оставили столицу Франции; император Франц направился в Вену, Александр и Фридрих Вильгельм - в Англию. Генерал Сакен сложил с себя полномочия военного губернатора Парижа.

Визит Наполеону был отдан. Нужно было возвращаться в свое победоносное варварское отечество.

Несмотря на торжественные слова манифеста, Александр уезжал из Парижа разочарованным. Дети революции не хотели республики, не хотели свободы. Еще одной иллюзией стало меньше. Человеческая порода вызывала у царя отвращение и презрение.

- Я не верю никому, - говорил он Волконскому. - Я верю лишь в то, что все люди - мерзавцы.

26 мая Александр и Фридрих Вильгельм высадились в Дувре. Восторгу англичан не было пределов; они выпрягли лошадей из экипажей государей и на себе вкатили их в город. (Блюхер в свою очередь поинтересовался, любят ли его в Англии, и с удовольствием выслушал ответ, что миллионы бокалов ежедневно выпиваются за его здоровье сразу после тоста за здоровье принца-регента; такой же популярностью пользовался и Платов.) Принимая представителей местных властей, царь заявил, что "всегда будет стараться о сохранении дружбы между Англией и Россией".

На следующий день монархи отправились в Лондон.

Английская столица с миллионным населением выглядела тогда не очень привлекательно. Полицейские в синей форме еще не заботились ни о чистоте улиц, ни о регулировании движения колясок и повозок, так что столкновения экипажей и драки кучеров были обычным явлением. На улицах можно было увидеть домашний скот; проститутки, несмотря на английское пуританство, бросали, по словам очевидца, свои "бесстыдные призывы весьма открытым образом, не опасаясь полиции". Зато по сравнению с другими европейскими столицами здесь было гораздо меньше воровства.

Вообще, главными достопримечательностями Лондона были два человека: Браммел и принц-регент Георг. Оба царствовали - один в умах, другой на троне.

Мимолетный властелин мимолетного мира, Браммел царствовал милостью граций, как выражались о нем современники. Однако влияние этого человека, о котором Байрон сказал, что предпочел бы родиться Браммелом, чем Наполеоном, не ограничивалось сферой моды. Дендизм не имеет синонимов в других языках. Подобно тому как Наполеон был мерилом политического успеха, Браммел в глазах людей того времени олицетворял меру вкуса.

На пути к славе ему пришлось взять на себя единственный труд родиться. Джордж Брайан Браммел появился на свет в 1778 году в Вестминстере. Двенадцати лет он был отдан в Итон, а затем в Оксфорд.

Браммел вышел из Оксфорда в 1794 году, через три месяца после смерти отца, и был зачислен корнетом в 10-й гусарский полк под начало принца Уэльского. Он не мог пожелать

себе лучшего командира.

Они сразу сошлись: "первый джентльмен Европы", как называли наследника престола, гораздо более гордился изяществом своих манер, чем высотой общественного положения. Принцу было тридцать два года, и он стремился сделать блеск своей молодости вечным. "Нарисовать его портрет не составит труда, - говорит Теккерей. - Сюртук со звездой, парик, под ним - лицо, расплывшееся в улыбке. Но, прочитав о нем десятки книг, перевернувши старые газеты и журналы, описывающие его здесь - на балу, там - на банкете, на скачках и тому подобном, под конец убеждаешься, что нет ничего и не было, только этот самый сюртук со звездой, и парик, и под ним - улыбающаяся маска; только одна пышная видимость".

Когда-то он был красив и носил прозвище "принц Флоризель" - этим именем он подписывал свои письма к актрисе Мэри Робинсон, исполнявшей роль Пердиты. Принц начал свою молодость с изобретения новой пряжки на башмаках: она имела один дюйм в длину, пять в ширину, закрывала почти весь подъем и доставала до пола с обеих сторон. Изобретение имело бешеный успех среди придворных. Однако щеголять изяществом во дворце, где король проводил время, мурлыкая под нос Генделя и проверяя конторские книги, а королева вышивала на пальцах и нюхала табак, - занятие неблагодарное. Поэтому разгул, в который вскоре ударился принц, был бы извинителен и для человека с менее пылким темпераментом, чем у него. А кровь у принца Уэльского буквально кипела в жилах. Он сделался завсегдатаем всех значных мест Лондона. Молодость канула в бешеной игре, умопомрачительных попойках, неистовом обжорстве и беззастенчивом распутстве. Он был идиолом золотой молодежи - только на сюртуки наследник тратил 10 тысяч фунтов в год. Он ввел в моду синие фраки с полированными стальными пуговицами размером с яйцо. Общество мгновенно облачилось в них. Принц, не довольствуясь одной только славой, сумел извлечь из своего нового изобретения некоторые практические выгоды. Надо сказать, что сам он застегивал фрак только при холоде; другие же в его присутствии должны были быть застегнутыми всегда. Однажды лорд Ярмут сел с ним играть и все проигрывал, пока не догадался, что его пуговицы, как семь зеркал, отражают его карты. Он тотчас расстегнул фрак, а на гневный взгляд раздосадованного его догадливостью принца простодушно ответил: "Здесь слишком жарко, ваше высочество".

Похождения принца Уэльского стали фактом внутренней политики: помимо ежегодных выплат 120 тысяч фунтов на его содержание, парламент был вынужден погасить два его долга - в 160 и 650 тысяч фунтов. Впрочем, народ все прощал ему, ведь принц был большой демократ: он не только давился в толпе вместе со всеми зрителями на боксерских матчах, но и сам любил, скинув сюртук, схватиться на кулачки с каким-нибудь лодочником.

С годами принц Уэльский обрюзг, его мучили одышка и головокружение. Но он продолжал вести прежний образ жизни и гасил приступы дурноты стаканом коньяка. Увы, он старел, вместе с ним старели и делались скучны его собутыльники, и потому Браммел попал ему на глаза как нельзя более кстати.

Браммела представили принцу на знаменитой Виндзорской террасе, в присутствии самого взыскательного светского общества. Здесь он и выказал все, что почитал принц: цветущую юность наряду с уверенностью опытного человека; самое тонкое и смелое сочетание дерзости и почтительности; гениальное умение одеваться и замечательную находчивость и остроумие в ответах. С этого момента он занял очень высокое положение в мнении общества, которое затем не покидал уже никогда. Вся аристократия салонов устремилась к нему, чтобы восторгаться им и подражать ему.

В первую пору он еще ходил на балы, но позднее счел это чересчур обыденным для себя. Явившись на несколько минут в начале бала, он пробежал его взглядом, высказывал свое суждение и исчезал, олицетворяя знаменитый принцип дендизма: "Оставайтесь в свете, пока вы не произвели впечатление; лишь только оно достигнуто, удалитесь".

С 1799 по 1814 год не было ни одного раута в Лондоне, где бы на его присутствие не смотрели как на торжество, а на отсутствие - как на несчастье. Свет не нанес ему ни одной

раны, не отнял ни одной радости. Газеты печатали его имя во главе самых знаменитых гостей. Он был президентом клуба Уатъе, членом которого состоял Байрон. Браммела дарили дружбой самые разные люди - от чопорного Шеридана, навлекшего на себя гнев прекрасного пола тем, что он сделал слепок своей руки как прекраснейшей в мире, до герцогини Дэвонширской, писавшей стихи на трех языках и не брезговавшей целовать лондонских мясников, чтобы приобрести лишние голоса в пользу Фокса. Поэзия тех лет была полна им; его дух витает над "Дон Жуаном" Байрона.

В 1814 году Браммел был на невиданной высоте. Александр отнесся к королю моды с должной почтительностью, хотя, быть может, и не без чувства уязвленного тщеславия. Но приезд царя в Лондон странным образом явился причиной падения великого денди. В клубе Уатъе играли наиболее рьяно, и Браммел мог оставаться на высоте, лишь играя как все. Он был игрок, и игрок страстный. Неудачная игра значительно подорвала его состояние - основу его элегантности. А приехавшие в Англию русские и прусские офицеры еще более взвинтили ставки. Это погубило Браммела: он прибег к услугам ростовщиков и погряз в долгах, которые вынудили его покинуть Англию и перебраться в Кале, убежище английских должников.

Отношения царя с принцем-регентом не сложились по политическим причинам: Александр чересчур открыто высказывал свое сочувствие вигам. В беседе с одним из их вождей он даже пообещал, что непременно постарается вызвать к жизни оппозицию в России.

Лондонские театры отметили приезд русского государя оперой "Наренский, или Дорога в Ярославль". Ее автор, видимо, наслышанный о недоброй славе ярославских лесов, развивал в ряде роскошно-экзотических сцен типично русский сюжет из современной жизни: двое влюбленных попадают в плен к разбойникам, но в конце концов освобождаются молодым рекрутом Алексеем, который пошел в солдаты вместо брата. Дело, понятно, не обошлось без колоритных фигур - хитрой цыганки и ямщика Афанасия. Костюмы и декорации подчеркивали достоверность страшной истории. Староста деревни щеголял в парике и кафтане немецкого бургомистра; в ярославских лесах сосна росла рядом с дубом, и оба дерева - в трогательном соседстве с пальмой; полковничья дочь путешествовала из Москвы в Ярославль в белом атласном платье со шлейфом, в шляпе с перьями и донельзя открытой грудью. Русские песни и пляски окончательно утомили наших офицеров. В конце представления на сцене появился неизменный Бонька, которого изображал карлик, одетый арлекином, в ботфортах, высокой треугольной шляпе и с длинной косой. Кривляясь и дурачась, он позволил зрителям вволю выразить свои чувства к Наполеону и удалился за кулисы покрытый с головы до ног фруктовой гнилью.

На торжественном собрании в Оксфордском университете Александру преподнесли диплом доктора права. Царь возразил ректору:

- Как мне принять диплом? Я не держал диспута.
- Государь, - нашелся ректор, - вы выдержали такой диспут против угнетателя народов, какой не выдерживал ни один доктор права во всем мире.

Буря аплодисментов покрыла эти слова.

Англия дала Александру наглядный пример того, что конституционный образ правления в общем является весьма спокойным для монархов, а неприятности, если они и случаются, касаются только министров.

Дальнейший путь царя домой пролегал по суше - через Голландию и Германию. В Брухзале его застало прошение Святейшего Синода, Государственного совета и Сената о позволении выбить медаль в его честь и поставить в Петербурге памятник со словами: "Александру Благословенному, императору Всероссийскому, великодушному держав восстановителю, от признательной России". Александр ответил, что от сооружения памятника и принятия наименования Благословенный "отрицается и не соизволяет". Правда, Шишков потом все-таки убедил его, что неполитично запрещать подданным называть своего государя благословенным, сиречь благим.

Обстоятельства всегда определяли масштабы личности и деятельности Александра. Он умел видеть цель во время великих событий и шел к ней твердым шагом, поражая всех силой характера и размахом свершений; и напротив, совершенно терялся, ступался и беспомощно путался в рутине малых, обыденных дел. Россия ждала приезда великого государственного деятеля, закаленного в огне тяжелейшей двухлетней войны, знакомого с государственным устройством передовых стран Европы, умудренного знанием людей и общественных отношений, который приложил бы свои силы, волю, знания и опыт к исправлению и улучшению российской жизни; Александр же вернулся либеральным баринком, уставшим от неполадок в родной усадьбе и раздосадованный тем, что без его приказа никто из двора не подопрет покосившийся забор.

Первым делом "царств восстановителя", саркастически пишет Н. И. Греч, было "приказание называть первую станцию по московской дороге не "Три руки", а "Четыре руки"; вторым - положение о ливреях офицерских лакеев; третьим - о ношении в какой-то артиллерийской бригаде зеленых брюк и т. д. Министров не принимал. Все поступающие к нему жалобы возвращал как ненужные. Публика поворачала, привыкла и перестала".

Еще с дороги, узнав, что в Петербурге ему готовится пышная встреча, царь отправил петербургскому генерал-губернатору С. К. Вязмитинову распоряжение не устраивать никаких торжеств. "Ненавидя оные всегда, - писал Александр, - почитаю их еще менее приличными ныне. Един Всевышний причиною знаменитых происшествий, довершивших кровопролитную брань в Европе. Перед Ним все должны мы смиряться. Объявите повсюду мою неперменную волю, дабы никаких встреч и приемов для меня не делать". Триумфальные арки и сооружения для иллюминации были разобраны.

Рано утром 13 июля Александр почти незамеченным въехал в столицу и остановился в Каменноостровском дворце. На другой день состоялось благодарственное молебствие в Казанском соборе - единственное торжество, которым царь отметил свое возвращение.

Тот неподдельный восторг, с которым народ встречал государя в 1812 году, как-то незаметно поутих, кое-кто из россиян уже смотрел на царя с недоумением и даже осуждением - это особенно касалось гвардейской молодежи, среди которой уже зрели семена будущих мятежей. Да и Александр теперь не очень-то церемонился со своим "чудным народом". И. Д. Якушкин передает о следующем характерном эпизоде. В июле 1-я гвардейская дивизия, в составе которой он находился, возвратилась в Россию морем и была высажена у Ораниенбаума, где слушала благодарственный молебен. "Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся присоединиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неприятное впечатление по возвращении в отечество... Наконец показался император, предводительствуемый гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались, но в самую эту минуту почти перед его лошадью пробежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было наше первое разочарование на его счет..."

Неприятное впечатление производил Александр и на тех немногих людей в государственном аппарате, которые еще питали прежние преобразовательные иллюзии. Так, Державин, придя к царю, чтобы лично поздравить его с победоносным окончанием войны, услышал:

- Да, Гавриил Романович, мне Господь помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние, но людей нет.

- Они есть, ваше величество, - убежденно ответил Державин, - но они в глуши, их искать надобно. Без добрых и умных людей и свет бы не стоял.

Но Александр уже нашел людей, в чьи руки он собирался вскоре передать судьбу России. 6 августа он отправил в Грузино записку (Аракчеев был в отпуске, лечился): "Пора, кажется, нам за дело приняться, и я жду тебя с нетерпением".

Одновременно с должности министра иностранных дел был уволен граф Румянцев -

последний человек в правительстве, с которым у Александра были связаны неприятные воспоминания о тильзитском романе с Наполеоном. На его место был назначен граф Карл Васильевич Нессельроде. Это был человек без рода и племени, один из международных авантюристов, которые роем вились вокруг царя. Его отец, по вероисповеданию католик, был немецкий офицер, служивший в разные годы в австрийской, голландской, французской, прусской и русской армиях; мать - еврейка протестантского вероисповедания. Сам Карл Васильевич родился на палубе английского фрегата, стоявшего на лиссабонском рейде, и был крещен по английскому обряду, а образование получил в одной из берлинских гимназий. До конца дней он так и не выучился ни говорить, ни писать по-русски.

По единодушному свидетельству современников, Нессельроде был воплощением бездарности, но при этом хитрым льстецом и ловким интриганом. На русскую службу он поступил еще в 1796 году, но за отсутствием способностей вскоре был уволен в отставку. После смерти Павла он был отправлен к вюртембергскому двору с сообщением о вступлении на престол Александра и с этих пор быстро пошел в гору по дипломатической части. В Германии Карл Васильевич познакомился с Меттернихом, тогда еще австрийским послом в Дрездене, и совершенно подчинился его влиянию. Всю жизнь он видел в австрийском канцлере гения, а основная его политическая идея состояла в подчинении России австрийской политике. С 1807 по 1811 год Карл Васильевич состоял сотрудником российского посольства в Париже, выполняя секретные поручения Александра и Сперанского. Его угодливая исполнительность не осталась без внимания Наполеона, который с присущей ему прозорливостью удостоил его почти презрительного пророчества: "Вот маленький человек, который будет большим человеком" (Нессельроде был маленького роста, почти карлик). В 1812 году, после возвращения в Петербург, Карл Васильевич и в самом деле упрочил свое положение женитьбой на дочери влиятельного министра финансов Гурьева и с тех пор почти безотлучно находился при царе. Вся его дипломатия выражалась, по его собственным словам, в том, чтобы "начать с точки зрения других для того, чтобы привести их на свою точку зрения". (Позже, во время Крымской войны, он уточнит: "Мне нет дела до России, я служу государю".) Это был типичный представитель салонной дипломатии XVIII века, для которой не существовало ни идей, ни принципов, а только люди с их влечениями и слабостями.

Впрочем, передавая внутренние и внешние дела России в руки Аракчеева и Нессельроде, Александр отнюдь не считал, что тем самым он поступает своими либеральными убеждениями. Напротив, он с еще большей страстностью и даже с некоторым вызовом подчеркивал свою верность прежним идеям. Так, при обсуждении проекта благодарственного манифеста подданным он поставил "воинство" перед "дворянством", несмотря на шумные возражения Шишкова; а когда увидел в проекте слова, что между крепостными крестьянами и помещиками издавна существует "на обоюдной пользе основанная, русским нравом и добродетелям свойственная связь", раздраженно отбросил бумагу и, весь вспыхнув, сказал:

- Я не могу подписывать то, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен.

С этими словами он вычеркнул эту фразу из манифеста. Шишков, испуганный вспышкой царского гнева, не посмел разжать губ.

В то же время в высочайшем манифесте от 30 августа уже прозвучал туманный намек на казарменное будущее России: "Надеемся, что продолжение мира и тишины подаст нам способ не токмо содержание воинов привести в лучшее и обильнейшее прежнего, но даже дать оседлость и присоединить к ним их семейства".

Покончив на сем с делами любезного отечества, в восемь часов утра 1 сентября Александр отправился в Вену. Все бумаги с текущими делами он отослал Аракчееву, сопроводив их запиской: "Прощай, любезный Алексей Андреевич, я проработал насквозь всю ночь и еду сейчас". Его вновь ждали "великие интересы Европы".

VII

Я утверждаю, что посол в иностранном государстве никогда не может быть вполне

деловым человеком, если он не любит удовольствия в то же время. Его намерения осуществляются - и, вероятно, наилучшим образом, к тому же не вызывая ни малейшего подозрения, - на балах, ужинах, ассамблеях и увеселениях, благодаря интригам с женщинами или знакомствам, незаметно

устанавливающимися с мужчинами в эти беспечные часы развлечений.

Честерфилд.

Письмо к сыну от 26 сентября 1752 года

Путь Александра в Вену лежал через Пулавы. 3 сентября царская коляска въехала во двор имения Чарторийских.

- Я счастлив, что опять в Пулавах, - сказал царь, целуя руку княгине-матери, - здесь я чувствую себя как дома.

Затем без лишних слов он бросился в объятия князя Адама.

Вечером в доверительной беседе Александр подчеркнул, что намеревается сделать польский вопрос главным на предстоящем конгрессе.

- Теперь меня более всего занимает Польша, - сказал он. - Еду на конгресс, чтобы работать для нее, но надо двигать дело постепенно. У Польши три врага: Пруссия, Австрия и Россия, и только один друг - это я.

По приглашению Александра князь Адам последовал за ним в Вену в качестве неофициального лица, облеченного дружбой государя. (Надо заметить, что "русское" посольство в Вене состояло из полунемца Нессельроде, лифляндца Штакельберга, эльзасца Анштета, корсиканца Поццо ди Борго, корфиота Каподистрия, пруссака Штейна и украинца графа А. К. Разумовского, который не умел писать по-русски и, проведя полжизни в Европе, от России почти оторкся.)

По дороге к Александру присоединился Фридрих Вильгельм. 13 сентября оба государя торжественно въехали в Вену. За ними тянулся обоз: монарший скарб царя уместился на 34 повозках, прусского короля - на 175.

Вена никогда не была "сердцем" Австрийской империи. Каждый из многочисленных народов, входивших в ее состав, имел собственную столицу. Для венгров национальная жизнь сосредоточивалась в Будапеште, для чехов - в Праге, для поляков - во Львове и в Кракове, для словенцев - в Люблянах, для итальянцев - в Триесте и т. д. Но во время революции Вена унаследовала от Парижа славу всевропейской столицы, а впоследствии прочно удерживала звание второго европейского города.

На конгресс в Вену съехалась вся монархическая Европа. В одном императорском дворце Гофбурге разместились два императора, две императрицы, четыре короля, два наследных принца, два принца и две великие княгини. Их содержание обходилось венскому двору ежедневно в 50 тысяч флоринов, а всего за время конгресса императорская казна истратила огромную сумму - 40 миллионов флоринов (из всех иностранных послов один лорд Кестльри платил за занимаемые им апартаменты - полторы тысячи фунтов стерлингов в месяц). Наибольшее любопытство венцев вызывали Александр и вюртембергский король Фридрих, невероятно толстый человек с животом, свисающим складками до колен, из-за чего за трапезой ему отводили специальное место, с выпиленным в столе полукругом.

Сентябрь шел, а заседания конгресса все не начинались, из-за того что Александр заставил отложить открытие конгресса до 1 октября. Дело было в том, что между союзниками обнаружились глубокие разногласия. Хотя Англия, Австрия, Пруссия и Россия сходились на том, чтобы оставить исключительно за собой право установить основные принципы, на которых должен будет покоиться европейский мир, сами эти принципы понимались ими по-разному. Александр хотел предварительно неофициально повидаться со всеми сторонами, чтобы устроить все дела сообразно своим намерениям.

Наибольшие споры возникли по поводу немецких вассалов Наполеона, и особенно короля Саксонского, который, оставшись верным союзу с Францией, считался ввиду этого низложенным и содержался в качестве военнопленного в Берлине. Его низложение делало в то же время вакантным занимаемый им престол Варшавского герцогства.

Александр держал Варшавское герцогство в своих руках и был твердо намерен решить польский вопрос именно теперь, когда его положение главы антинаполеоновской коалиции придавало непререкаемое значение каждому его слову. Он придумал комбинацию, которая, как ему казалось, была способна примирить все противоречия. Поскольку саксонский король, по его мнению, потерял право на все свои владения, то следовало предоставить немецкую часть его владений - Саксонию - Пруссии, а польскую часть - Варшавское герцогство - отдать России. Таким образом, Пруссия из государства на две трети славянского, каким она стала после разделов Польши, превратится в державу, которая из всех немецких государств будет насчитывать наибольшее количество немцев. На этой основе между царем и прусским королем было достигнуто соглашение. "Я буду благодарен Богу, если мне удастся освободиться от моих польских подданных!" - заверил Александра Фридрих Вильгельм.

Государствам-победителям противостояла разбитая Франция и ее бывшие немецкие союзники, за счет которых Англия, Австрия, Пруссия и Россия намеревались устроить свои дела. Вначале Талейран мог противопоставить союзным монархам только словечко "легитимность", с которым он приехал на конгресс. В его устах оно означало то, что послевоенное устройство Европы должно производиться законным путем, а не по праву победителя. Немецкие князьки сгруппировались вокруг Талейрана, который взял на себя роль защитника всех "униженных и оскорбленных". Его план состоял в том, чтобы вырвать из рук союзников исключительное право распоряжаться делами Европы и, рассорив их, добиться распада коалиции и возвращения Франции значения великой державы. Уже 18 сентября ему удалось вырвать у союзников согласие на включение в число участников конгресса других стран, подписавших Парижский мирный договор, - Франции, Швеции, Испании и Португалии. Он также сразу выступил против слова "союзники", которое встречалось в каждом параграфе протоколов. Союзные монархи смущенно возражали, что это делается для краткости.

- Краткость хорошая вещь, но не следует злоупотреблять ей за счет точности, - съязвил Талейран и тут же выдвинул требование, чтобы обсуждение всех вопросов проводилось с участием остальных государств - победителей и побежденных.

Против этого нечего было возразить. "Легитимность" одерживала победу за победой.

Александр сразу понял, какую угрозу его планам несет "легитимность", и 19 сентября пригласил Талейрана на аудиенцию. В письме Людовику XVIII французский дипломат подробно описал это свидание. Когда Талейран вошел в кабинет царя, Александр принял серьезный, почти сердитый вид. "Я видел ясно, что он намерен разыграть роль", - замечает Талейран. Задав Талейрану несколько вопросов о положении Франции, царь сказал:

- Теперь перейдем к нашим делам, их нужно решить здесь.

Талейран ответил, что все дела будут быстро решены, если Александр проявит в них такие же благородство и великодушие, какие он явил в побежденном Париже.

- Однако необходимо, чтобы каждый нашел свою выгоду, - заметил царь.

- И каждый - свое право, - не уступал Талейран.

- Я сохраню за собой все то, чем владею, - настаивал Александр.

- Ваше величество изволит сохранить только то, что законно принадлежит вам.

- Выгоды Европы и есть право, - уже гневно возвысил голос Александр.

При этих словах Талейран, как будто в бессильном отчаянии, уперся головой в стену и, ударяя по ней кулаком, несколько раз воскликнул:

- Европа! Несчастливая Европа! - Затем он обернулся к царю. - Неужели предопределено, что вы ее погубите?

- Лучше война, чем отказаться от того, что занято мной.

Талейран опустил руки и замолчал, всем своим видом показывая, что вина за эту войну будет не на его стороне. Он выдерживал на своем веку и не такие сцены и потому не особенно смутился тем, что не на шутку разгневал Александра.

Царь тоже на минуту умолк, а потом, размахивая руками, решительно повторил:

- Да, лучше война.

Тут же, словно спохватившись, он торопливо добавил, что его ждут в театре, и вышел.

"Он удалился, - пишет Талейран, - затем, открыв двери, вернулся ко мне и, сжав обеими руками, изменившимся голосом сказал: "Прощайте, мы еще увидимся"".

Хотя Александр говорил как бы от лица всех союзников, Талейран прекрасно понимал, что польский и саксонский вопросы, о которых на аудиенции не было сказано ни слова, но которые молчаливо подразумевались обоими собеседниками, способны вызвать глубокий раскол в стане союзников. Вскоре его предположения подтвердились. Когда при встрече с Меттернихом, 27 сентября, он упомянул о союзниках, австрийский уполномоченный прервал его:

- Не говорите о союзниках, их нет более.

Талейрана чрезвычайно обрадовало это открытие. Он добился своего. С этого момента вместо противостояния союзники - Франция возникла новая комбинация: Франция, Австрия, Англия против России и Пруссии. При этом Талейран проявлял неуступчивость в отношении требований как России, так и Пруссии, лорд Кестльри считал единственно важным вопросом польский и желал привлечь к союзу Пруссию за счет саксонских и польских земель, а Меттерних раздавал обещания всем, стремясь лишь к увеличению владений Австрии в Германии, на Балканах и в Италии. Парадокс ситуации заключался в том, что все требования Александра могли быть легко улажены в союзе с Наполеоном, который при необходимости умел отдавать то, что ему не принадлежало; теперь же царю приходилось иметь дело не с одним, а со множеством крупных и мелких честолюбий, удовлетворить которые не представлялось возможным. Поэтому не случайно Александр все чаще обращался к наполеоновскому языку: "У меня в Варшавском герцогстве двести тысяч солдат. Пусть попробуют отобрать его у меня. Король Прусский будет королем Прусским и Саксонским, так же как я буду императором Всероссийским и королем Польским".

Царь готов был простить Талейрану его интриги - в конце концов, он действовал так, как должен был действовать, - но не прощал их Меттерниху, считая их предательством. Накапливавшееся в нем раздражение против австрийского министра наконец прорвалось наружу. Талейран с удовольствием сообщил Людовику о скандале, произошедшем 19 октября, после которого "Меттерних вышел... в таком состоянии, в каком близкие ему люди никогда его не видели".

Но ссора этим не ограничилась. Вскоре в разговоре с прусским уполномоченным Гарденбергом Меттерних дал понять, что Александр больше заботится о Польше, чем о Саксонии. Пруссак прямо осведомился у Александра, так ли это, не скрыв источника, откуда он почерпнул свои опасения. Возмущенный Александр в гневе отправился прямо к императору Францу и заявил ему, что, считая себя лично оскорбленным Меттернихом, намеревается вызвать его на дуэль. Озадаченный Франц ответил, что если царь настаивает на этом, то его министр, конечно, даст ему удовлетворение, но вообще-то им не мешает предварительно объясниться. Меттерних, немедленно вызванный к обоим государям, постарался оправдаться тем, что глуховатый Гарденберг неправильно его понял. Александр скрепя сердце принял его объяснения, но не простил его и перестал появляться на балах и вечеринках, которые устраивал австрийский министр; на ежедневных приемах в венском обществе оба делали вид, будто не замечают друг друга.

"Легитимность" делала свое дело и, кстати сказать, приносила ее защитнику хороший доход: "униженные и оскорбленные" заплатили Талейрану за улаживание своих дел около 15 миллионов франков.

Время шло, а открытие конгресса все откладывалось. Зато светская жизнь шла полным ходом, не зная ни затруднений, ни заминок. На вопрос вновь прибывших, как идут дела на конгрессе, венцы отвечали летучими словами известного остряка князя де Линя: "Конгресс танцует, но не двигается с места. Здесь впервые можно наблюдать странную вещь: развлечения приводят к миру". В октябре венские газеты не напечатали ни одной статьи о работе конгресса, но в каждом номере неизменно публиковался отчет об увеселениях

минувшего дня.

Гофбург во время празднеств превращался в чарующую сказку. Коридоры и арки украшались тропическими растениями из оранжереи. Зала редутов, предназначенная для танцев, убиралась цветами с тонко подобранными красками и ароматом, каждый раз обивалась новыми шелковыми обоями с серебряными бордюрами и обставлялась мебелью, обитой бархатом и богато позолоченной. Восемь тысяч свечей ослепительно сияли, тысячекратно отражаясь в зеркалах, жарким огнем горели на позолоте. Оркестры, искусно скрытые за зеленью, играли полонезы и вальсы. Для царственных особ устраивалась особая эстрада, убранная знаменами и штандартами, обитая белым шелком с серебряной бахромой по краям.

Более унылы и однообразны были празднества в зале Манежа: монархи прогуливались под звуки полонеза, предлагая руку дамам, которых удостоили своим вниманием. Это шествие в темпе несколько ускоренного *andante* вошло в традицию со времен знаменитой процессии знати на коронации Генриха III и подражало образцовым "выходам" дореволюционного французского двора.

Народ довольствовался легкой музыкой на воздухе, в саду Аутгартен, чей вход украшала надпись, сделанная по приказу императора Иосифа II: "Место сие посвящено народу почитателем его".

В пятнадцати салонах первых красавиц Европы пятнадцать оркестров ежедневно услаждали слух гостей популярными мелодиями (только в салоне леди Кестльри предпочитали двух слепых итальянцев - гитару и скрипку). Здесь говорили о делах конгресса, но главной темой были сплетни, сплетни, сплетни...

Русский царь в черном домино и без маски танцует среди шумной толпы, и демократ Эйнар шокирован подобным отсутствием достоинства у монарха. Правда, его демократическое сердце смягчается, когда Александр приглашает танцевать его супругу.

Балерина мадемуазель Эме неловко упала, и, чтобы осведомиться о ее здоровье, Александр послал к ней сановника, кавалера орденов святой Анны и святого Владимира. В высшем свете осудили подобное поведение царя по отношению к женщине, не являющейся хотя бы его любовницей.

Нечистоплотные привычки Талейрана, которые у всякого другого прослыли бы плебейскими, у него считаются оригинальными - он сам создает себе правила хорошего тона. Всем развлечениям "величайший каналья столетия" предпочитает пикет и говорит, что тот, кто не научился играть в карты в юности, готовит себе скучную старость. Дамы по-прежнему выются вокруг него и восхищенно аплодируют, когда он с улыбкой фавна бросает им какую-нибудь двусмысленную или злую остроту. Впрочем, на его обедах обсуждаются в основном достоинства национальных сыров: страхино либо честера. Внезапно прибывает курьер из Франции с сыром бри, который и одерживает победу.

В моду входят живые картины; их устраивают в Гофбурге по вечерам, при потушенных свечах: на освещенной сцене - Людовик XIV у ног мадемуазель Лавальер, Ипполит, отбивающийся от Тезея... В антрактах оркестр исполняет пьесы Моцарта или Гайдна, а также сочинения королевы Гортензии, падчерицы имп... то есть Буонапарте. В заключение спектакля боги и богини заполняют новый Олимп: графиня Перигор изображает Венеру, а графа Врбна удается нарядить Аполлоном лишь после того, как за минуту до выхода он соглашается сбрить свои гусарские усы.

Меню обеда у Александра по случаю тезоименитства его сестры, великой княгини Екатерины Павловны: волжские стерляди, остендские устрицы, перигорские трюфели, сицилийские апельсины, ананасы из царской оранжереи в Москве на каждом из пятидесяти столов, клубника из Англии, виноград из Франции, и у каждого прибора - тарелка свежих вишен из Петербурга: одна штука - рубль серебром. Разве это не первый барин Европы?

Некая очаровательная маска на балу останавливает ухаживания Александра вопросом: "Уж не принимаете ли вы меня за завоеванную провинцию?"

Мария Луиза разрыдалась, случайно найдя среди своих вещей портрет Нап... тьфу,

Буонапарте.

На ужине у графа Карла Зичи Александр и графиня Врбна поспорили о том, кому требуется больше времени для одевания - мужчине или женщине. Заключив пари, они разошлись в разные комнаты для переодевания. Отгадайте, кто выиграл пари? Графиня Врбна.

Князь Меттерних встает в десять часов утра и отправляется вздыхать в гостиную герцогини Саган. Задержаться у остроумной женщины разве значит потерять время? Кстати, герцогине надоело выплачивать ренту своим бывшим мужьям ("Мужья, мужья... Сколько их было..."); она заявляет, что мужья разоряют ее и что она больше не попадет на эту удочку. На днях она спросила Александра о судьбе ее владений в России. Царь отвечал, что она может ни о чем не беспокоиться, если порвет с Меттернихом, что герцогиня со вздохом и сделала.

Александр и Гарбенберг (оба тугие на ухо), чтобы не кричать на людях, отправились искать уединенную комнату и нашли приют в спальне княгини Багратион, "обнаженного ангела", как ее называют за чересчур смелое декольте.

На одном балу прусский король появился в гусарской форме, чем чрезвычайно огорчил Александра, у него в Вене нет хорошего гусарского мундира, и за ним немедленно послан курьер в Петербург.

Княгиня Эстергази в тот день, когда ее муж был на охоте, получила от царя записку, что он проведет этот вечер у нее. Она послала ему список дам, попросив вычеркнуть тех, кого бы он не хотел у нее встретить. Александр вычеркнул из списка всех, кроме нее!

Принц Вюртембергский, получивший согласие Александра на брак с его сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной, едва не расстроил свадьбу неуместным замечанием. Когда за обедом у царя речь зашла о Фридрихе Великом, принц заявил, что порицает этого государя за то, что "по его примеру все государи Европы сделались фельдфебелями". Сын Павла надулся и перестал оказывать жениху знаки расположения.

Царь назначил ежегодную пенсию в 300 флоринов шарманщику, который выучил скворца говорить: "Виват Александр!"

Наступил ноябрь, а о формальном открытии конгресса еще не могло быть и речи. Александр отправился в путешествие по Венгрии. По его возвращении предварительные совещания возобновились - все такие же утомительные и бесплодные. Александр, выведенный из терпения, предложил Фридриху Вильгельму ввести прусские войска в Саксонию.

Вступление пруссаков в Саксонию вызвало всеобщий взрыв негодования. Немцы кричали, что это еще более возмутительная узурпация, чем все узурпации Наполеона. Волнение достигло апогея, когда из Варшавы было получено воззвание великого князя Константина к полякам, призывавшее их сплотиться под старым знаменем Польши для защиты своих прав, находящихся под угрозой. Англичане и австрийцы уже начали подсчитывать свои силы. Они могли выставить 350 тысяч человек, Россия - столько же, но 130 тысяч французов, о которых все время говорил Талейран, как будто решали вопрос в пользу войны. Александр же пугал противников Наполеоном: "Если меня принудят к войне, я спущу на них с цепи чудовище". Князь Адам удивлялся: "Император продолжает держаться своего намерения; его твердость и непоколебимость относительно Польши служат для меня предметом удивления и уважения. Все кабинеты против него; никто не говорит нам доброго слова, не помогает нам искренне. Здешние русские тоже страшно негодуют и не извиняют императора; этот хор из своих и чужих голосов старается перекричать один другого... Но, несмотря на все бури, я все-таки надеюсь, что дело кончится хорошо для Польши".

Талейран вел дело к разрыву. В декабре он предложил лорду Кестльри подписать совместно с Австрией "маленькую конвенцию" для защиты прав саксонского короля.

- То есть вы предлагаете союз? - уточнил Кестльри.

22 декабря Франция, Англия и Австрия подписали тайную конвенцию, направленную

против России. Союзники обязались выставить по 150 тысяч человек и действовать "с величайшим бескорыстием". Бавария, Голландия, Ганновер и Сардиния были приглашены примкнуть к этому договору.

Этот трактат явился величайшим торжеством Талейрана. Никогда еще искусство дипломатии не проявлялось с большим блеском. Представитель побежденной, обескровленной страны один, без всякой опоры на вооруженную силу, расстроил враждебную коалицию и натравил бывших союзников друг на друга. В те дни он писал Людовику: "Коалиции больше не существует... Франция уже не занимает в Европе изолированного положения... Ваше величество действует согласно с двумя первостепенными державами, с тремя второстепенными государствами, а скоро будет действовать и со всеми странами, не руководствующимися революционными принципами и правилами. Ваше величество будет поистине главой и душой этого союза, образованного для защиты принципов, впервые вами провозглашенных".

Александр оказался на грани политического краха. Его упорное отстаивание интересов Польши и Пруссии поставило Россию перед угрозой полной изоляции и новой войны со всей Европой. К счастью, о войне больше говорили, чем действительно готовились к ней. Уже 27 января Талейран с грустью доносил королю: "Война, которую никто не желает предпринять и которую почти никто не в состоянии предпринять, по всей вероятности, не начнется". Тем не менее дипломатическое наступление единым фронтом заставило Александра пойти на уступки: теперь он соглашался оставить за саксонским королем часть его владений и удовольствоваться возрожденной Польшей в рамках все того же Варшавского герцогства. С тех пор как спор пошел только о цифрах и границах, его пыл охладел, и он думал только о том, чтобы поскорее покончить с переговорами.

В январе 1815 года общее веселье конгресса как-то поутихло. Скорбные и скорбно-торжественные события светской жизни затмили события политические.

В первых числах января сгорел дворец графа Разумовского, русского посланника в Вене. По отзывам современников, во дворце Разумовского была собрана лучшая в Европе частная коллекция произведений искусства и книг. Особенно славилась зала Кановы; вечером она освещалась белыми алебастровыми лампами, которые как бы оживляли мрамор статуй. Разумовский приглашал сюда только врагов Наполеона.

Дворец Разумовского был избран Александром для дипломатических приемов и балов. Пожар вспыхнул ночью, когда здание пустовало: царь веселился в другом месте.

Валил густой снег, но было довольно тепло. Пожарные выбрасывали в грязь лучшие произведения живописи и скульптуры, которые разбивались вдребезги и быстро пропитывались влагой. Первым из монархов на пожар прибыл император Франц, за ним явились остальные. При общем крике ужаса сбежавшей толпы рухнул потолок в зале Кановы. Разумовский, поигрывая бриллиантовой табакеркой, с деланным равнодушием отклонял соболезнования по поводу столь незначительного происшествия - ведь "Флора" Кановы все-таки спасена!

В день казни Людовика XVI Талейран устроил пышный молебен в Венском соборе с участием всех коронованных особ. Все государи почему-то явились в парадной форме, один Франц в трауре. По краям символического катафалка возвышались четыре статуи: фигура Франции, погруженной в глубокое горе, плачущая Европа, Религия с завещанием Людовика XVI и Надежда с очами, возведенными к небесам.

Затем скончался принц де Линь, любимец и добрый знакомый всех государей Европы еще со времен Екатерины II и Фридриха Великого. Верный никогда не покидавшему его остроумию, он, даже заболев, объявил, что представит гостям конгресса для разнообразия новое зрелище - похороны австрийского фельдмаршала. Вскоре после того он действительно умер. Вся Вена шла за его гробом.

В общем, зима прошла невесело. К весне разногласия в политических вопросах были кое-как улажены; во дворцах и салонах вновь наметилось оживление. 7 марта в Гофбурге давали "Севильского цирюльника" и французский водевиль "Прерванный танец". Во время

представления Меттерниху подали пакет со срочным донесением из Италии. Князь, не распечатывая, сунул его в карман. Наутро он вспомнил о депеше и вскрыл конверт. В первую минуту он не мог поверить своим глазам. Австрийский поверенный в Ливорно сообщал, что Наполеон бежал с Эльбы.

На Эльбе Наполеон постоянно повторял: "Отныне я хочу жить как мировой судья... Император умер; я - ничто... Я не думаю ни о чем за пределами моего маленького острова. Я более не существую для мира. Меня теперь интересуют только моя семья, мой домик, мои коровы и мулы". В кабинете императора над его головой красовалась золоченая надпись: "Napoleo ubicumque felix"*. Действительно, всюду на острове были видны следы кипучей деятельности "нового Санчо Пансы": украшался дворец, ремонтировались форты, строились шоссе и мосты, осушались болота, насаждались виноградники. Смотры, парады, учения сменяли друг друга; в гавани появился "флот": шестнадцатипушечный бриг "Непостоянный" и несколько фелюг, казавшихся совсем крохотными рядом с красавцем фрегатом сэра Нила Кэмпбелла.

В то же время по всей Франции рыскали его шпионы и агенты, собирая для него сведения о положении дел в стране. Они доносили, что французы недовольны Бурбонами, которые "ничего не забыли и ничему не научились"; офицеры бывшей Великой армии ропщут, сидя на половинном жалованье; крестьяне обеспокоены тем, что их земля вновь перейдет к помещикам; все важнейшие и доходнейшие места и синекуры заняты дворянами-эмигрантами... К этому добавлялись личные обиды. Его враги, как будто нарочно, делали все, чтобы разбудить в нем дремлющего льва: Людовик задерживал выплату положенного содержания, австрийский император отнял у него жену и сына, англичане все время поднимали вопрос, чтобы сослать его в какую-нибудь из своих отдаленных колоний, Талейран замыслил бросить его в темницу, некоторые, наконец, подумывали о яде.

Однако главной причиной, по которой властитель Эльбы подумывал о возвращении во Францию, было то, что его звали Наполеоном и что ему было всего сорок пять лет.

13 февраля 1815 года к нему прибыл один из его шпионов и, ознакомив императора с состоянием дел во Франции, сообщил, что в Париже созрел заговор якобинцев и генералов. Это сообщение стало решающим толчком, Наполеон отбросил все колебания.

24 февраля английский фрегат покинул гавань Порто-Ферайо, держа курс на Ливорно (раз в три недели Кэмпбелл курсировал между Эльбой и Италией). Через два дня в полдень ветераны Старой гвардии услышали сигнал к общему сбору. Войска построились на плацу. Прошел час; офицеры расспрашивали друг друга о причине сбора, но никто ничего не мог сказать.

В два часа пополудни показался Наполеон. Он шел пешком, сопровождаемый генералами Бертраном, Друо, Мале, Камбронном и несколькими капитанами. Встреченный приветственными криками, он прошел в середину каре, образованного войсками, и заговорил. Солдаты притихли, с удивлением и радостью слушая долгожданные слова императора.

- Солдаты! - воззвал император. - В изгнании услышал я жалобы нашей родины. Мы переплывем моря, чтобы вернуть французам их права, являющиеся вместе с тем и вашими правами. Народ зовет нас! Победа двинется форсированным маршем. Орел с национальными цветами полетит с колокольни на колокольню, вплоть до башни собора Парижской Богоматери. Париж или смерть!

Взрыв ликующих криков покрыл его последние слова. Солдаты и офицеры обнимались друг с другом, требуя немедленного выступления.

Началась погрузка на корабли, окончившаяся к семи часам вечера. Поднимаясь по сходням, старые гренадеры кричали: "Париж или смерть!" В восемь часов император вместе со штабом поднялся на борт "Непостоянного", вслед за чем пушечный выстрел возвестил отплытие и суда вышли в море. При свежем южном ветре эскадра направилась из залива на северо-запад, огибая берега Италии.

На бриге императора разместилось три сотни гренадер. Всю ночь солдаты и экипаж

перекрашивали обшивку брига: желтый с серым заменили на черный и белый, чтобы обмануть английские и французские фрегаты, курсировавшие между Эльбой и Капрайей.

На другой день флотилия уже была около Ливорно. Вдали показались три военных корабля, один из которых, бриг "Зефир" под белым бурбонским знаменем, направился прямо к "Непостоянному". Тотчас велено было закрыть люки. Солдаты сняли свои высокие шапки и легли плашмя на палубу; офицеры передавали приказ Наполеона идти на абордаж, если "Зефир" не согласится пропустить их корабль без осмотра.

Бриг под белым флагом на всех парусах неся к "Непостоянному"; корабли прошли один мимо другого, едва не соприкоснувшись бортами. Капитан "Зефира" Андриё, состоявший в приятельских отношениях с капитаном Тальядом, ограничился тем, что окликнул его, спросив, куда направляется "Непостоянный". "В Геную", - отвечал Тальяд. "Как себя чувствует император?" - прокричал в рупор Андриё. "Превосходно", - раздалось с "Непостоянного", и корабли разошлись. На последний вопрос Андриё ответил сам Наполеон.

28 февраля всем офицерам, солдатам и матросам, умевшим писать, раздали воззвание императора к армии и французам, приказав изготовить побольше копий. Затем принялись изготовлять трехцветные кокарды - для этого достаточно было срезать наружный край кокарды, которую войска носили на Эльбе.

1 марта в четыре часа пополудни войска высадились на побережье, неподалеку от Канн. Отдохнув, с наступлением ночи двинулись в путь.

Шли всю ночь напролет. Жители селений, через которые проходила колонна, наглухо закрывали окна или выходили из домов и сбивались в молчаливые кучки; на возгласы солдат: "Да здравствует император!" - они пожимали плечами и покачивали головой. Гренадеры хмурились и недоуменно умолкали. Они жаловались на усталость, и Наполеон спешил, вставал в их ряды и подбадривал ветеранов, называя их "старыми ворчунами".

В последующие два дня настроение крестьян и горожан изменилось: сыграли свою роль воззвания Наполеона, распространившиеся по Дофине. Дальнейший путь армии напоминал триумфальное шествие. Героем дня стал гренадер Малон, первый солдат, присоединившийся к отряду Наполеона. Гренадеры заставляли его вновь и вновь повторять свой рассказ о том, как полковник Жермановский (предводитель польских улан, входивших в состав войск Наполеона на Эльбе), встретивший его дорогой, сообщил ему о возвращении императора. Малон не поверил и расхохотался; полковнику стоило большого труда убедить его, что он не шутит. Тогда Малон задумался и заявил ему: "Моя мать живет в трех милях отсюда; я схожу попрощаться с ней и сегодня вечером приду к вам". И действительно, вечером он хлопнул полковника по плечу и не успокоился до тех пор, пока тот не обещал ему передать императору, что гренадер Малон решил разделить судьбу своего повелителя.

6 марта в ущелье Лаффре путь отряду Наполеона преградил авангард гренобльского гарнизона - батальон 5-го линейного полка и рота саперов. Жермановский, посланный к их командиру для переговоров, возвратился с известием, что тот отказывается вступать в какие-либо сношения и угрожает открыть огонь по бунтовщикам. Наполеон спешил и, приказав гренадерам следовать за ним, медленно двинулся к ущелью. Солдаты шли следом, переложив ружья под левую руку и опустив их дулом в землю.

На выходе из ущелья стали видны королевские войска. Солдаты стояли неподвижно и молчали. Офицер, командовавший ими, выкрикивал какие-то ругательства и требовал открыть огонь. "Стреляйте, негодяи! - кричал он. Это не Наполеон, а какой-нибудь самозванец!"

Император велел своим гренадерам остановиться. Шеренга за шеренгой застыла у него за спиной в зловещем молчании. Наполеон дернул плечом и с невозмутимым спокойствием направился к королевскому батальону.

- Вот он!.. Пли! - закричал вне себя офицер.

Казалось, что солдаты сейчас возьмут на прицел. Но Наполеон остановился и спокойным голосом сказал:

- Солдаты, узнаете вы меня? - Затем, сделав вперед два-три шага, он расстегнул сюртук.

- Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Я становлюсь под ваши выстрелы.

Спустя мгновение раздались крики: "Да здравствует император!" - и королевские солдаты, срывая с себя белые кокарды, бросились перед Наполеоном на колени.

В Гренобле, Лионе и других городах повторились те же сцены. Ни у одного из роялистских офицеров, возглавлявших гарнизоны, не хватило решимости поднести к орудию зажженный фитиль - они знали, что будут растерзаны своими же канонирами. Королевские войска, брошенные против Наполеона, переходили на его сторону. Наполеон в саркастическом письме благодарил Людовика за то, что он так заботится об увеличении его армии. Ней, уезжая из Парижа, обещал королю привезти "человека с острова Эльбы" в железной клетке, но вместо этого присоединился к Наполеону со всей армией; большинство маршалов последовало его примеру. На всем пути от Канн до Парижа не было сделано ни единого выстрела - подобного триумфа история еще не знала.

Император сдержал слово, данное солдатам на Эльбе. Орлам на знаменах империи потребовалось всего 22 дня, чтобы долететь до собора Парижской Богоматери. 20 февраля в девять часов вечера Наполеон водворился в Тюильри, над которым уже с полудня развевалось трехцветное знамя. Людовик еще накануне бежал из столицы.

VIII

Я веровал и потому говорил: я сильно сокрушен.

Псалом 115, 1

Реставрация Наполеона решающим образом изменила положение дел на Венском конгрессе. Антифранцузская коалиция, с таким трудом разрушенная Талейраном, в один миг вновь сплотилась. Меттерних, сразу же после прочтения депеши о победе Наполеона, поспешил к Александру. Это была их первая встреча после размолвки. Царь принял Меттерниха незамедлительно. "Нам не пришлось долго обсуждать меры, которые следовало принять, вспоминал Меттерних, - решение последовало быстрое и категорическое. Уладив это дело, император сказал мне: "Нам остается еще окончить личную распрю. Мы оба христиане, наша святая вера заповедует нам прощать обиды. Обнимем друг друга, и пусть все будет предано забвению". Император обнял меня и отпустил с просьбой возвратить ему прежнюю дружбу. В продолжение позднейших наших многолетних сношений ни разу не было более речи о том времени, когда мы рассорились. Наши отношения не замедлили принять прежний искренний характер".

Правда, их вновь установившейся дружбе через несколько дней пришлось выдержать новое испытание. Дело в том, что Людовик покинул Тюильри так поспешно, что оставил в своем кабинете многие секретные бумаги, в том числе и ратифицированный договор с Англией и Австрией против России. Наполеон не замедлил отослать его царю с сопроводительным письмом, в котором предлагал восстановить былой союз.

Прочитав предательский договор, Александр пригласил к себе Меттерниха.

- Вам знаком этот документ? - спросил он австрийского министра, показывая ему договор.

Меттерних сохранил наружное спокойствие, но мысли его смешались; он молчал, подыскивая себе оправдание. Царь прервал его размышления:

- Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно быть разговора между нами. Теперь нам предстоят другие дела. Наполеон возвратился, и поэтому наш союз должен быть крепче, нежели когда-либо.

С этими словами он бросил злополучный договор в камин.

У Александра состоялся разговор и с Талейраном, где царь сказал, что пожертвует для борьбы с Наполеоном последним солдатом и последним рублем. О договоре он даже не упомянул.

Талейран в свою очередь ничуть не возражал, чтобы вновь предоставить Александру первенствующую роль в коалиции, объясняя Людовику, что это даже выгодно для Франции, потому что русский царь не питает относительно нее никаких честолюбивых замыслов.

Мирные предложения Наполеона были отвергнуты. Нессельроде с холодной улыбкой

передал наполеоновскому послу слова царя: его величество жаждет только одного - истребления Бонапарта и его сторонников.

13 марта был заключен новый союзный договор. Россия, Австрия и Пруссия обязались выставить по 150 тысяч солдат, а Англия, помимо этого, субсидировать кампанию.

В начале апреля русская армия под командованием Барклая-де-Толли выступила в новый заграничный поход.

Александр оставил Вену 13 мая, намереваясь дожидаться подхода армии на Рейне, ближе к границам Франции.

Он переживал жестокий внутренний кризис. Та легкость, с которой Наполеон опрокинул Бурбонов, не позволяла сомневаться в народных симпатиях к французскому императору. Александр терзался тем, что год назад, в Париже, навязав Франции Людовика, он ошибся сам и, по-видимому, исказил замыслы Провидения. Но наиболее непереносимой была мысль о том, что, быть может, теперь не он, а "человек с Эльбы" является орудием Божественного Промысла и, следовательно, начинать войну против него означает противиться всевышней воле. Эти сомнения были настолько мучительны, что на этот раз Александр не спешил с открытием военных действий и даже как будто притормаживал движение русской армии к Рейну.

В таком душевном состоянии он приехал в Гейльбронн. Здесь произошла его первая встреча с баронессой Крюднер, встреча, которая решительным образом переменила настрой его мыслей.

Юлия фон Крюднер (урожденная баронесса фон Фритингоф) была дочерью ливонского магната и приходилась внучкой фельдмаршалу Миниху. Она родилась в 1764 году и была крещена по лютеранскому обряду. Получив чисто светское воспитание (ее главными учителями были танцмейстер и французская гувернантка), она вышла замуж за барона Крюднера, русского посла в Митаве, а впоследствии в Венеции, Копенгагене и Берлине.

Муж скоро наскучил ей. Под предлогом болезни она уехала от него в Париж. Здесь она попробовала себя на первых ролях в салонах, но, сделав двадцать тысяч долгу, поспешно перебралась на юг Франции в сопровождении какого-то немолодого ученого. На водах в Бареже она встретила молодого драгунского офицера маркиза де Фрегевиля и, по ее собственным словам, обрела в нем счастье, которое не нашла в обществе мужа. Барон наотрез отказал ей в разводе и велел ехать к матери в Лифляндию. Она отправилась туда с любовником, мечтая провести с ним "остаток своих дней". Однако в их идиллию вмешалась революция. По дороге маркиз решительно объявил ей, что долг патриота зовет его на родину. Потеряв свое счастье, баронесса не долго скучала. Она стала вести веселую бродячую жизнь, время от времени сходясь с мужем, чтобы выбраться из финансовых затруднений. Ее упорство достигло цели - она стала "звездой" салонов. Везде - в Теплице, Лозанне, Женеве, Лейпциге, Берлине и Петербурге - она привлекала внимание светской толпы: французских эмигрантов, литераторов и ученых дам, модных щеголей и скучных "их превосходительств". И только вновь оказываясь в тихом захолустье родной Лифляндии, она чувствовала себя ничтожной и опустошенной; здесь она пыталась размышлять о Боге, молиться и, насколько позволяли средства мужа, благотворительствовать.

В 1802 году умер ее муж, еще раньше - ее отец. Но ужаснее потерь близких людей и расстроенных дел было старение - ей шел тридцать восьмой год. Нужно было подумать о том, как заставить свет не позабыть о себе. Лавры г-жи де Сталь не давали ей покоя. В подражание знаменитой "Дельфине" баронесса написала "Валерию" - sentimentalный роман в письмах, содержащий странную историю платонической любви с оттенком изысканной чувственности. Чтобы заставить публику говорить о нем, г-жа Крюднер инкогнито объезжала модные магазины, спрашивая шляпы, перья, ленты а-ля Валерия. Не прошло и недели, как Париж сошел с ума на "Валерии"; роман выдержал несколько изданий. Шатобриан и г-жа де Сталь почтительно отзывались о нем в салонах. Но баронессе было мало этого признания, она добивалась одобрения самого Наполеона. Зная, что на библиотекаре Государственного совета Барбье лежит обязанность приносить все новые

книги на просмотр Наполеону, г-жа Крюднер упросила его положить на стол первому консулу ее "Валерию". Наполеон, прочитав несколько страниц, отбросил книгу, а наутро сказал библиотекарю: "Вы, кажется, забыли, Барбье, что я не люблю романов в письмах. Подобные книги годятся только для женщин, которые не знают, на что тратить время".

Г-жа Крюднер передала Барбье другой экземпляр, в великолепном переплете, вложив между страницами письмо, в котором просила первого консула милостиво принять творение иностранки, "избравшей Францию родиной своего сердца". Привлеченный переплетом, Наполеон поначалу живо раскрыл книгу, но, едва взглянув, с досадой отшвырнул; письмо "иностранки" только усилило его раздражение. "Посоветуйте от меня этой сумасшедшей Крюднер, сказал он Барбье, - чтобы впредь она писала свои сочинения по-русски или по-немецки, дабы мы избавились в будущем от этой сентиментальной чепухи".

Потом был третий экземпляр, в еще более роскошном переплете, который, однако, сразу полетел в камин.

После этого аутодафе Наполеон в глазах г-жи Крюднер превратился из гения в "черного ангела". Она не смогла дольше оставаться в Париже, этой резиденции демона зла. Только в родном лифляндском имении баронесса несколько пришла в себя. Местный пастор приходил давать уроки Закона Божьего ее маленькой дочке. Г-жа Крюднер от нечего делать приняла участие в занятиях и мало-помалу увлеклась ими. По замечанию одного французского писателя, "галантные дамы, посвящающие себя милому Богу, приносят Ему обыкновенно изношенную душу, ищущую занятий. Их набожность можно назвать новой страстью, и их нежное сердце в порыве самого покаяния меняет лишь предмет своей страсти".

"Обращение" баронессы ускорила смерть одного ее любовника, принятая ею за знамение свыше. Она боялась умереть нераскаянной. Дневной свет наводил на нее страх. Она заперлась в своей комнате, тщательно занавесив окна и законопатив щели. Опасаясь, что смерть сразит ее на пороге дверей, она не решалась переступить через порог. Так прошло несколько недель.

Наконец ей захотелось размяться. Почему-то она решила, что может отправиться на прогулку только в новых туфлях, и послала за башмачником. Когда он явился, баронессу поразило счастливое выражение его лица.

- Друг мой, вы счастливы? - спросила она.

- Да, ибо думаю, что я искуплен кровью Иисуса Христа, - ответил он.

Башмачник оказался гернгутером*, и г-жа Крюднер начала посещать их братские собрания. Она искала общество вдохновенных пророков, столь же экзальтированных, как и она сама. В 1807 году она сильно прониклась Адамом Мюллером, крестьянином, бросившим жену и детей и явившимся в Берлин для того, чтобы возвестить прусскому королю волю Божию. Подражая ему, г-жа Крюднер добилась свидания с королевой Луизой и возвестила ей скорую гибель Бонапарта.

Отныне пророческий зуд не давал ей покоя. Начиная с 1811 года она обратила свое внимание на Александра, и с тех пор ее пророчества о нем нарастали как снежный ком. Г-жа Крюднер называла его "всемирным спасителем", "кротким ангелом мира" и предсказывала его победу в борьбе с "черным ангелом". Она вступила в переписку с царем и сумела произвести на него впечатление, но добиться личной встречи ей долгое время не удавалось из-за войны и длительных заграничных путешествий Александра. Зато она сумела снискать дружбу императрицы Елизаветы Алексеевны и подчинить своему влиянию нескольких дам, в частности фрейлину Стурдзу.

В 1814 году в Гейльбронне г-же Крюднер удалось наконец добиться свидания с Александром. Этому способствовало тяжелое душевное состояние государя. Царь хандрил и жаждал уединения. "Наконец я вздохнул свободнее, рассказывал он впоследствии Стурдзе, - и первым моим делом было раскрыть книгу, которая всегда со мною. Но отуманенный рассудок мой не проникал в смысл читаемого. Мысли мои были бессвязны, сердце стеснено. Я оставил книгу и думал, каким бы утешением была для меня в подобную минуту беседа с

душевно сочувствующим мне человеком. Эта мысль напомнила мне о вас и о том, что вы говорили мне о г-же Крюднер, а также о желании, высказанном мною вам, познакомиться с ней. Где она теперь находится и как мне повстречаться с ней? Не успел я остановиться на этой мысли, как услышал стук в дверь. Это был князь Волконский; с видом нетерпения и досады он сказал мне, что поневоле беспокоит меня в такой час только для того, чтобы отделаться от женщины, которая настоятельно требует свидания со мною, и назвал г-жу Крюднер. Вы можете судить о моем удивлении! Мне казалось, что это сновидение. Такой внезапный ответ на мою мысль представился мне не случайностью. Я принял ее тотчас же, и она, как бы читая в моей душе, обратилась ко мне с сильными и утешительными словами, успокоившими тревожные мысли, которыми я так давно мучился. Ее появление оказалось для меня благодеянием, и я дал себе слово продолжать столь дорогое для меня знакомство".

Г-жа Крюднер явилась перед Александром в образе грозного ангела, возвещающего о Страшном суде; на ней было черное, почти монашеское платье. В этой первой беседе она представила царю всю его прошлую жизнь как непрерывную цепь заблуждений суетного тщеславия и гордости и доказала ему, что сознание своих слабостей и временное раскаяние не являются полным искуплением грехов и не ведут еще к духовному возрождению.

- Нет, государь, - предостерегала она, - вы еще не приблизились к богочеловеку, вы еще не получили помилования от Того, Кто один имеет власть разрешать грехи на земле. Вы еще остаетесь в своих грехах. Вы еще не смирились перед Иисусом, не сказали еще, как мытарь, из глубины сердца: Боже, помилуй меня, грешного! Вот почему вы не находите душевного мира. Послушайте слова женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение всех своих грехов у подножия Креста Христова.

Она продолжала в том же духе еще около трех часов. Если бы на месте Александра находился Наполеон, то докучливая проповедница, несомненно, через три минуты полетела бы в камин вслед за своей "Валерией". Но Александр, видимо, находился во власти душевного мазохизма. Во весь разговор он вставил только несколько обрывочных фраз, а остальное время просидел опустив голову на руки и проливая слезы. Наконец даже г-жа Крюднер испугалась за его состояние.

- Государь, я прошу простить мне тон, которым я говорила, - поспешила заявить она. - Поверьте, что я со всей искренностью сердца перед Богом сказала вам истины, которые еще не были сказаны вам. Я только исполнила священный долг относительно вас.

- Не бойтесь, - всхлипнул царь, - все ваши слова нашли место в моем сердце. Вы помогли мне открыть в самом себе то, чего я еще никогда не подмечал в себе. Я благодарю за это Бога, но мне нужно часто иметь такие разговоры, и я прошу вас не уезжать.

С этих пор они виделись ежедневно. Князь А. Н. Голицын испытывал живейшее удовольствие, наблюдая, "как исполински пошел император по пути религии". "Без сомнения, - писал он об этих встречах, - живущая верой Крюднерша подкрепила эту развивающуюся веру в государе своими бескорыстными и опытными советами; она решительно направила волю Александрову к еще большему самопреданию (самосозерцанию. - С. Ц.) и молитве; она, быть может, в то же время раскрывала ему и тайну той молитвы духом, которая, быв от Бога назначена достоянием всех земнородных, по несчастью, однако, есть удел только весьма немногих избранных". Никким образом не относясь к числу последних, рискну все же заметить, что г-жа Крюднер знала только одну тайну - тайну собственного неутоленного (и неутолимого) честолюбия, душевной опустошенности и умственного ничтожества, - которую она, конечно, не собиралась никому раскрывать.

26 мая царь переехал еще ближе к французской границе, в Гейдельберг, и поселился за городом, на берегу Некара, в доме англичанина Пикфорда. В письме к г-же Крюднер выбор этого места он объяснил тем, что "нашел в саду мое знамя - крест". Баронесса, по его желанию, поместилась рядом, в десяти минутах ходьбы. Вместе с ней приехали ее дочь Жюльетта, зять Беркгейм и духовный наставник - женевский богослов и мистик Эмпейтаз.

Александр навещал их через день и проводил с ними весь вечер молился, читал Библию

(три главы ежедневно - из Пророков, Евангелия и Посланий апостолов) и беседовал, часто засиживаясь далеко за полночь. Он много и с грустью говорил о беспорядочности своей прежней жизни.

- Государь, примирились ли вы теперь с Богом, убеждены ли в прощении ваших грехов? - спросил однажды Эмпейтаз.

Царь помолчал с минуту и, возведя очи горе, умиленно ответил:

- Я счастлив, да, я очень счастлив! Я примирился с моим Господом! Я был великий грешник, но с тех пор, как мадам (он указал на Крюднер) доказала мне, что Христос пришел искать и спасти погибших, я знаю, я верую, что грехи мои прощены мне. Слово Божие гласит: тот, кто верует в Сына Божьего, тот перешел от смерти к жизни и не пойдет на суд. Я верую, да, я обладаю верой. Иоанн Богослов говорит: верующий в Сына будет иметь жизнь вечную... Но я нуждаюсь в набожных беседах, я чувствую потребность передать то, что происходит во мне, и принимать благие советы. Необходимо, чтобы я был окружен людьми, которые помогали бы мне идти по пути христианскому, которые поднимали бы меня выше земного и преисполняли бы сердце мое делами небесными.

Он говорил также о том, что с каждым часом убеждается в спасительной силе молитвы, даже в государственных делах.

- Я могу уверить вас, - заметил он как-то, - что, находясь в положениях затруднительных, я всегда выходил из них с помощью молитвы. Я расскажу вам про такое дело, которое изумило бы мир, если бы оно сделалось известным. В совещании с моими министрами, которые не разделяют моих принципов, я вместо того, чтобы спорить с ними, творю внутреннюю молитву и замечаю тотчас же, как они склоняются к принципам милосердия и справедливости.

В другой раз он говорил, что необходимо "иметь веру простую и живую, которая взирает лишь на Господа, которая надеется вопреки всем надеждам; но необходимо также иметь мужество, чтобы, как Авраам, пожертвовать Исааком.

- Вот чего недостает мне! - воскликнул он при этом. - Просите у Господа, чтобы он даровал мне веру пожертвовать всем, дабы следовать за Иисусом Христом и исповедовать Его откровение перед всеми людьми.

Политические вопросы в этих беседах почти не затрагивались, за исключением одного, который особенно волновал Александра: является ли он все еще орудием Промысла или это восхитительное избранничество теперь узурпировал Наполеон в числе прочих похищенным им прав?

Г-жа Крюднер успокоила Александра на этот счет, черпая свои доказательства в многочисленных библейских пророчествах. Из Писания явствовало, что император французов был тем человеком, названным в пророчествах царем Вавилонским, о котором Исайя говорит: "Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее?" Остановить его беззакония может только Божий избранник: "Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над Вавилоном и явит мышцу Его над халдеями". Этот избранник - царь Александр, кроткий ангел мира, что, несомненно, доказывалось стихом: "Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего". О том же свидетельствовал и Иеремия: "Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею"; и еще: "Вот, идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли". Царь Вавилонский будет низвержен в ад, в глубины преисподней, по слову пророка Исайи.

Под влиянием доводов баронессы царь отбросил последние сомнения в своем высоком предназначении. Когда утром 7 июня в Гейдельберг пришло сообщение о том, что четырьмя днями ранее Наполеон перешел границу Бельгии и разбил Блюхера у Линьи, Александр поспешил к своей утешительнице с просьбой прочесть ему псалом 34-й ("Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борящихся со мною").

- Этот псалом, - заметил он, - изгнал из души моей все сомнения на счет успеха войны.

Я убежден теперь, что мои действия согласуются с волей Божьей.

Чтение сопровождалось его комментариями. Так, после прочтения стихов 12-14 ("Воздают мне злом за добро, сиротством души моей") царь вздохнул:

- Я не перестаю молиться за моих врагов, и я чувствую, что я могу любить их, как заповедует Евангелие.

А после стихов 22 и 23 ("Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною") сказал:

- Да, Господь сделает именно так, я глубоко убежден в этом. Это дело Его дело, ибо оно касается счастья народов. О, да дарует мне Бог милость доставить мир Европе! Я готов принести в жертву жизнь мою для достижения этой цели!

В беседах с г-жой Крюднер Александр постигал и самую трудную для монарха науку - азы незлобивости и смирения. Как-то он вошел к ней чрезвычайно мрачный и сердитый. Оказалось, что лакей, затворяя за ним дверь в прихожей, прищемил ему палец, и государь выбранил его. Баронесса отпустила ему и этот грех. Александр вышел от нее безмятежным и веселым и, немедленно позвав злодея лакея, подал ему руку и попросил прощения.

Этот день больше запомнился миру как день битвы при Ватерлоо...

После сражения при Ватерлоо и вторичного отречения Наполеона Александром владела только одна мысль - как можно быстрее войти в Париж.

11 июня главная квартира русской армии была перенесена в Мангейм. Здесь Александр устраивал смотры подходившим с востока дивизиям. Русские войска поражали иностранцев строевой выучкой, отличным состоянием амуниции и лошадей, но от зоркого взгляда сына Павла не укрылись некоторые недостатки. Так, Ахтырский гусарский полк найден был государем в превосходном состоянии, но было замечено, что некоторые офицеры употребляют "противу правил" серебряные цепочки на уздах; в другом гусарском полку султаны на киверах были не довольно прямы; а об артиллерии 9-й пехотной дивизии было сказано, что у исправного извозчика сбруя на лошадях лучше (в наказание командир артиллерийской роты был разжалован в младшие офицеры до окончания похода). Вот какими строгостями сопровождалась гейдельбергские душеспасительные беседы.

Участие русских войск в этом походе ограничилось штурмом Шалона и осадой Меца; потери не превысили 50 человек. Александр вновь находился во главе всех дел. По словам очевидца, "переходы делает он верхом, с чужими весел и торжествует, когда же занимается делом - важен, иногда бранчлив, быстр, но нетороплив, и взыскателен". Французы толпились у его дома по нескольку часов, ожидая его выхода, тогда как улицы, где жили Франц и Фридрих Вильгельм, были пусты, "как будто монархов сих там не было".

Со сдачей Парижа военные действия прекратились почти повсюду. У Сен-Дизье Александра нагнал курьер от Чернышева, который находился уже в Париже и писал оттуда, что, по мнению Веллингтона, царь должен поспешить с приездом, так как только он может уладить противоречия между союзниками и укрепить трон Бурбонов, которыми парижане явно недовольны.

При этом известии Александр опередил армию и в сопровождении австрийского императора и прусского короля проехал 200 верст под охраной всего полусотни казаков, а после Мо - и вовсе без конвоя. "Должно удивляться, с какой смелостью государь отважился на опасный путь, в котором сотня решительных французов могла переменить участь вселенной", - писал Михайловский-Данилевский.

28 июня царь въехал в Париж под приветственные крики жителей: "Вот Александр, вот наш избавитель!" Спустя полчаса после того, как он вошел в Елисейский дворец, туда явился Людовик, который на этот раз уже не разыгрывал из себя "короля-солнце". Их беседа продолжалась около часа. Когда они вышли из кабинета, на Александре была голубая лента ордена Святого Духа. Король, указывая на царскую свиту, громко сказал: "Ваше величество, объявите этим господам, что на вас не лента святого Андрея Первозванного". Прощаясь с царем, он был любезен и предупредителен, всем своим видом показывая, что он неплохой, в сущности, старикан.

Прибытие Александра действительно предотвратило многие беды. Так, Блюхер отдал уже распоряжение взорвать Йенский мост - символ военного позора Пруссии, - и только вмешательство царя предотвратило готовящийся акт вандализма. Кроме того, как и в прошлый раз, были приняты меры по охране спокойствия парижан.

Александр и виду не подавал, что находится в побежденном городе: ходил пешком по улицам, иногда один; прогуливался по Елисейским полям в сопровождении одного конюшего или ездил по городу в карете, запряженной двумя лошадьми, два лакея на запятках и кучер были французами. Немногочисленные караулы во дворце несли поочередно русские, пруссаки и англичане; на ночь к ним присоединялись несколько лейб-казаков. Однажды вечером царь получил анонимную записку с предупреждением о том, что из дома напротив к Елисейскому дворцу проведен подкоп и заложен порох. Тайная проверка не обнаружила ничего подозрительного, и Михайловский-Данилевский, войдя к Александру, чтобы доложить об этом, застал его уже спящим.

Вторичное пребывание царя в Париже ознаменовалось, как и в 1814 году, новыми притеснениями русского офицерства. Примерно через месяц в город торжественно вступили одна русская гренадерская и одна кирасирская дивизии. Во время церемониального марша некоторые полки сбились с ноги, что страшно разгневало государя, который приказал арестовать их командиров. Приказ вызвал недовольство офицеров; особенно возмущался Ермолов. На обеде, за которым Александр в присутствии Франца и Фридриха Вильгельма все время ругал провинившихся, чем довел до слез командира корпуса генерала Рота, Ермолов обратил внимание государя, что сегодня во дворце несут караул англичане, и просил, по крайней мере, препроводить арестованных полковников в русскую караульную, дабы не срамить русскую армию.

- Нет, пусть они для большего стыда содержатся у англичан, - упрямо ответил Александр.

Ермолов был вынужден подчиниться и препроводить арестованных на английскую гауптвахту.

Михайловский-Данилевский находил, что "государь следует, кажется, русской поговорке, что всякая вина виновата". Крутой нрав его отца с годами все более проявлялся в нем. Любая безделица выводила его из себя. Раз он накричал на Волконского за то, что он якобы потерял депешу от русского посланника при нидерландском дворе, и пообещал сослать его в такое место, какое князь не найдет на всех своих картах (Волконский возглавлял русский штаб); между тем бедный Волконский положил накануне эту депешу на стол Александру, где она, видимо, и затерялась среди прочих бумаг. Царь так расстроился, что приказал Михайловскому-Данилевскому никого не впускать к себе и жаловался ему, что подобные беспорядки вынудят его бросить все и уехать в Россию; кончилось тем, что он попросил принести ему Библию. Вечером он отошел и послал за Волконским.

- Не правда ли, что ты был виноват? - примиряюще сказал Александр. Помиримся.

- Вы бранитесь при всех, а миритесь наедине, - пробурчал князь.

Приняв это к сведению, царь на другой день за обедом сказал во всеуслышание:

- Люди, живущие вместе, иногда ссорятся, зато скоро и мирятся например, как мы с Волконским.

Эти слова были, несомненно, тоже следствием гейдельбергских бесед.

Свидания с г-жой Крюднер возобновились со 2 июля. Александр проводил у нее большую часть вечеров, беседуя о грехе и душевном спокойствии, читая Библию и молясь. Светских празднеств и увеселений он избегал и говорил баронессе, что "эти вещи производят на него впечатление похорон и что он уже не может понимать светских людей, предлагающих ему развлечение".

Душевное спокойствие, которое искал царь, было сродни полному равнодушию и безразличию к людям. На этот раз Александр не шевельнул и пальцем, чтобы облегчить участь Наполеона. Когда же во Франции начался белый террор, царь делал вид, что это его не касается, и не внял ничьим просьбам спасти жизни маршала Нея и еще сорока

наполеоновских офицеров, приговоренных к расстрелу. Доклад генерала Жomini, пытавшегося оправдать Нея, Александр возвратил с припиской, предупреждавшей генерала о том, что "доколе он находится на службе его величества, то не должен заниматься никакими посторонними делами, не принадлежащими к сей службе". Александр умел показывать великодушные, но никогда не был великодушным.

Напоследок перед отъездом из Парижа царь решил продемонстрировать всем - и врагам, и союзникам - мощь русской армии. Для этого грандиозного смотра он выбрал обширную равнину близ города Вертю, примерно в 120 верстах от Парижа. Пока армия сосредоточивалась там, в главной квартире днем и ночью составляли чертежи, обсуждали расстановку войск, маршруты движения частей, пароли и сигналы для каждой дивизии. Александр входил во все подробности; к нему в кабинет по двадцать раз на дню носили бумаги, касавшиеся этого смотра, на котором он, так сказать, желал представить свою армию на суд Европы.

Положено было 26 августа, в день Бородин, произвести примерный смотр, а 29-го - главный смотр в присутствии всех государей и гостей (за г-жой Крюднер был послан императорский экипаж; баронесса играла на празднестве роль г-жи Ментенон). Торжество должно было закончиться 30 августа, в день тезоименитства Александра, благодарственным молебном. В параде должно было принять участие 150 тысяч человек при 540 орудиях.

Репетиция торжества обрадовала Александра. "Я вижу, что моя армия первая в свете, - горделиво произнес он. - Для нее нет ничего невозможного, и по самому наружному ее виду никакие войска не могут с ней сравниться".

29 августа царь лично командовал церемониальным маршем и салютовал союзным государям. Великий князь Николай Павлович впервые обнажил на равнине Вертю шпагу, ведя за собой гренадерский Фанагорийский полк, а великий князь Михаил Павлович возглавлял конную артиллерию.

Маневры произвели огромное впечатление на всех, особенно на военных. Английский адмирал Сидней Смит сказал по этому поводу, что русский царь дал урок другим народам, а Веллингтон заявил, что не мог и вообразить, что можно довести армию до такого совершенства. Действительно, из 107 тысяч человек, участвовавших в церемониальном марше, ни один не сбился с ноги.

В тот же день во время торжественного обеда на триста персон Александр поднял тост за мир Европы и благоденствие народов.

30 августа после молебствия был зачитан высочайший приказ по армии, где царь благодарил всех "сослуживцев" за усердие и исправность и возвещал о возвращении в любезное отечество.

Возвратившись в Париж, Александр решил увенчать свое пребывание во французской столице заключением неслыханного политического договора. Речь шла о создании Священного союза. Не особенно полагаясь теперь на верность союзников, он хотел независимо от политических договоров скрепить связь союзных монархов актом, основанным на непреложных истинах божественного учения, создать союз, который связал бы государства и народы узами, освященными религией, и стал бы для них своего рода политическим Евангелием. Сам он называл этот документ "актом богопочтения".

Александр собственноручно написал все три статьи договора, которые обязывали союзников: пребывать соединенными неразрывными узами братской дружбы и управлять подданными в духе братства для охраны правды и мира; почитать себя членами единого христианского народа; пригласить все державы к признанию этих правил и к вступлению в Священный союз (последнее не распространялось только на римского папу и турецкого султана).

Фридрих Вильгельм, у которого уже был опыт подобного мистико-политического союза, легко подписал договор. Но австрийский император, не склонный к религиозным порывам, проявил больше сдержанности и поставил свою подпись на этом необычном документе только после того, как Меттерних заверил его, что на все эти слова о братской

дружбе не следует смотреть иначе как на безобидную болтовню.

Вслед за этим были выработаны условия окончательного мирного договора. Франция не понесла сколько-нибудь значительных территориальных потерь и выплатила союзникам скромную контрибуцию в 700 миллионов франков (из них 100 миллионов пришлось на долю России). Зато в семнадцати французских городах разместилось 150 тысяч солдат союзных армий сроком на пять лет для поддержания порядка. Условия передела европейских границ были выработаны союзниками еще раньше, 21 апреля, на Венском конгрессе. Согласно этой договоренности, Великое Герцогство Варшавское под именем Царства Польского навсегда переходило под власть России (Александр принял титул короля Польского; управление делами Польши было поручено великому князю Константину Павловичу); полякам были дарованы представительные и национальные государственные учреждения и конституция. Пруссия в качестве компенсации за потерянные польские земли получила часть Саксонии. Австрия присоединила к себе итальянские земли. Таким образом, Россия, вынесшая на своих плечах главную тяжесть борьбы с Наполеоном, получила 2100 км² земли с 3 миллионами населения, Австрия - 2300 км² с 10 миллионами, а Пруссия 2217 км² более чем с 5 миллионами немцев.

Гигантомахия закончилась. Она принесла Александру всемирную славу, а России - неисчислимые людские потери, 500-миллионный государственный долг и политический нарыв в виде Польши.

Из Парижа Александр направился в Бельгию, где осмотрел поле битвы при Ватерлоо, а оттуда - в Швейцарию. В продолжение всего путешествия царя не сопровождал ни один вооруженный охранник. В городах и деревнях люди толпились на дорогах и улицах, по которым должен был проехать Александр, и, завидев его, бросались к экипажу, чтобы вручить свои просьбы, словно он был их настоящий государь.

Оказывая свою обычную любезность в отношении иностранцев, Александр вместе с тем крайне нелестно отзывался о своих соотечественниках, говоря во всеуслышание, что все русские либо дураки, либо подлецы. Он как будто питал к русским злобу за свою судьбу, которая сделала его государем столь варварского для его возвышенной души народа. Впрочем, мизантропия царя распространялась и на другие нации. Например, в Берлине, в гостях у прусского короля, он выразился о Франции так: "В этой земле живут тридцать миллионов скотов, одаренных словом, без правил, без чести; да может ли что-нибудь быть там, где нет религии?"

Одни поляки, кажется, избегли этой участи. В Варшаве царь расточал милости: сыпал орденами, пожалованиями, землями. На балах и приемах он появлялся не иначе как в польском мундире, с лентой ордена Белого Орла вместо андреевской ленты. Поляки были очарованы. Княгиня Чарторийская записала после одного бала с участием Александра: "Все это казалось мне сновидением: существует Польша, король Польский, в национальном мундире и цветах. Слезы полились из моих глаз: у меня есть родина, и я оставлю ее своим детям". Другие польские дамы неотступно требовали перья из султана на государевой шляпе, так что Александр однажды, шутя, сказал, что варшавские женщины ошиповывают его.

Правда, были и недовольные, считавшие, что царю следовало бы возвратить Польше Литву, Волынь, Подолию и другие земли, входившие в состав Речи Посполитой. Александр отвечал им: "Я сделал все, что было возможно... Сделаю и все остальное, как было обещано, но все не может быть исполнено разом. Необходимо доверие. Имею право на него после всего, что сделано мной, а мои решения неизменны".

15 ноября он подписал конституционную хартию Царства Польского. Оставалось назначить наместника. Это звание до последней минуты надеялся получить князь Адам Чарторийский. Неожиданно для всех в ночь перед отъездом царя из Варшавы наместником Польши был назначен безногий ветеран обороны Варшавы против Суворова и наполеоновских войн генерал Зайончек. По словам Михайловского-Данилевского, князь Адам вышел из кабинета Александра "как бы в исступлении, вероятно, от оскорбленного самолюбия".

В ночь на 2 декабря царь возвратился в Петербург. Год завершился обнародованием 25 декабря акта о создании Священного союза. Отныне Александр желал объясняться с народом темными речениями о гении зла, побежденном Провидением, о Глаголе Всевышнего и о слове жизни.

Часть пятая

Посторонний всему

Жить только своим трудом и царствовать над могущественнейшей страной в мире - вещи весьма далекие друг от друга. Они соединяются в особе турецкого султана.

Б. Паскаль

I

Бедный римский народ, в какие он попадет медленные челюсти!

Октавиан Август о Тиберии

Все современники единодушно свидетельствуют, что Александр возвратился из-за границы другим человеком. "Образ мыслей его и жизни, - пишет Михайловский-Данилевский, - изменился до такой степени, что самые близкие люди, издавна его окружавшие, говорили мне, что по возвращении его из Парижа они с трудом могли его узнать. Отбросив прежнюю нерешительность и робость, он сделался самодеятелен, тверд и предприимчив и не допускает никого брать над собой верх... Опыт убедил его, что употребляли во зло расположение его к добру; язвительная улыбка равнодушия явилась на устах, скрытность заступила место откровенности и любовь к уединению сделалась господствующей его чертой; он обращает теперь врожденную ему проницательность преимущественно к тому, чтобы в других людях открывать пороки и слабости... Перестали доверять его ласкам... и простонародное слово "надувать" сделалось при дворе общим... Он употребляет теперь дипломатов и генералов не как советников своих, но как исполнителей своей воли; они боятся его, как слуги - своего господина..."

Вместе с тем было бы ошибочно принимать эти изменения за "развитие" характера Александра, скорее к ним можно применить слово "очищение", в том смысле, что под влиянием событий царь не столько менялся, сколько все более становился самим собой. В чертах его характера, которые подметил мемуарист, видны все юношеские задатки и стремления Александра: скрытность и двойственность его натуры, мечтания об уединении, желание, чтобы все вокруг совершалось само собой, без его участия, но чтобы это "само собой" находилось в соответствии с его намерениями; что же касается равнодушия и отвращения к людям, граничащих с цинизмом, то это всего лишь оборотная сторона чрезмерной юношеской чувствительности.

Кроме того, Александр чувствовал огромную усталость, он был сломлен непосильными требованиями, предъявленными к нему историей (из заграничных походов он привез седые волосы). Французская революция, гений Наполеона были вызовом, обращенным к нему временем, на который он так и не нашел удовлетворительного ответа. Революционные преобразования казались ему разрушительными и гибельными, либеральные реформы - несвоевременными. Отныне он искал не смелых реформаторов, а прежде всего исправных делопроизводителей, не умников, а дельцов.

Погружение в мистицизм окончательно побудило Александра передать бремя забот по внутреннему управлению империей в жесткие руки "верного друга". Настало время, о котором Карамзин писал: "Говорят, что у нас теперь только один вельможа - граф Аракчеев". Ему вторил Ростопчин: "Граф Аракчеев есть душа всех дел". Да и сам могущественный временщик не отрицал, что у него на шее висят все дела в государстве, не исключая и духовных. Аракчеев сделался не только первым, но, по сути, и единственным министром Александра. Царь, все больше уединяясь, принимал теперь с докладом одного Аракчеева, через которого только и могли получить доступ к государю другие министры, сенаторы и члены Государственного совета. Однако приобретенная с годами недоверчивость Александра к своим сотрудникам распространялась и на "любезного друга", который, как и

другие министры, состоял под тайным полицейским наблюдением.

Князь Волконский называл Аракчеева "проклятым змеем" и "злодеем" и выражал убеждение, что этот изверг погубит и Россию, и государя. Генерал-адъютант Закревский, говоря об Аракчееве как о "вреднейшем человеке в России", сожалел, что "переменить сие может одна его могила". Современники пишут, что даже самые незлобивые люди теряли терпение, будучи принуждены иметь дело с кичливым временщиком. В то же время все они признавали свое полное бессилие перед ним.

С четырех часов утра приемная Аракчеева наполнялась военными и штатскими. Дежурный офицер, докладывавший об их прибытии, обычно не получал никакого ответа, что означало: подождать. Вторичным докладом можно было рассердить графа, поэтому посетители терпеливо ждали. Наконец раздавался звон колокольчика, и Аракчеев надменно говорил адъютанту: "Позвать такого-то!" Сама аудиенция была вполне достойна предварительных мытарств. (Впрочем, многим такие взаимоотношения начальника и подчиненного казались нормальными. Один генерал, начавший службу при Аракчееве, уже позже недоумевал, как это офицер, приглашенный им на обед, осмелился в его присутствии есть. "Что ж, братцы, он сделал? - жаловался на отчаянного прапорщика генерал. - Он весь обед ел!" - и вспоминал, что когда он сам в чине гвардейского прапорщика был приглашен Аракчеевым обедать, то всю трапезу "просмотрел ему в глаза".)

Попасть к царю, минуя временщика, было невозможно. Когда в феврале 1816 года Карамзин приехал в Петербург, чтобы представить Александру первые восемь томов своей "Истории", императрица Елизавета Алексеевна и великие князья и княгини выражали свое восхищение его сочинением, но аудиенция у государя все почему-то откладывалась. Карамзин долго ломал голову над причиной, пока ему не передали слова Аракчеева: "Карамзин, видно, не хочет моего знакомства: он приехал сюда и даже не забросил ко мне карточки!" Историк понял, что на пути в рай ему не избежать чистилища, где заседает суровый игумен Грузинского монастыря. Впрочем, при встрече он нашел в нем "человека с умом и с хорошими правилами", хотя Аракчеев льстил и юродствовал напропалую: "Учителем моим был дьячок: мудрено ли, что я мало знаю? Мое дело исполнять волю государеву. Если б я был моложе, то стал бы у вас учиться; теперь уже поздно..." После этого посещения Карамзин был сразу принят царем, который выдал 60 тысяч рублей на издание "Истории", пожаловал историографу чин статского советника и анненскую ленту.

Единственным личным вмешательством Александра в дела внутреннего управления было преобразование министерства народного просвещения в министерство духовных дел и народного просвещения, "дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения". Возглавил новое министерство князь А. Н. Голицын, который, по словам современника, как и царь, "влез тогда по уши в мистицизм". Он направил свои усилия на то, чтобы "посредством лучших учебных книг водворить постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и разумом". В результате "вера, ведение и разум" почувствовали себя еще большими врагами, чем прежде, а образование обросло показным благочестием и ханжеством. Карамзин называл тогдашнее образование "мистической вздорологией", а ведомство Голицына "министерством затмения". Историк язвительно писал, что сам он "иногда смотрит на небо", но не в то время, "когда другие на меня смотрят". К мнению Карамзина присоединялся великий князь Константин Павлович, который насмехался над туманной религиозной литературой, выпускаемой министерством Голицына, называя ее "тайнственным вздором".

В натуре Александра мистические восторги каким-то непостижимым образом соединялись со страстью к фрунту. Насаждая одной рукой благочестие в юношестве, другой рукой царь создавал военные поселения. Их учреждение обычно связывают с именем Аракчеева, который, по словам современника, хотел из России сделать казарму, да еще и приставить фельдфебеля у входа; однако подлинным их творцом был, увы, венценосный "друг свободы и человечества".

Мысль о военных поселениях пришла к Александру задолго до Отечественной войны.

Толчком к ней послужило прочтение статьи французского генерала Сервана "О прочности государственных границ", где развивалась идея вооружения приграничного населения. Царь приказал князю Волконскому перевести заинтересовавшую его статью (перевод предназначался для Аракчеева, плохо понимавшего по-французски) и испещрил поля своими соображениями. Александром двигали, в общем, благие намерения: во-первых, не отрывать солдат в мирное время от семей и хозяйства и, во-вторых, облегчить государственный бюджет от расходов на содержание армии.

Аракчеев вначале отказался возглавить строительство военных поселений. Очевидец пишет: "Всем было известно, что многие лица, стоявшие во главе администрации, в том числе и граф Аракчеев, были против устройства военных поселений; что Аракчеев предлагал сократить срок службы нижним чинам, назначив его вместо 25-летнего восьмилетним, и тем усилить контингент армии". Только потом, видя, что эта идея не выходит у царя из головы, он ответил согласием. Несомненно, что жестокость, проявленная им в этом деле, была бы невозможна, если бы Аракчеев не чувствовал постоянной поддержки Александра.

9 ноября 1810 года был отдан приказ приступить к поселению запасного батальона Елецкого мушкетерского полка в Могилевской губернии, в Бабылецком старостве, жителей которого велено было переселить в Новороссийский край. В начале 1812 года Аракчеев сообщил Александру: "Батюшка, ваше величество... дела... идут хорошо".

Войны с Наполеоном приостановили эту деятельность, но, возвратясь из заграничного похода 1815 года, царь вернулся к ней. Он придавал военным поселениям необыкновенно важное значение, признавая в их учреждении одно из наиболее великих дел своего царствования, которое послужит ко благу всего народа. Тщетно насильственно облагодетельствованные крестьяне сочиняли челобитные государю "о защите хрещеного народа от Аракчеева", тщетно некоторые приближенные государя указывали на вред этой затеи; на все возражения Александр отвечал, что военные поселения "будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чугуева".

5 августа последовал приказ поселить 2-й батальон гренадерского имени графа Аракчеева полка в Новгородской губернии на реке Волхове, в Высоцкой волости. Осенью "чистый сердцем и душою" Аракчеев донес царю, что осмотрел Высоцкую волость и "с удовольствием видел доброе начало принятых мер".

На этот раз был принят во внимание довоенный опыт: жителей волости оставили на месте и зачислили в военные поселенцы с названием "коренных жителей", с подчинением военному начальству. Дети мужского пола были зачислены в кантонисты с тем, чтобы, повзрослев, они могли нести службу. Таким образом, крестьян ставили под ружье, солдатам вручали соху.

Эти крепостные казармы росли как грибы. К концу царствования Александра на положении военных поселенцев находилась уже треть армии. Этот громадный переворот в жизни народа совершился чисто административным путем, с ведома всего двух лиц - царя и гатчинского капрала. Регламент о военных поселениях так никогда и не был создан, так что поселенческая деятельность даже в самодержавном государстве носила характер сугубого произвола.

Между тем здравомыслящие люди уже тогда указывали на порочность самой идеи военных поселений. Один современник, критикуя военные поселения, писал: "Идея государя была ошибочна не только в политическом, но даже и в экономическом смысле, так как сокращение расходов по продовольствию войска не возмещало ущерба, который государство должно было понести вследствие освобождения многочисленного населения, поглощенного этим учреждением, от податной и всех прочих государственных повинностей... Что же касается облегчения воинских тягот, то в руках Аракчеева для народа, затянутого поголовно в тогдашнюю солдатскую лямку, с муштрой рекрутского устава, такое облегчение, при котором и зимой не было покоя от маршировки гусиным шагом, казалось невыносимой мукой, против которой они протестовали бунтами, усмирявшимися аракчеевскими экзекуциями, жестокости которых мы, люди того времени, все были свидетелями и которые

впоследствии стали известны всему свету".

Полку и крестьянам, которым выпадало счастье войти в состав военных поселенцев, выдавалась грамота за подписью государя и Аракчеева, в которой рисовалась идиллическая картина их будущего благополучия. От этих неслыханных благодеяний народ приходил в "страх и онемелость". В письмах царю Аракчеев признавал наличие недовольных, которых, впрочем, именовал буянами, шалунами и людьми дурного поведения; в основном же он писал в буколическом жанре: о том, как крестьянские дети, одетые в военные мундиры, сами становятся во фронт, а их отцы радуются, что их чада обуты-одеты, и как поселенцы, восхищенные красотой военной формы, даже за соху берутся не иначе как в мундире. Да и вид крестьяне наконец-то приобрели человеческий: обрили волосы и бороды, так как при мундире их носить уже неприлично.

Александр - Аракчееву, 19 июня 1817 года:

"Благодарю тебя искренно, любезный Алексей Андреевич, за все тобою сделанное... Начало наилучшее и действительно превосходит все ожидания. Нетерпеливо желаю тебя видеть, чтобы лично поблагодарить..."

По царскому вызову Аракчеев отправился в Петербург принимать поздравления, но оказалось, что и крестьяне, которым так нравились мундиры, сложились и снарядили четырех депутатов жаловаться императрице Марии Федоровне на Аракчеева. Граф через полицию успел вовремя перехватить злодеев на Сенной площади. Призвав их в свой кабинет, он велел догола раздеть их и обыскать. Обнаружив и отняв крамольную бумагу, он отправил всех четверых в погреб, куда вскоре переселились и другие зачинщики.

Однако крестьяне не отчаивались найти защиту. Осенью крестьянская депутация остановила экипаж Марии Федоровны, прося о милости и покровительстве; еще одна группа мужиков и баб неожиданно появилась из леса перед великим князем Николаем во время его верховой прогулки и бухнулась перед ним на колени; были и такие ходоки, которые дошли даже до Варшавы - к великому князю Константину. Впрочем, все эти обращения остались без ответа.

Крестьяне соглашались отдать последнее, лишь бы их оставили в покое. "Прибавь нам подать, - писали они Александру, - требуй от каждого дома по сыну на службу, отбери у нас все и выведи нас в степь - мы охотнее согласимся. У нас есть руки, мы и там примемся работать и там будем жить счастливо, но не тронь нашей одежды, обычаев отцов наших, не делай всех нас солдатами". Но их продолжали обрядать в шинели и сапоги и сгоняли на манеж, где они, для их столь особенного счастья, должны были слушать команды горластого капрала. Надо признать, что даже "сумасшедший" Павел не заходил в "гатчинизации" России так далеко, как его либеральный сын.

Мужикам оставалось одно - покориться, терпеливо перенести и эту новую напасть. 25 марта 1818 года Аракчеев мог донести, что по военным поселениям всюду обстоит благополучно, смирно и спокойно.

По странному стечению обстоятельств или, скорее, по странному течению мыслей Александра в то же время по просьбе прибалтийских дворян были освобождены от крепостной зависимости остзейские крестьяне (без земли). Выражая свое удовольствие по этому случаю, царь писал в рескрипте: "Радуюсь, что лифляндское дворянство оправдало мои ожидания. Ваш пример достоин подражания. Вы действовали в духе времени и поняли, что либеральные начала одни могут служить основой счастья народов". Когда же 65 помещиков Санкт-Петербургской губернии договорились отпустить на волю своих крестьян, переводя их на положение "обязанных поселян", царь резко пресек эту инициативу. Оказалось, что Аракчеев по высочайшему поручению готовит общероссийский проект отмены крепостного права, согласно которому единственным средством освобождения крестьян признавался их выкуп государством у помещиков. Работа над этим проектом окончилась тем, чем обычно оканчиваются российские реформы, - приказом "учредить комиссию".

В 1816 году наметилась еще одна черта жизненного уклада Александра: отныне

большую часть времени он проводил в путешествиях. Петербург был ему противен; все здесь напоминало о том, о чем царь больше всего хотел забыть: об 11 марта (проезжая мимо Михайловского замка, всегда закрывал глаза). Кроме того, в столице умничали, обсуждали каждый его шаг, критиковали правительство. Не последнюю роль играло и то, что Александр, добровольно лишивший себя светских развлечений, попросту скучал и искал в путешествиях новых впечатлений.

Маршрут путешествия 1816 года лежал через Москву, Тулу, Калугу, Чернигов и Киев в Варшаву - с целью "обозрения губерний, наиболее пострадавших от войны, и чтобы ускорить своим присутствием исполнение сделанных распоряжений".

Накануне отъезда из Царского Села Михайловский-Данилевский, размышляя над загадочным характером государя, оставил в дневнике следующую запись: "В десять часов утра его величество гулял по саду и семь раз прошел мимо моих окон. Он казался веселым, и взгляд его выражал кротость и милосердие; но чем более я рассматриваю сего необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключениях. Например, каким образом можно соединить спокойствие души, начертанное теперь на лице его, с известием, которое мне сейчас сообщили, что он велел посадить под караул двух крестьян, которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение?"

В путешествии Александр желал чувствовать себя по возможности частным лицом. Московскому генерал-губернатору Тормасову велено было скрыть время приезда государя - в ночь с 14 на 15 августа - и разгласить в городе ложный слух, что царь приедет днем позже, чтобы не было никаких торжественных встреч, так как "без изъятия никакие встречи не угодны его величеству".

10 августа царская коляска покинула Царское Село. Свита государя была немногочисленна - только свои. Пока ехали по большакам и проселкам, Александр сажал с собой князя Волконского, но при въезде в большие города его сменял Аракчеев - царь словно желал показать всей России свою привязанность к временщику.

В Москве царь пожертвовал на бедных 500 тысяч рублей, на отстройку дома благородного собрания 150 тысяч. В то же время он как будто стремился забыть, что всего четыре года назад в первопрестольной хозяйничали французы. "Непостижимо для меня, - записывал Михайловский-Данилевский, как 26 августа государь не токмо не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда почти все дворянские семейства в России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи, государь был на балу у графини Орловой-Чесменской. Государь не посетил ни одного классического места войны 1812 года, Бородина, Тарутина, Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские поля, а из Брюсселя в Ватерлоо. Достойно примечания, что государь не любит вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней, хотя она составляет прекраснейшую страницу в громком царствовании его".

Свое тезоименитство Александр отметил возвращением на службу Сперанского - он был назначен пензенским гражданским губернатором.

В Загустине 4 сентября царь подписал манифест об отмене в текущем году рекрутского набора ввиду достигнутого "Промыслом Всевышнего прочного мира, утвержденного на основаниях взаимного дружеского согласия европейских держав".

7 сентября Александр приехал в Киев. В лавре он посетил прославившегося еще при жизни слепого иеромонаха Вассиана и пробыл с ним с восьми часов вечера до полуночи.

- Благословите меня, - сказал Александр, входя в келью.

Вассиан хотел поклониться государю в ноги, но Александр не допустил этого, поцеловал старцу руку и сказал:

- Поклонение принадлежит одному Богу. Я - человек, как и прочие, и христианин. Исповедуйте меня, и так, как вообще всех духовных сынов ваших.

После беседы со старцем он сказал, что посещение лавры оставило в нем чувство, о котором святой Павел писал: "Был еще в теле, или еще кроме тела, не вею, Бог весть".

В Варшаву Александр поехал через Брест-Литовск, видимо, избегая встречи с кем-нибудь из Чарторыйских.

Варшава издавна слыла у русских веселым городом - недаром на ее гербе изображена сирена - и еще со времен Петра привлекала желающих насладиться "приятностями жизни". Во время разделов Речи Посполитой и наполеоновских войн веселье в ней несколько поутихло, но с восстановлением Царства Польского древняя столица вновь запыривала и запраздновала на славу. Со всей Европы сюда съехались польские эмигранты, служившие под знаменами Наполеона, а из России - путешественники и офицеры, служившие у великого князя Константина Павловича.

Но среди бесшабашного разгула уже слышался ропот. Причиной ему была колоритная особа великого князя.

Главную свою заботу Константин Павлович видел в создании польской армии, которая под его началом действительно вскоре стала считаться образцовой в Европе. Иностранные принцы и генералы специально ездили в Варшаву, чтобы научиться у великого князя искусству обучения войска. Поляки не без тщеславия говорили, что их армия доведена до *wysokiej doskonałości*, а сам Константин Павлович, слушая похвалы, с удовольствием повторял: "Мои ученики, мои ученики". Великий князь вникал во все мелочи солдатского быта: посещал казармы и конюшни, лазареты и кухни, наблюдал за ковкой и чисткой лошадей, проверял корм и подстилку, заглядывал в полковой котел и каждую миску, а вне службы любил побалагурить и покалякать как с офицерами, так и с солдатами. Немного было таких офицеров, от полковника до прапорщика, которые не были бы должны великому князю, и ни разу никто из должников не слышал ни слова об уплате долга. Константин Павлович ходил за гробом каждого умершего офицера, а покойных генералов лично носил до могилы.

Но все эти превосходные качества соседствовали в нем со вспыльчивостью и резкостью, которые переходили порой в безотчетную ярость, - сказывалась павловская порода. Браня польских офицеров, великий князь гремел: "Я вам задам конституцию!" Однажды, придя во время смотра в негодование от состояния амуниции солдат одного полка, он приказал арестовать поголовно всех полковых офицеров, предварительно осыпав их перед строем забористой бранью. Двое офицеров, не вынеся бесчестия, застрелились, а один пытался повеситься, но был вынут из петли. Только ближайший поверенный великого князя, грек Курута, умел успокоить его своим: "Цейцаз будет исполнено" (особо строгих приказов, однако, не исполнял). Для рассеяния гнева его высочества он заводил с Константином Павловичем разговор по-гречески (знание этого языка осталось у великого князя со времен "греческого проекта" Екатерины). Но царственный матерщинник и в греческие фразы вставлял русские словечки, а когда после всего Куруту ехидно спрашивали, что это ему говорил великий князь, грек хладнокровно отвечал, что бранчливый разговор его высочества по-гречески ничего особенного не значит, хотя перевести его на русский язык весьма трудно.

И русские офицеры часто бывали недовольны великим князем и в знак протеста договаривались за завтраком его высочества не есть и не поднимать бокалов за его здоровье. Раз, после исключения со службы одного товарища, все, как один, подали в отставку, чем заставили Константина Павловича одуматься и отменить приказ. Впрочем, великий князь знал свой несносный характер и однажды заметил, что в армии у него "строго и жучковато" (последнее слово произвел от "жучить").

Оттенки настроения великого князя можно было угадать по его одежде: если он надевал белый халат, то, значит, был в отменном расположении духа к тем, кого принимал в этом облачении; если в сюртуке без эполет - ни то ни сё; при появлении на сюртуке эполет дело становилось плохо, а если он выходил в мундире или, того хуже, в парадной форме, то следовало ожидать бури с ураганом.

Во внеслужбное время Константин Павлович преображался: был добр, приветлив, обнимал и целовал каждого офицера, трепал по плечу, смеялся, шутил и острил по-французски и по-польски, даже и на собственный счет.

Поляки надеялись, что своевольный нрав великого князя смирят красавица полька Жанетта Грудзинская, его любовница (супруга Константина Павловича еще в 1801 году уехала от него за границу), и ожидали от этой связи больших благ для Польши. Жанетта знала об этих надеждах и говорила подругам: "Я постараюсь сделать его высочество настолько счастливым, чтобы это отозвалось и на поляках".

Александр приехал в Варшаву 18 сентября и пробыл там две недели. Все это время он ходил в польском мундире и был неразлучен с братом. Парады и разводы не прекращались. Константин Павлович был счастлив и всем рассказывал, что его польскими войсками "государь не только что был доволен, но был даже удивлен".

Из Варшавы через Гродно и Ковно царь проследовал в Ригу. Здесь смотры уже сопровождались строгостями. Александр отставил от должности нескольких батальонных командиров за то, что "шаг слаб, неверен, многие люди ноги совсем не держат", "штаб-офицеры своих мест не знают" и "большая часть батальонных адъютантов не умеют [ни] сидеть верхом, ни шпаги держать".

За обедом он высказал свое удовлетворение от безопасности российских границ: "Этим счастливым положением границ наших обязаны мы Промыслу Божию, и Он поставил Россию в такое состояние, что она более ничего желать не может. Посему она имеет беспристрастный голос в делах Европы".

13 октября царь возвратился в Царское Село. Потекла тихая придворная жизнь. Дни проходили однообразно. Александр вставал в восьмом часу; постелью ему служил сафьянный тюфяк, расстеленный прямо на полу, подушкой жесткий кожаный валик, набитый сеном. Одевался с помощью одного лакея. Прислуги в Царском было немного. Александр не держал камергеров и камер-юнкеров (называл их придворными полотерами). Каждого слугу знал в лицо и проявлял внимание к их жизни. Однажды, встретив в парке баронессу Розен, сказал ей: "Я так доволен, что вскоре ваш и мой дом будут в союзе". Баронесса остолбенела. Оказалось, что, по сведениям государя, горничная из дома Розенов выходит замуж за пастуха дворцового стада.

В половине девятого он заканчивал свой туалет и приглашал Волконского (до этого часа никто не имел доступа к государю). После Волконского, который докладывал по военной части, приходил Аракчеев с докладом о состоянии дел вообще в империи; это занимало часа полтора. Следующие полчаса занимали дипломаты - Нессельроде и Каподистрия. Затем шел генерал-губернатор Петербурга Вязмитинов с рапортом о состоянии караулов. Наконец приглашались генерал-адъютанты, но им Александр задавал уже ничего не значащие вопросы, например о погоде. С 11 до 12 царь присутствовал на разводе. Позавтракав в первом часу, при любой погоде ехал на прогулку или шел гулять пешком. К трем часам возвращался к обеденному столу. Вечером иногда принимал министров, приехавших из Петербурга, но большей частью их доклады попадали на стол царю через Аракчеева.

Александр признавался, что Царское Село ему больше по душе, нежели столица: "Бог даровал мне это место для моего успокоения и наслаждения Его богатыми милостями и дарами природы. Здесь я удален от шума столицы, и здесь я успеваю сделать в один день столько, сколько мне не удастся сделать в городе за всю неделю".

Он вел почти монашеский образ жизни, отказывая себе из религиозных соображений во всех наслаждениях. Прежде всего это сказалось на его отношениях с женщинами. От прежнего платонического кокетничанья не осталось и следа. Графиня Шуазель-Гуфье пишет, что в это время в его речи с женщинами "преобладал дружеский тон и истинная благосклонность, но не прежняя любезность, скажу даже, кокетство. Не было более непрерывного целования рук, нежных взглядов, пленительных улыбок". Теперь царь придерживался строгого целомудрия и искренне удивлялся, как это французский король в свои шестьдесят с лишним лет еще имеет фаворитку. Сам он порвал с Нарышкиной. Это привело в восторг г-жу Крюднер, которая однажды высокопарно похвалила государя за то, что он отказался от шестнадцатилетней связи. Один из слушателей на это заметил со

вздохом: "Увы, иногда легче отказаться от шестнадцатилетней связи, чем от шестнадцатидневной!" Первой на это замечание расхохоталась великосветская пророчица. Впрочем, г-жа Крюднер и сама в 1816 году получила отставку. Видимо, она просто надоела Александру, как и все его прежние увлечения. К тому же баронесса имела неосторожность попросить места для своего зятя, а после подобных просьб царь, даже если удовлетворял их, терял уважение к человеку. Г-жа Крюднер продолжала жить в Петербурге и переписываться с Александром, но их душевные свидания прекратились.

В конце июля 1817 года Александр предпринял новую поездку по России, которая продолжалась до конца 1818 года. Вначале царь посетил Могилев, Бобруйск и Киев. В это время его начал занимать вопрос о престолонаследии. В Белой Церкви, когда разговор за обедом коснулся обязанностей различных сословий, Александр заговорил об обязанностях монархов и неожиданно твердым голосом сказал:

- Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого государства, как наше, он должен в момент опасности первым становиться лицом к лицу с нею. Но он должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это, или, чтобы сказать одним словом, до тех пор, пока он будет в состоянии садиться на лошадь. После этого - он должен удалиться. - При этих словах он улыбнулся и закончил: - Что касается меня, то в настоящее время я прекрасно чувствую себя, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят, тогда...

Тут его прервали сразу несколько протестующих голосов, уверявших, что и в шестьдесят лет он будет здоров и свеж. Александр заговорил на другую тему, но было видно, что предыдущие слова были сказаны им не в шутку...

Царь побывал также в Полтаве и Харькове. При въезде в Курск его неприятно поразило открывшееся его взгляду зрелище: улица, по которой он должен был проехать, была полна народу, который стоял на коленях и протягивал ему прошения. В Орле губернатору был сделан строгий выговор за нечистоту улиц.

В Москве ожидали прибытия государя, чтобы приступить к закладке храма Христа Спасителя. Из множества предложенных проектов царь еще два года назад остановил свой выбор на проекте Карла Лаврентьевича Витберга. "Вы заставили камни говорить", - сказал он счастливому архитектору. По замыслу Витберга, храм должен был олицетворять человека, состоящего из трех ипостасей: тела, души и духа, каковым составным частям соответствовали Рождество, Преображение и Воскресение Господне. Первый ярус храма должен был символизировать тело человека и посвящался Рождеству Сына Божия, принявшего на Себя смертную телесную оболочку; средний ярус олицетворял Преображение тела, просветленного волей души; верхний - Воскресение и победу духа над плотью. Барельефы нижнего храма, раскинувшегося почти на полкилометра, должны были изображать важнейшие эпизоды Отечественной войны и заграничных походов; на пяти башнях Витберг предполагал разместить 48 колоколов. Вообще, это строение должно было превзойти по размерам все древние и современные сооружения человечества.

12 октября 1817 года, в годовщину ухода французов из Москвы, состоялась закладка храма в присутствии Александра, обеих императриц и архиепископа Августина. Парад и литургия увенчали торжество. Царь, потрясенный размахом строительства, жаловался Витбергу: "К сожалению, я не могу надеяться увидеть что-либо при своей жизни".

20 февраля царь освятил своим присутствием открытие памятника Минину и Пожарскому.

1 марта он выехал в Варшаву на открытие первого сейма Царства Польского. Здесь снова начались беспрерывные разводы и смотры. "Я желал бы, чтобы у меня в Петербурге и гвардия так пошла", - говорил Александр. Константин Павлович сиял от гордости.

Через две недели состоялось открытие сейма. В своей речи, произнесенной по-французски, а потом зачитанной по-польски, Александр призвал поляков доказать Европе и России, что конституционные учреждения "не суть мечта опасная", но что они "утверждают истинное благосостояние народов".

Карамзин писал, что "варшавская речь сильно отозвалась в молодых сердцах: спят и видят конституцию; судят, рядят, начинают и писать...". В дворянской среде поползли слухи о скором освобождении крестьян, отчего у многих, по словам Сперанского, сделались "припадки страха и уныния". А в народе распространялось мнение, что правительство не только хочет даровать свободу, но уже и даровало ее, да только помещики таят долгожданный указ.

Вообще же публичное подтверждение царем в той же речи своего намерения отдать Польше западные русские губернии вызвало недовольство русских. Граф И. В. Паскевич рассказывает, как он спросил Милорадовича и графа Остермана, что же из этого будет, на что последний с запальчивостью ответил: "А вот что будет: что ты через десять лет со своей дивизией будешь их штурмом брать!" Остерман ошибся всего на три года.

Но Александр не отступался от своих слов. 15 апреля на парадном обеде по случаю закрытия сейма он еще раз подтвердил:

- Поляки! Я дорожу выполнением моих намерений. Они вам известны.

Покинув 18 апреля Варшаву, царь заночевал в Пулавах - в третий, и последний, раз. Князь Адам сообщил отцу, что "радостная для нас возможность присоединения забранных провинций все более утверждается в его мыслях".

Теперь путь его лежал на юг - в Бессарабию и Крым, где государь желал осмотреть южные военные поселения. Во время поездки Михайловский-Данилевский видел, как Александр несколько раз своими руками поправлял плащ Аракчеева, сидевшего рядом в коляске.

В Одессе произошел забавный случай с губернатором Ланжероном, который славился своей рассеянностью. При встрече с Александром он долго шарил по карманам и в конце концов смущенно сказал:

- Ваше величество, я не знаю, куда я подевал свой рапорт.

Царь улыбнулся и успокаивающе пожал ему руку. Можно только гадать, как поступил бы Александр, если бы на месте Ланжерона оказался русский чиновник.

Спустя несколько минут Ланжерон допустил еще одну оплошность. Проводив государя в свой кабинет, он вышел и по привычке повернул в замке ключ. Царь был освобожден только после того, как постучал в дверь.

Устройство южных военных поселений получило высочайшее одобрение. "В мирное время военные поселения избавят меня от рекрутских наборов, - сказал Александр, - но в военное время необходимо, чтобы все шли защищать отечество".

В Николаеве он осмотрел Черноморский флот и, похвалив вице-адмирала Грейга, скромно заметил:

- Впрочем, я сужу о морском деле, как слепой о красках. Вина не моя: лучшие годы мои прошли в сухопутной войне.

В Херсоне, слушая обедню в соборе, Александр стоял на плитах, под которыми покоился прах Потемкина. Не только памятник, но даже и простой крест не обозначал того места, где лежал человек, которому Херсон был обязан своим основанием, - извечная российская ненависть к прошлому. Когда хоронили "светлейшего", над его гробом соорудили свод и лестницу, но Павел распорядился "тело его вырыть и бросить в поле на съедение птицам". К счастью, кто-то из приверженцев покойного помешал исполнению указа и, разрушив свод и лестницу, заложил могилу досками, сравнив ее с полом.

Перед обедом Александр повел приближенных в сад и долго молча стоял у абрикосового дерева, с умилением глядя на него. Поведение государя вызвало недоумение у окружающих. Наконец царь пояснил:

- Это дерево посадила императрица Екатерина. Она намеревалась основать в Херсоне столицу Южной России и часто говорила мне об этом. Она так дорожила своим завоеванием, что приказывала писать на некоторых манифестах вместе с годом своего вступления на престол год присоединения к России Таврического царства.

Эти почти сочувственные слова о бабке были первым и единственным примером в

таком роде.

В Кикинети, населенном татарами, для него построили домик, но Александр непременно желал заночевать в татарской сакле - "иначе татары подумают, что я гнушаюсь ими".

В селе Терпении (около Новочеркасска), населенном духоборами, государь присутствовал на их службе, называемой поклонение.

- Я ваш защитник, - заверил он сектантов и прибавил, обращаясь к сопровождавшим: - Они люди добродетельные.

Дальше он посетил колонии немцев-менонитов, селения ногайцев, казаков и греков - пять различных народностей и вероисповеданий мирно уживались на пространстве в каких-нибудь 180 верст. Эта веротерпимость пришлась по душе Александру.

1 июня царь возвратился в Москву, куда спустя два дня приехал Фридрих Вильгельм с наследным принцем Пруссим. Король пожелал осмотреть панораму древней русской столицы, еще лежавшую большей частью в руинах, для чего осведомился, нет ли в городе подходящего здания. Его отвезли в дом Пашкова. Когда Фридрих Вильгельм увидел с высоты выгоревший город, этот "деревянный человек", как его называли, неожиданно для всех опустился на колени и приказал сыну сделать то же. Отдав Москве три земных поклона, король со слезами воскликнул:

- Вот наша спасительница!

В конце августа Александр выехал в Ахен, где должен был состояться очередной европейский конгресс. Главным вопросом, подлежавшим обсуждению, была оккупация Франции: членам Священного союза предстояло решить, продолжать ли содержать во Франции войска до окончания пятилетнего срока или вывести их уже в этом году.

Царь отправился на конгресс сухим путем, через Германию. В Берлине, по обыкновению, его ожидала торжественная встреча. Здесь Александр близко сошелся с прусским епископом Эйлертом, чья вдохновенная проповедь сильно поразила его. Во время аудиенции они говорили о самых разных вещах. Когда разговор коснулся прусского короля, царь, находившийся еще под впечатлением московского коленопреклонения Фридриха Вильгельма, с жаром воскликнул:

- Мы - добрые, взаимно любящие один другого друзья и братья! Я надеюсь, что искренний союз Пруссии и России, освященный Всевышним, и впредь останется нерушимым.

Заговорили о Священном союзе. Александр заметил, что "этот союз вовсе не наше дело, а дело Божие. Искупитель сам внушил те мысли, которые составляют содержание этого акта. Всякий, кто не признает и не чувствует этого, всякий, кто видит в этом лишь тайные замыслы политики и не отличает святого дела от несвятого, тот не имеет права говорить об этом вопросе".

В конце беседы Александр пригласил Эйлерта приехать в Россию:

- Я знаю, что немцы имеют невыгодное мнение о России, они почитают ее страной варварства и рабства, грубости и невежества. Говоря вообще, это совершенно несправедливо. Высшие сословия в городах, особенно в Петербурге, весьма образованны и даже утонченно образованны. Среднее сословие живет в довольстве, народ хорош, проникнут здравым духом, добродушен, счастлив в своем патриархальном образе жизни. То, что годится для других стран и считается там необходимой потребностью, нельзя еще считать полезным и нужным для России. Она не должна утратить свою народность, в которой столько хорошего.

Эти слова заставляют признать, что этот завзятый западник был одновременно и первым славянофилом.

После аудиенции Эйлерт сразу был приглашен к королю с отчетом. Выслушав рассказ епископа, Фридрих Вильгельм заметил:

- Интересно, крайне интересно. Император прекрасная личность.

Желая сделать приятное царю, король сообщил ему, что в Бунцлау сооружается памятник Кутузову, и предложил осмотреть его. Александр промолчал. Покойный

фельдмаршал все еще не получил у него отпущение грехов.

В конце сентября начались заседания конгресса. В Ахене присутствовали ведущие дипломаты Европы, но первая скрипка по-прежнему принадлежала Александру. Прусский уполномоченный Генц писал: "Не Австрия и Меттерних, не Англия, не говоря уже о Пруссии, а император Александр и Каподистрия руководят конгрессом; Каподистрия приобрел преобладающее влияние и снискал величайшее благословение со стороны императора".

Каподистрия был последним либералом в правительстве Александра. Этот уроженец острова Корфу был страстным патриотом, что не мешало ему стойко защищать интересы России. Как-то в ответ на предложение женить его на русской сказал: "Я не хочу стать русским по жене, а только по добросовестному исполнению своих обязанностей перед Россией. Но рано или поздно я вернусь на тот остров, где покоятся кости моих предков". Он состоял на русской службе с 1809 года, но стал близок царю во время заграничных походов, когда его либерализм пришелся особенно по душе Александру. В течение пяти последующих лет он пользовался исключительным доверием государя, который поручил ему турецкие и польские дела, но охотно пользовался его советами и в западноевропейских вопросах, которые составляли область ведения Нессельроде. Александр испытывал к нему почти отеческие чувства: "Вы лишились отца, но я буду вашим отцом!" Меттерних видел в Каподистрии главное препятствие к монархической реакции в Европе.

Перу Генца принадлежит и любопытная характеристика Александра, относящаяся к этому времени: "Говорят, что он непроницаем, и, однако, позволяют себе судить о его намерениях. Он чрезвычайно дорожит добрым о себе мнением, быть может, более, чем собственно так называемой славой. Названия умиротворителя, покровителя слабых, восстановителя своей империи имеют для него более прелести, чем название завоевателя. Религиозное чувство, в котором нет никакого притворства, с некоторого времени сильно владеет его душой и подчиняет себе все другие чувства. Государь, в котором добро и зло перемешаны таким удивительным образом, должен необходимо подавать повод к большим подозрениям... Он смотрит на себя как на основателя европейской федерации и хотел бы, чтобы на него смотрели как на ее вождя. В продолжение двух лет (1816-1818) он не написал ни одного мемуара, ни одной дипломатической бумаги, где бы эта система не была представлена славой века и спасением мира... Если многие думают, что все это с его стороны комедия, то я попрошу доказательств..."

Многое здесь схвачено верно и метко.

Делами в Ахене занимались прилежнее, чем в Вене, чему немало способствовало то, что в Ахене не было женских салонов. Через две недели все вопросы были уже улажены. Меттерних возражал против вывода союзных войск из Франции, но под влиянием царя вынужден был дать свое согласие на прекращение оккупации. Таким образом, благодаря Александру Франция вышла из-под опеки и вновь была включена в список великих держав Европы. Этому решению царя немало содействовало то обстоятельство, что в прошлом году Людовик подписал акт о Священном союзе.

Перед окончанием конгресса царь совершил поездку в Брюссель. В дороге нидерландское правительство известило его, что путешествие небезопасно, так как полицией открыт заговор бонапартистов, имевший целью захватить Александра, увезти его во Францию и там заставить подписать декларацию об освобождении Наполеона. Александр отнесся к этому предупреждению равнодушно: не только не отменил поездку, но надел не свою обычную фуражку, а шляпу с белым султаном, словно чтобы лучше выделяться среди своих спутников. Нидерландская полиция сбилась с ног, чтобы обеспечить безопасность царя: множество жандармов сидели под мостами, в деревнях и лесах, через которые проезжал Александр; переодетые в крестьянскую одежду полицейские постоянно следовали за его коляской.

Александр казался удовлетворенным своей миротворческой политикой. За обедом в Иглау, когда речь зашла о Веллингтоне, Михайловский-Данилевский пошутил, что

поскольку Веллингтон имеет чин фельдмаршала в семи странах (Англии, России, Франции, Австрии, Пруссии, Испании и Португалии), то он окажется в щекотливой ситуации, если между этими странами вспыхнет война. В ответ на это Александр очень серьезно сказал:

- Я могу вас уверить, что войны не будет. Мы устроили теперь дела таким образом, что ни Россия, ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия не имеют взаимных притязаний. Все заплачено, все между собой рассчитались, и надобно быть глупцом, начиная войну за какую-нибудь деревушку. - Однако, помолчав, он добавил: - Впрочем, чтобы сохранять мир, нужно содержать войска в исправности.

В дороге царь вел такой же размеренный образ жизни, как и в Царском Селе. Просыпался в восьмом часу, в постели пил чай, потом надевал белый халат, молился и начинал не торопясь одеваться. Когда подавали воду для умывания, звал Волконского. Проехав верст тридцать-сорок, обедал с большим аппетитом (из вин употреблял одно бургундское, которое для него специально привозили из Петербурга). После кофе сразу трогался в путь. Верст через шестьдесят ему подавали чай; этот же напиток он пил по прибытии на ночлег. Таким образом, за сутки Александр принимал пищу всего один раз.

Волконский жаловался Михайловскому-Данилевскому на возросшую раздражительность государя: "Что я терплю, никто не знает. Прусский король приедет на бал раньше государя - он мне наговорит такого, что мне хочется навсегда бежать от него; посадят каких-нибудь приезжих англичанок за обеденный стол - снова бранит; придворная церковная служба прошла не так опять я виноват".

22 декабря Александр наконец возвратился в Петербург, проехав в этом году более 14 тысяч верст.

Под влиянием религиозного настроения Александра вновь стали посещать юношеские мысли об отречении от престола. Летом 1819 года он говорил о престолонаследии со своим младшим братом, великим князем Николаем Павловичем. Супруга последнего, великая княгиня Александра Федоровна, присутствовавшая при этом разговоре, впоследствии подробно описала его. Дело было за обедом, после учений в Красном Селе. Во время легкой, дружеской беседы Александр вдруг переменял тон и, сделавшись весьма серьезным, сказал, что остался доволен войсками и тем, что брат так хорошо справляется с военными обязанностями, ибо на нем со временем будет лежать гораздо более тяжелое бремя, так как сам он, Александр, смотрит на него как на наследника и намерен еще при своей жизни передать ему бразды правления.

От неожиданности супруги окаменели, широко открытыми глазами глядя на Александра, а царь продолжал:

- Кажется, вы удивлены, так знайте же, что мой брат Константин, который никогда не заботился о престоле, решил ныне формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомкам. Что касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностях и удалиться от мира. Европа теперь более чем когда-либо нуждается в монархах молодых, вполне обладающих энергией и силой, а я уже не тот, каким был прежде, и считаю долгом удалиться вовремя. Я думаю, что то же самое сделает король Прусский, передав престол Фрицу.

Николай Павлович, теряясь в мыслях, забормотал, что не готов принять такую ответственность, что не имеет для этого ни сил, ни мужества, но Александр остановил его, сказав, что сам при вступлении на престол находился в таком же положении, которое усугублялось тем, что все дела были запущены, и для успокоения брата добавил, что, впрочем, передача ему власти произойдет не скоро, может быть через несколько лет.

Великокняжеская чета и в самом деле никогда не предполагала, что ей когда-нибудь придется царствовать, поэтому была совершенно подавлена услышанным. "Нас точно громом поразило, - пишет великая княгиня Александра Федоровна. - Будущее казалось нам мрачным и недоступным для счастья. Эта минута памятна в нашей жизни!"

Осенью того же года Александр переговорил на эту тему и с великим князем Константином Павловичем, который формально должен был наследовать ему. Провожая

государя из Варшавы, Константин Павлович проехал несколько станций в царской коляске. Во время этой короткой поездки и состоялся их разговор.

- Я должен сказать тебе, брат, - задумчиво промолвил Александр, - что я устал и не в силах сносить тяжесть правления. Я тебя предупреждаю, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в этом случае.

Константин Павлович, не раздумывая, горячо воскликнул:

- Тогда я буду просить у вас место второго камердинера вашего! Когда бы я теперь это сделал, то почли бы сие подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу свою преданность вам!

"При сих словах, - вспоминает Константин Павлович, - государь поцеловал меня так крепко, как еще никогда в 45 лет нашей жизни он меня не целовал".

Таким образом Александр выяснил, что никаких семейных ссор по этому поводу возникнуть не должно.

Практическим следствием этих бесед стало поручение, данное государем Новосильцову: разработать проект конституции для Российской империи. Александр, видимо, не хотел уйти, не выполнив своего главного обещания: даровать подданным основные законы. Помощником Новосильцова в этом деле стал его секретарь - французский юрист и публицист Дешан, от которого, впрочем, оказалось мало проку. На русский язык текст конституции переводил князь П. А. Вяземский. Проект Новосильцова получил название "Государственная уставная грамота Российской империи". Слова "конституция" все-таки побаивались.

Летом 1819 года Вяземский был приглашен в Петербург. Царь принял его в Каменноостровском дворце. Из беседы Вяземский вынес убеждение, что царь связывает этот проект с польской конституцией. Александр сказал, что доволен их трудом и надеется успешно окончить это дело и что только недостаток в деньгах для подобного государственного преобразования мешает ему немедленно претворить его в жизнь.

В следующем, 1820 году вопрос о престолонаследии получил дальнейшее развитие. 20 марта был опубликован высочайший манифест, определявший, что если кто из царской фамилии сочетается браком с лицом, не принадлежащим к царствующему дому, то дети от этого брака не имеют прав на российский престол. Этот манифест был вызван тем, что великий князь Константин Павлович наконец развелся со своей женой, великой княгиней Анной Федоровной, и женился на Жанетте Грудзинской, которой по этому случаю был пожалован титул княгини Лович. Константин Павлович никогда не раскаивался в своем предпочтении, оказанном любимой женщине в ущерб престолу, и впоследствии писал: "Я ей обязан счастьем, спокойствием..."

1819 год был отмечен путешествием государя в северные губернии и Финляндию. Губернаторам заранее был выслан наказ: привести дороги и мосты в наилучшее состояние; никаких торжественных встреч не устраивать; за обеденным столом роскошных блюд его величеству не подносить.

Александр был восхищен красотой Севера и нашел, что Финляндия это "северная Италия". Верхом, в коляске и пешком он объездил и исходил самые труднопроходимые и отдаленные места, интересуясь преимущественно жизнью простых людей - крестьян и горожан. Его полное равнодушие к комфорту во время этих поездок приводило свиту в отчаяние. Так, однажды всем им пришлось завтракать в доме у крестьянина, причем стол был накрыт в конюшне, убранной березовыми ветками. Когда на десерт подали два ананаса, царь, смеясь, велел унести их, так как, по его мнению, эти фрукты выглядели здесь слишком несообразно. А вообще, главным блюдом за столом государя в этом путешествии был вареный картофель.

Пока продолжалось это путешествие, в чугуевских военных поселениях произошел бунт. Аракчеев лично явился туда для расправы. Идиллическая картина благоденствия военных поселян была нарушена, но Аракчеев в письме царю объяснил причины мятежа "несовершенством человеческого творения". Исправлять это несовершенство он поручил

военному суду, который приговорил 275 бунтовщиков "к лишению живота" с заменой смертной казни прогнанием сквозь строй двенадцать раз (то есть каждый из этих людей получил 12 тысяч шпигрутен); затем тем, кто не раскаялся (значит, были и такие несовершенно созданные), была выдана добавочная порция шпигрутен, остальных заново привели к присяге.

В личном письме государю, в котором он "раскрыл расположение своего духа", Аракчеев жаловался: "Происшествия, здесь бывшие, меня очень расстроили; я не скрываю от вас, что несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли, и я от всего этого начинаю очень уставать, в чем откровенно признаюсь перед вами".

Александр откликнулся с дороги письмом, в котором между прочим писал: "С одной стороны, мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился. С другой, умею я также и ценить благоразумие, с коим ты действовал... Благодарю тебя искренно, от чистого сердца за все твои труды. Происшествие, конечно, прискорбное, но уж когда, по несчастию, случилось оное, то не оставалось другого средства из этого выйти, как дав действовать силе и строгости законов". Все же он осторожно, чтобы не обидеть чувствительную душу своего верного друга, добавил, не следует ли "строго, искренно и беспристрастно нам самих себя спросить: выполнено ли нами все обещанное полку"? Впрочем, на ближайшем смотре военных поселений остался доволен увиденным, нашел, что все обещания выполнены.

Вовремя пребывания в этом году в Варшаве царь поручил Новосильцову сделать перевод с латинского двух государственных актов - 1419 и 1551 годов - о присоединении Великого Княжества Литовского к Королевству Польскому. Это было нужно для юридического обеспечения передачи Польше западных русских земель. На этот раз против разбазаривания России выступил Карамзин с запиской "Мнение русского гражданина". В ней знаменитый историк доказывал, что восстановление Речи Посполитой противно обязанностям российского самодержца и исторической справедливости: данный шаг приведет к падению России или же, писал Николай Михайлович, "сыновья наши обгарят свою кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу" (предместье Варшавы).

17 октября Карамзин пил чай в царскосельском кабинете Александра и прочел ему свою записку. Царь терпеливо выслушал все возражения, но затем Карамзина постигла участь всех, кто становился поперек внешнеполитических замыслов Александра: государь лишил его своего расположения. "Мы пробыли вместе с глазу на глаз пять часов, - вспоминает Николай Михайлович. - На другой день я у него обедал; обедал еще и в Петербурге... но мы душой расстались, кажется, навеки". После смерти Александра Карамзин подвел итог своим отношениям с царем: "Я всегда был чистосердечен. Он всегда был терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частью не следовал". Однако на этот раз "Мнение гражданина" оказало влияние на намерения царя: Александр на время отложил свой проект, найдя, что мысли Карамзина созвучны настроению всего русского общества. Сам Николай Михайлович считал, что "более счастливые обстоятельства, нежели мои слезные убеждения, спасли Александра от дела равно бедственного и несправедливого".

Надо сказать, что и поляки уже не вызывали в душе Александра прежнего воодушевления. Строптивость депутатов сейма вызвала в нем растущее раздражение. Речь Александра на открытии второго польского сейма 1 сентября 1819 года разительно отличалась от прошлогодней: он уже говорил о возможной необходимости прибегнуть к насильственным мерам, чтобы "истребить семена расстройств". "Дух зла, - вещал царь, - покушается водворить снова свое бедственное владычество; он уже парит над частью Европы, уже накапливает злодеяния и пагубные события".

Однако, несмотря на грозный тон царя, сейм, трепеща от собственной смелости, отверг проекты законов, предложенные правительством. При закрытии заседаний, 1 октября, среди депутатов раздавались голоса, что теперь им, пожалуй, придется долго дожидаться третьего

сейма. Повторяли слова Александра, сказанные им депутации сейма, что он даровал Польше представительные учреждения и конституцию не для того, чтобы депутаты старались стеснить его власть. В общем, в этом году Александр испытывал в Варшаве чувство, уже ставшее ему привычным: досаду на то, что все, кому он оказывал благодеяния, спешили направить их против самого благодетеля.

II

Кто имеет друзей, которые ненавидят друг друга,
заслуживает их общей ненависти.

В. О. Ключевский

"Злодеяниями и пагубными событиями", которые сеял витавший над Европой "дух зла", были разразившиеся в Испании и Неаполе революции. В январе 1820 года восставшая испанская армия принудила Фердинанда VII снова ввести в действие конституцию 1812 года, скопированную Наполеоном для своего брата Жерома с французской конституции. Немного позже эту же конституцию неаполитанские солдаты навязали королю Обеих Сицилий Фердинанду I. Одновременно Европу взбудоражили два террористических акта: в Пруссии студент Карл Занд убил известного драматурга и писателя Коцебу, которого "прогрессивная прусская молодежь" почему-то считала агентом русского правительства, а во Франции рабочий Лувель заколол герцога Беррийского, принца крови. Под впечатлением от этих событий члены Священного союза положили необходимым собраться на новый конгресс, местом проведения которого выбрали Троппау.

Здесь произошел важный поворот во взаимоотношениях Александра и Меттерниха. Начиная с этого времени австрийский канцлер сумел высвободиться из-под влияния царя и в свою очередь подчинил себе его волю и политическое мировоззрение. Политическая система, сложившаяся в Европе в 1820-х годах, была уже полностью меттерниховской системой. Суть ее заключалась в том, что религиозно-нравственную идею Александра, идею Священного союза, Меттерних "обогастил" своей теорией права вмешательства.

Основой политической системы Меттерниха выступало право силы, а ее целью было - оградить существующий монархический порядок от любых изменений. Он полагал, что изолированных государств, характерных для древности, больше не существует, на смену им пришли общества государств, где каждая отдельная держава со своими частными интересами связана со всеми остальными рядом общих интересов. Государства составляют коллективный организм, каждый член которого должен иметь своим девизом: "Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы сделали тебе самому". Этот коллективный государственный организм должен поддерживать равновесие между отдельными своими частями, и если один из его членов пожелает возобладать над другими, то остальные должны соединиться и общими силами принудить его подчиниться общему порядку. Таким образом, под его пером доктрина Священного союза из религиозно-нравственной сферы переходила в область чисто политическую. Ее новой основой провозглашалось право вмешательства, это специфическое меттерниховское лекарство против революции, применение которого предписывается и регулируется конгрессами.

8 октября в Троппау прибыли оба императора, русский и австрийский, прусский наследный принц, Меттерних, Нессельроде, Каподистрия, Гарденберг, английский уполномоченный Чарльз Стюарт и французские посланники герцоги Караман и де ла Ферроне. Вскоре к ним присоединились вдовствующая императрица Мария Федоровна и великий князь Николай Павлович.

Троппау в то время находился на стыке трех границ - прусской, польской и австрийской. Это был довольно значительный по размерам и населению город, раскинувшийся в долине между Богемскими горами. В самом городе, впрочем, не было ничего заслуживавшего особенного внимания, но его окрестности были очаровательны. Здесь, среди лугов и рощ, находилось много поместий австрийской аристократии.

В Троппау Александр придерживался обычного образа жизни. По утрам он совершал прогулки - один или с членами семьи. Поскольку в городе не было тротуаров, а мостовые

были "очень негладки", по словам одного из членов царской свиты, то по особому распоряжению городского начальства для царя был выстроен дощатый тротуар.

День проходил в заседаниях конгресса или в беседах с кем-нибудь из иностранных уполномоченных. Первое место среди них занимал Меттерних. В длинных беседах канцлер рисовал перед Александром картину грозно надвигающейся со всех сторон революции: она уже разразилась в Испании и Неаполе, перекинулась на Португалию и готова разразиться в Пьемонте; даже во Франции самые благонамеренные министры находятся во власти капризов палаты. Его усилия увенчались полным успехом. "Император Александр податлив, - сообщал Меттерних своему государю уже после первой встречи с царем. - Он извиняется и доходит до того, что осуждает сам себя. Все это слишком хорошо, и если бы я не ощупывал себя, то подумал бы, что мною играет мечта. В течение трехчасовой моей беседы с императором Александром я нашел в нем то же любезное обхождение, которым я уже восхищался в 1813 году; но он стал гораздо рассудительнее, чем был в ту эпоху. Я просил его, чтобы он сам объяснил мне эту перемену. Он отвечал мне с полной откровенностью: "Вы не понимаете, почему я не тот, что прежде; я вам это объясню. Между 1813 годом и 1820-м протекло семь лет, и эти семь лет кажутся мне веком. В 1820 году я ни за что не сделаю того, что совершил в 1813-м. Не вы изменились, а я. Вам не в чем раскаиваться; не могу сказать того же про себя"".

Меттерних внимательно изучал перемены, произошедшие в Александре, надеясь угадать, насколько прочно они внедрились в сознание и характер царя. По его мнению, характер Александра представлял "странную смесь мужских качеств с женскими слабостями. Император был, несомненно, умен, но ум его, проницательный и тонкий, был лишен глубины. Он также легко заблуждался вследствие решительной склонности к ложным теориям. Излюбленные теории всегда одерживали верх в его мнении, он отдавался им крайне горячо, причем они овладевали им настолько, что подчиняли его волю... Подобные идеи быстро приобретали в его глазах значение системы... но не спланивались между собой, а вытесняли одна другую. Увлекаясь новой, только что усвоенной системой, ему бессознательно удавалось переходить через промежуточные ступени к убеждениям, диаметрально противоположным тому, чего он держался непосредственно перед этим, не сохраняя о них другого воспоминания, кроме обязательств, связывавших его с представителями прежних воззрений". Это мирное сосуществование прежних либеральных идей с новыми, меттерниховскими, выразилось, в частности, в том, что Александр хотел, чтобы неаполитанский король отменил конституцию, навязанную ему его подданными, но чтобы после этого он сам даровал им представительные учреждения. "Отсюда, - продолжает Меттерних, - возникала тяжелая как для сердца, так и для ума государя сеть более или менее неразрешимых затруднений, опутывавших его; отсюда частое пристрастие к людям и предметам самого противоречивого характера... Александр существенно нуждался в опоре, его ум и сердце требовали совета и направления". При этом в царе совершенно не было честолюбия. "В его характере не было для этого достаточной силы и было довольно слабости, чтобы допустить тщеславие. Вся его притязательность касалась скорее легких побед светского человека, чем серьезных целей владыки громадной империи".

Пристрастие Александра к людям противоположных взглядов (или, может быть, умение ладить с ними?) выражалось в том, что, следуя политике Меттерниха, царь одновременно прислушивался к советам его врага, Каподистрии. Австрийский канцлер считал корфиота главным препятствием своим планам. "Если бы я мог делать из Каподистрии все, что захочу, - писал он, то все пошло бы скоро и хорошо. Император Александр становится препятствием лишь благодаря своему министру; без последнего все было бы уже улажено". Как-то за чаем он открыто высказал Александру, что опасается Каподистрии.

- Я часто упрекал его за это, - ответил царь, - но происходит это оттого, что ему все кажется, что у вас есть задние мысли.

Эти слова звучали странно в устах человека, испытавшего в 1815 году меру

искренности Меттерниха.

Обстоятельства благоприятствовали Меттерниху. Словно в подтверждение его слов о всеобщей угрозе революционного движения, 28 октября из Петербурга пришло известие о случившемся там в ночь с 16 на 17 октября восстании лейб-гвардии Семеновского полка, которое кончилось тем, что 18-го весь полк очутился в Петропавловской крепости. В донесении командующего гвардейским корпусом генерал-адъютанта Васильчикова говорилось, что виной всему полковник Шварц, который довел нижние чины до отчаяния и неповиновения своим безрассудным и жестоким обхождением с ними.

Александр был поражен этим известием: Семеновский полк был его любимым гвардейским полком, на верность которого он привык полагаться с 11 марта 1801 года. Царь был выбит из привычной колеи жизни. Два дня он не показывался на людях; все это время день и ночь в канцелярии главного штаба шла лихорадочная работа. Спустя двое суток курьер повез в столицу высочайший указ: всех штаб- и обер-офицеров, а также нижние чины распределить по другим полкам; зачинщиков предать военному суду; полковника Шварца (кстати, ставленника Аракчеева) также судить военным судом за "неумение поведением своим удержать полк в должном повиновении".

Случившееся держалось в строгом секрете от иностранцев, но с Меттернихом Александр не мог не поделиться своими тревогами и опасениями. В семеновской истории он видел часть всемирного революционного заговора. Нелепость этого предположения была очевидна даже Меттерниху, но Александр упорно держался этой мысли. "Царь полагает, - доносил австрийский канцлер своему императору, - что должна быть какая-нибудь причина для того, чтобы три тысячи русских солдат решились на поступок, так мало согласующийся с народным характером. Он доходит до того, что воображает, будто не кто иной, как радикалы устроили все это, чтобы застрашать его и принудить вернуться в Петербург; я не разделяю его мнения. Превосходило бы всякую меру вероятия, если бы в России радикалы уже могли располагать целыми полками, но это доказывает, насколько император изменился".

Александр - Аракчееву, 5 ноября, Троппау:

"...Было тут внушение чужое, но не военное... Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам, которые по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау. Цель возмущения была, кажется, испугать".

Константин Павлович полностью соглашался с братом: "Заражение умов есть генеральное".

Придерживаясь своего взгляда на восстание в Семеновском полку, Александр решил продлить свое пребывание за границей, чтобы изыскать целебные средства против господства зла, пользующегося всеми тайными средствами, к которым прибегает сатанинский дух (такими словами он обрисовывал политическое положение). Воспользовавшись этим настроением царя, Меттерних добился от конгресса решения возложить на Австрию обязанность обеспечить восстановление порядка в Италии вооруженной рукой.

Чтобы быть ближе к месту будущих боевых действий, конгресс решено было перенести в Лайбах. Известие о переезде было встречено русской делегацией с радостью: Троппау порядком всем надоел. "У нас скука ужасная, - жаловался князь Волконский, - на меня отчаяние находит от скуки".

Впрочем, Лайбах тоже был скучным заштатным городком. Его главными достопримечательностями были два монастыря, мужской и женский, гражданский и военный госпитали и духовная семинария. Александр приехал сюда 27 декабря и занял лучший дом. Следом за ним приехал император Франц с семьей и дипломатическим корпусом, а потом и другие дипломаты.

В Лайбахе Меттерних продолжил подкоп под Каподистрию, который противился участию русских войск в подавлении европейских революций. Через месяц канцлер мог уже

написать: "Звезда первого русского министра начинает бледнеть. Бездна, разделяющая Каподистрию и императора, все более и более углубляется". Александр предоставил свои войска в распоряжение Австрии. Стотысячная русская армия была двинута к границам Италии; командование над нею поручалось Ермолову, вызванному для этого с Кавказа. К счастью, австрийские войска обошлись без помощи русских штыков. Уже в конце марта они почти без единого выстрела вступили в Неаполь и оккупировали королевство. Ермолов был несказанно "доволен, что война не имела места"; считал, что после тех мытарств, которые претерпел от австрийцев Суворов, ни один русский офицер не захочет состоять под началом гоффригсрата. Действительно, в русской армии, направленной в Италию, было множество недовольных. Васильчиков сообщал Волконскому, что офицеры "не желают идти против неаполитанцев".

Теперь и Александр несколько остыл и старался внятно объяснить другим и самому себе, каким образом он совмещает свои либеральные взгляды с нынешней политикой.

- Чем я был, тем остаюсь теперь и останусь всегда, - уверял он французского дипломата ла Ферроне, в полную противоположность тому, что не так давно говорил Меттерниху. - Я люблю конституционные учреждения и думаю, что всякий порядочный человек должен любить их. Но можно ли вводить их безразлично у всех народов? Не все народы готовы в равной степени к их принятию.

Свое участие в политике Меттерниха он объяснял так:

- Австрия и Пруссия всегда хотели войны, и так как Австрия в этом деле естественно призвана к подобной роли, то я не мог отделиться от нее иначе, как разорвав великий союз, что повело бы к переворотам в Италии, а может быть, и в Германии, и я счел своей обязанностью скорее пожертвовать своими личными взглядами, чем допустить подобные явления. Притом это верный способ по крайней мере на некоторое время сдерживать революционеров и не дать духу анархии и нечестия, представляемому тайными обществами, подорвать основы общественного порядка.

Конгресс был официально закрыт. Было решено, что монархи соберутся в следующем году во Флоренции, как вдруг пришло известие о восстании в Греции. Генерал-майор русской службы князь Ипсиланти собрал в Бендерах отряд из греков, арнаутов и русских добровольцев, с которым в конце февраля 1821 года перешел Прут и вступил в Яссы, намереваясь поднять восстание в Морее и на островах Архипелага. Хотя это движение не имело ничего общего с недавними европейскими революциями, Меттерниху удалось представить его царю как "новое покушение революционеров, имеющее целью отвлечь внимание союзников на Восток для того, чтобы освободить себе поле действий и без всякой помехи чинить свои разрушительные происки в Италии, Германии и Франции". Александр предпринял ряд мер в духе этих внушений: султана заверили, что Россия не будет поддерживать "противников общественного порядка"; Ипсиланти был исключен из русской службы, и ему было объявлено, что государь не одобряет его действий и что он не может рассчитывать на поддержку со стороны русской армии. Вскоре его отряд был разбит, а сам князь был взят турками в плен и посажен в крепость.

Меттерних чрезвычайно гордился тем, что в течение шести недель окончил две войны и подавил две революции. На резню, учиненную турками в охваченных восстанием провинциях, по мнению канцлера, следовало смотреть как на дело, "стоящее вне цивилизации", ведь "там, за восточными границами, триста или четыреста тысяч повешенных, зарезанных и посаженных на кол людей не идут в счет"!

Таким образом, Меттерних мог рассматривать Лайбахский конгресс как полное торжество своей политики, так как главный пункт его доктрины - право на вооруженное вмешательство - был санкционирован союзными державами. Впрочем, не всеми. Англия категорически отказалась подписать Троппауский и Лайбахский протоколы, а Франция подписала их, лишь сделав определенные оговорки относительно размеров вмешательства. Благодаря этому оказывалось, что Священный союз постепенно уступает место союзу трех неограниченных монархов - русского, австрийского и прусского. Это было полное

поражение внешнеполитической доктрины Александра.

В Троппау и Лайбахе Александр очень тесно сблизился с императором Францем. Меттерних с удовольствием отмечал, что "нет силы, которая могла бы разделить их ныне". В глазах царя русская и австрийская армии сделались "большими дивизиями великой армии порядка".

Для встречи Пасхи в доме, занимаемом государем, была сооружена походная церковь, для служения в которой из Венгрии был вытребован иеромонах Геннадий с четырьмя певчими. Солдаты лайбахского гарнизона, православные кроаты, попросили высочайшего соизволения присутствовать при праздничном богослужении. Александр дал свое согласие. Вечером в Великую субботу русские и кроаты заполнили церковь. Александр встал у клироса, так как любил петь с певчими (он обладал, по отзыву современников, приятным баритоном). Во время службы его удивило то, что кроаты пели правильно все напевы и даже канон Пасхи. После богослужения Александр христосовался со всеми, бывшими в церкви, русскими и кроатами; последние были приглашены разговляться вместе с государем и его свитой.

8 мая царь покинул Лайбах. Обратный путь пролегал через Северную Италию, Венгрию и Галицию. В Варшаве Каподистрия сообщил государю о результатах подавления греческого восстания. Резня христианского населения в Турецкой империи приобрела ужасающие размеры. В Стамбуле семидесятичетырехлетний патриарх Григорий в день Пасхи был схвачен у алтаря и повешен в полном облачении у входа в церковь; затем евреям позволили снять труп и волочить по улицам до берега моря; мученик был брошен в волны вместе с телами других убитых. Помимо тысяч рядовых христиан, были убиты еще три митрополита: Эфесский, Никомидийский и Ахиольский. Русский посол барон Строганов писал Каподистрии, что старается придерживаться инструкций государя о невмешательстве, но, добавлял он, "свяжите меня, если возможно, по рукам и ногам, чтобы я не мог сказать более, чем следует". Тем не менее Александр не добавил ничего к прежде сказанному.

Царь приехал в Царское Село утомленным и разбитым. Он чувствовал, что своей политикой в греческом вопросе завел Россию в лабиринт, откуда ей будет трудно выбраться без пролития крови. Русское общество в который раз встало в оппозицию к государю. От него требовали оказать решительную помощь грекам и принудить султана прекратить репрессии. Имелось множество недовольных постоянными разъездами Александра (путешествие в 12 тысяч верст обходилось казне в 130 тысяч червонцев). Полиция доносила, что даже купцы в петербургском Гостином дворе рассуждали о преимуществах конституционного правления, где "государь не может покидать своей страны без согласия народа". "Постыдно, - говорили они, - что наш государь лично отправляется туда, куда другие государи посылают одних посланников. Он лишь разъезжает и тратит большие деньги, разоряя этим страну".

Ко всему этому добавлялась душевная надломленность, которую Меттерних определил как "усталость от жизни". "Александр, - пишет князь П. А. Вяземский, - в последнее десятилетие уже не был и не мог быть Александром прежних годов. Он прошел школу событий и тяжких испытаний. Либеральные помыслы его и молодые сочувствия болезненно были затронуты грубой действительностью. Заграничные революционные движения, домашний бунт, неурядицы, строптивые замашки Варшавского сейма, на который еще так недавно он полагал лучшие свои упования, догадки и более чем догадки о том, что и в России замышляют что-то недоброе, - все эти признаки, болезненные симптомы, совокупившиеся в одно целое, не могли не отразиться сильно на впечатлительном уме Александра... В Александре не могло уже быть прежней бодрости и самонадеянности. Он вынужден был сознаться, что добро не легко совершается, что в самих людях часто встречается какое-то необдуманное, тупое противодействие, парализующее лучшие помыслы, лучшие заботы о пользе и благоденствии их... Тяжки должны быть эти разочарования и суровые отрезвления. Александр их испытал: он изведal всю их уязвительность и горечь. Строгие судьи, умозрительные и беспощадные, могут, конечно,

сказать, что человек с твердой волей, одаренный могуществом духа, должен всегда оставаться выше подобных житейских невзгод и сопротивлений. Может быть. Но мы не чувствуем в себе достаточно силы, чтобы пристать к этим суровым приговорам. Мы полагаем, что если и были ошибки, то многие из них были искуплены подобными испытаниями и подобным горем. Мы здесь не осмеливаемся судить, мы можем только сострадать".

Семеновская история подействовала на Александра так сильно еще и потому, что известие о ней совпало с получением сведений о существующих в России, в среде армейского офицерства, тайных обществах. Первый обстоятельный доклад об этом деле государю представил начальник III отделения корпуса жандармов генерал А. Х. Бенкендорф. В этом докладе уже были упомянуты почти все главные действующие лица будущего мятежа.

Бенкендорф советовал обратить особое внимание:

1) на Николая Тургенева, "который нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грезит гильотиной и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать в надежде выиграть все при перевороте; его-то наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселен пагубный образ мыслей";

2) на Федора Глинку: "...Слабый человек сей, которому некоторые успехи в словесности и еще более лесть совершенно вскружили голову, который помешался на том, чтобы быть членом всех видимых и невидимых обществ, втирается во все знатные дома, рискует ко всем видным людям, заводит связи, где только можно; для придания себе важности рассказывает каждому за тайну, что узнал по должности или по слабости начальника... и как в разговорах, так и в письме кстати и некстати прилепляет политику, которой вовсе не постигает, но блеском выражения и заимствованными мыслями слепит неопытных";

3) на "всех Муравьевых, недовольных неудачей по службе и жадных возвыситься";

4) на "Фон-Визина и Граббе, которые, судя по рассказам имеющих с ними короткие связи и по действиям их, готовы на все", и т. д.

"При судебном исследовании, - предупреждал Бенкендорф, - трудно будет открыть теперь что-либо о сем обществе (имеется в виду "Союз благоденствия". - С. Ц.): бумаги оного истреблены, и каждый для спасения своего станет запираяться; но правительство легко может удостовериться в истине, поручивши наблюдение за сими людьми, их связями и пр., и вследствие того принять на будущее время надлежащие меры... В заключение должно сказать, что буйные головы обманулись бы в бессмысленной надежде на всеобщее содействие. Исключая столицу, где, как и во всех других, много найдется способного воспламениться при обольстительных средствах, исключая Остзейские губернии, лучшее дворянство которых, получая воспитание за границей, мало имеет отечественного, - утвердительно можно сказать, что внутри России и не мыслят о конституции".

Итак, Александр приехал в Россию уже извещенный о заговоре. Сразу по приезде государя в Царское Село к нему явился генерал-адъютант Васильчиков с новым докладом о тайных обществах. Закончив обычный доклад, Васильчиков сказал, что имеет сообщить о политическом заговоре и передать донос, поданный ему незадолго до восстания в Семеновском полку; донос этот содержал полный список заговорщиков.

Александр долго оставался задумчивым и безмолвным. Наконец он произнес по-французски:

- Дорогой Васильчиков, вы, который находитесь на моей службе с начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения.

Тут он снова надолго умолк и затем прибавил:

- Не мне подобает карать.

Оба доклада - Бенкендорфа и Васильчикова - остались без последствий. Александру не хватило духа наказать людей, проповедующих идеалы его молодости, которые он теперь называл иллюзиями. Сохраняя теплое, сочувственное отношение к либеральным идеям,

Александр разочаровался, изверился в них. Однако ему тяжело было думать, что он должен отказаться от любви современников и похвал потомков. Сам он сознавал, что внутри империи им сделано гораздо меньше, чем на дипломатическом поприще. Немного позже, при посещении Пензы в 1824 году, у него состоялся следующий разговор с губернатором Ф. П. Лубяновским. Дело было после смотра 2-го пехотного корпуса. Лубяновский, заметив на лице царя явные признаки усталости, сказал, что империя должна сетовать на его величество.

- За что? - спросил Александр.

- Не изволите беречь себя.

- Хочешь сказать, что я устал? Нельзя смотреть на войска без удовольствия: люди добрые, верные и отлично образованны; немало и славы мы ими добыли. Славы для России довольно, больше не нужно; ошибется, кто больше пожелает. Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце как десятипудовая гиря. От этого устаю.

Но отнестись к полученным сведениям полностью равнодушно он тоже не мог. В нем проснулась болезненная подозрительность - черта отчасти наследственная. Невиннейший жест, слово, шутка немедленно истолковывались им в дурную сторону. Однажды генерал-адъютанты Киселев, Орлов и Кутузов, стоя во дворце у окна, забавляли друг друга веселыми историями и громко хохотали. Вдруг показался Александр; балагуры, как по команде, смолкли. Спустя несколько минут Киселева позвали к государю. Александр стоял в кабинете перед зеркалом. Некоторое время он смотрел на свое отражение то с одной стороны, то с другой и наконец спросил, что, собственно, в его особе может быть смешного? Киселеву стоило большого труда убедить его, что веселая компания смеялась не над ним.

Супруга великого князя Николая Павловича великая княгиня Александра Федоровна свидетельствует о том же: "Ему казались такие вещи, о которых никто и не думал: будто над ним смеются, будто его слушают только для того, чтобы посмеяться над ним, и будто мы делаем друг другу знаки, которых он не должен был заметить. Наконец все это доходило до того, что становилось прискорбно видеть подобную слабость в человеке со столь прекрасным сердцем и умом".

В минуты отрезвления Александр все глубже погружался в религиозные размышления. Он признавался графине Софье Ивановне Соллогуб: "Возносясь духом к Богу, я отрешился от всех земных надежд. Призывая к себе на помощь религию, я приобрел это спокойствие, этот мир душевный, который не променяю ни на какие блаженства здешнего мира". Такая направленность мыслей неизбежно должна была побудить его смотреть на заговор против него как на искупление за 11 марта.

23 апреля на далекой Святой Елене умер Наполеон. Оборвалась еще одна ниточка, связывавшая Александра с прошлым, с миром.

Между тем участь греков продолжала волновать общественное мнение в России. Александр отовсюду слышал голоса, требующие военного вмешательства; главой партии войны выступал Каподистрия. Ведение войны с Турцией облегчалось тем, что западные державы были тоже возмущены расправой над христианами и были готовы оказать им военную поддержку. "Если бы в то время проповедовать крестовый поход, - говорит современник, - то повторились бы времена Петра Пустынника".

Уступая этому напору, Александр, казалось, склонялся к давнему плану раздела Турецкой империи в союзе с Францией. 7 июля он сказал французскому послу ла Ферроне: "Раскройте циркуль от Гибралтара до Дарданелл, выберите то, что подходит вам, и рассчитывайте не только на согласие, но и на искреннюю и существенную поддержку со стороны России. Теперь Франция должна иметь союзницей именно Россию".

Но вскоре его одолели прежние сомнения и колебания, и он заговорил с Каподистрией голосом Меттерниха: "Если мы ответим туркам войной, то парижский главный комитет (революционеров. - С. Ц.) восторжествует и ни одно правительство не останется на ногах. Я не намерен предоставить свободу действий врагам порядка. Во что бы то ни стало надо

найти средство устранить войну с Турцией".

Меттерних, озабоченный тем, чтобы Россия не утвердилась на Балканах, пугал царя: "Бреешь, пробитая в системе европейского монархического союза войной с турками, явилась бы брешью, через которую ускоренным шагом вторглась бы революция. Судьба цивилизации находится ныне в мыслях и руках вашего императорского величества". Эти слова не могли остаться без действия; к судьбам цивилизации Александр, как мы знаем, никогда не был равнодушен.

В августе состоялся решительный переход царя на позиции невмешательства. Александр был озабочен только подавлением "сил зла" в Европе, к которым относил и греческое движение. Поэтому Священный союз выступил на защиту мусульманского полумесяца. Каподистрия подал в отставку и выехал из России. Турецкие дела, которые со времен Екатерины всецело находились в ведении России, перешли на обсуждение Европы. Меттерних отлично сознавал это. "Русский кабинет, - писал он, - одним ударом ниспроверг великое творение Петра Великого и всех его преемников".

Греческий вопрос привел к удалению еще одной старой знакомой Александра - г-жи Крюднер. К этому времени Александр, вспоминая ту минуту, когда он мысленно желал, чтобы Господь послал ему человека, который помог бы ему правильно понять Его волю, уже отзывался о пророчице так: "Некоторое время я думал, что Бог именно ее и хотел назначить для этой цели, но я очень скоро увидел, что этот свет был не что иное, как блуждающий огонь". Причиной такого поворота в их отношениях, судя по сохранившимся скудным высказываниям Александра, было то, что он остался недоволен мистико-религиозными "умствованиями" Крюднер, между тем как сам он искал веры "искренней и простой", религии не для ума, а для сердца.

Возвратившись в 1821 году из лифляндского поместья в Петербург, г-жа Крюднер стала устраивать мистико-политические собрания в доме княгини Анны Сергеевны Голицыной. Пока беседы там не выходили из рамок "чистого христианства", Александр смотрел на них сквозь пальцы. Но когда г-жа Крюднер начала проповедовать эсхатологическое значение перехода Константинополя в руки христианского монарха, русского императора, и изрекать пророчества, грозящие Европе бедствиями и даже гибелью из-за промедления с объявлением войны туркам, царь признал необходимым положить предел ее красноречию. Он написал ей письмо на восьми страницах, где указывал на трудности, связанные с удовлетворением вольнолюбивых стремлений греков, на свое желание испытать в этом деле волю Божию, которую еще ясно не видит, на свои опасения вступить на ложный путь; затем он тоном друга, но такого друга, который может при случае заговорить и другим языком, давал понять неуместность ее проповеди в пользу греков, поскольку этим она возбуждает волнение возле трона и тем самым нарушает свои обязанности подданной и христианки.

Г-жа Крюднер отвечала, что ее мнение не поколеблено и что освобождение Греции начертано на небесах, после чего с возмущением покинула Петербург, как прежде Париж. Вернувшись в свое лифляндское имение, она предалась усиленным подвигам благочестия и аскетизма, истязая себя голодом и холодом. Эти труды во славу Божию основательно подорвали ее здоровье. В 1824 году она уехала лечиться в Крым, где и умерла в том же году, в декабре.

В 1821 году Александр задумал оправдать военные поселения в глазах общества. В связи с этим Аракчеев принял в грузинских военных поселениях двух, как он выразился, знатных посетителей. Это были Сперанский и граф Кочубей. Бывшие либералы с похвалой отозвались об этих заведениях. Сперанский писал Аракчееву: "Воротясь из Грузина, первое движение мое было принести вашему сиятельству благодарность за все, что мы видели и что в течение трех дней приятного нашего путешествия, и в Грузинской обители от почтенного ее настоятеля, и в чудесных (курсив мой. - С. Ц.) военных поселениях от главного их начальника и учредителя испытали".

Кочубей в свою очередь не отстал от Сперанского в своих восхвалениях

военно-поселенческой деятельности Аракчеева.

Вскоре и Карамзин был привлечен к осмотру военных поселений, так как много раз говорил царю о скорбной участи крестьян, которые стали военными поселенцами. Александр выразил желание, чтобы Карамзин лично побывал у Аракчеева и высказал свое мнение об этой поездке. Аракчеев сам возил историографа и показывал ему быт военных поселенцев. Но трехдневное обхаживание временщика, к чести Карамзина, не изменило его мнения о казарменном рае. Незадолго перед тем, просматривая книгу Сперанского о военных поселениях, Николай Михайлович высказал сожаление, что этот видный государственный человек стал "секретарем Аракчеева". Сам он не написал ни строчки о своей поездке, отговорившись тем, что "уже стар и ленив на описания".

Изменениями политических взглядов Александра немедленно воспользовалась та часть православного духовенства, которая в религиозной сфере с недоверием и осуждением взирала на католические и мистические увлечения аристократии, а в политической отождествляла либерализм с безбожием. Главой этой "воинствующей Церкви" со временем сделался архимандрит Фотий.

Фотий, в миру Петр Никитич Спасский, был сыном дьячка Спасского погоста Новгородского уезда. Он родился в 1792 году. Безотрадное детство запомнилось ему одними бесконечными побоями - сначала от отца, потом от семинарского начальства. В 1817 году архимандрит Филарет (будущий московский митрополит) постриг его в монахи; в том же году Фотий сделался уже иеромонахом и поступил во 2-й кадетский корпус законоучителем. Блезненный и слабый по природе, Фотий тем не менее чувствовал особое пристрастие к самоистязанию и, помимо власяницы, носил на себе еще и вериги на нагом теле и ходил в легкой одежде круглый год. Увлечение аскетическим образом жизни вызвало у него "видения". Фотия стали посещать бесы, с которыми ему приходилось жестоко сражаться. В своей автобиографии, написанной от третьего лица, он подробно описывает эти духовные битвы. Однажды Фотий пожелал видеть беса в его настоящем виде. Бес явился, и Фотий "тогда пришел в ужас велий". Однако он вступил с нечистым в борьбу, в которой едва не погиб, но был спасен, по его словам, Божьей силой.

Но сатана не отступался. Несколько месяцев он посылал к Фотию "духа злого", который искушал подвижника "явить всем силу Божию, а посему некое бы чудо сотворил или хотя перешел по воде яко по суху против самого дворца через реку Неву". Фотий благоразумно уклонился от такого опыта.

Продолжая искушать себя постом и всяким воздержанием, Фотий помышлял лишь о том, "како спасти себя и послушающих всех". Наконец он познал себя и стал готовиться к борьбе словом и делом против безбожия и потока нечестия. Он щедро расточал анафемы нечестивцам и вольнодумцам, не забывая и богомерзкие их скопища, "противные Богу, царю и отечеству, вредные роду человеческому и всякой власти законной". С особой силой он набросился на духовные собрания г-жи Крюднер. "Женка сия, - с негодованием писал он, - в разгоряченности ума и сердца, от беса вдыхая, не говоря никому ничего противного похотям плоти, обычаям мира и делам вражиим, так нравиться умела во всем, что начиная от первых столбовых боляр жены, мужи, девицы спешили, как оракула некоего дивного, послушать". К началу 1820-х годов Фотий превратился в фанатика, вроде Аввакума, наделенного грубым красноречием, готового претерпеть все за свои идеи, пока не истребит всех своих противников.

В 1820 году проповедь против развращенного духа времени сблизила его с графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской. Эта "дщерь-девица", как ее называл Фотий, была, по его словам, "раба Господня смиренная и сосуд благодати Христовой". Он сумел завоевать полное ее доверие, и вскоре богатства его покровительницы и ее обширные связи при дворе оказались в полном его распоряжении. Чтобы отвратить графиню от брака, который мог повернуть дела благочестия в другую сторону, Фотий написал для нее специальное наставление о хранении целомудрия. Митрополит Санкт-Петербургский Серафим увидел в Фотии орудие Промысла и также стал покорным исполнителем его воли. В 1822 году Фотий

был назначен архимандритом Сковородского монастыря. Мало-помалу в числе покровителей Фотия оказался и князь А. Н. Голицын, который и выхлопотал для него аудиенцию у государя.

Встреча Фотия с Александром состоялась 5 июня 1822 года в Зимнем дворце и продолжалась полтора часа. Автобиография Фотия повествует о ней так. Фотий подъехал ко дворцу "на конях дщери-девицы Анны". Затем, "изшед из колесницы, шел по лестницам общим, знаменая как себя, так во все стороны дворец, проходы, помышляя, что тьмы здесь живут и действуют сил вражиих, то ежели оные, видя крестное знамение, отбегут от дворца на сей час прихода, Господь пред лицом царя даст ему благодать и преклонит сердце его послушати, что на сердце его есть царю возвестить".

И вот "отверзаются двери, я оными вхожу в комнату, где был царь, вижу, что тотчас царь грядет приять благословение, я же, не обращая на него внимания, смотрю, где святой образ в комнате на стене есть, дабы сотворить молитву, перекрестився, поклониться прежде царя земного образу Царя Небесного... Царь, видя меня, хотевшего прежде честь Богу сотворить, отступил в сторону на то малое время и после паки со страхом и благоговением подходит ко мне, приемлет благословение, целует усердно десницу мою".

Александр задал Фотию несколько вопросов о его жизни, "я же, продолжает архимандрит, - простирая слово в сладость, говорил о святой Церкви, вере и спасении души; зря в лице царю прямо, часто я себя знаменал, глаголя слово, царь же, смотря на меня, себя крестил, возводя очи свои на небо, ум и сердце вознося к Богу... Вижу, что царь всем сердцем прилепился к услышанию слова из уст моих, я в помыслах моих движение чувствовал сказать царю слово в пользу Церкви и веры".

Фотий долго распространялся о потоке нечестия и соблазнах. В заключение он сказал: "Противу тайных врагов тайно и нечаянно действуя, вдруг надобно открыто [их] запретить..."

"Когда я, глаголя слово о сем, крестился, - рассказывает Фотий, - царь также сам крестился и приказывал себя паки и паки перекрестить и оградить силою святого креста; многократно он целовал руку, благословляющую его, благодаря за беседу". Наконец Александр даже поклонился ему в ноги, предварительно встав на колени. Читая рассказ Фотия, можно подумать, что возвратились благословенные времена царя Алексея Михайловича.

После беседы Александр пожаловал Фотию алмазный крест, а императрица Мария Федоровна прислала ему золотые часы; помимо того, он был назначен настоятелем новгородского Юрьева монастыря.

С этого времени значение и влияние Фотия быстро возрастало.

Следствием аудиенции стал высочайший указ от 1 августа о запрещении в Российской империи всех тайных обществ. У всех чиновников была взята подписка о том, что они не принадлежат к этим собраниям; в противном случае увольнение было неизбежным. Придя в этот день на литургию в церковь, где служил Фотий, царь лично оповестил его об этом указе. Фотий "радовался вельми... о том, что сии все вредные заведения... опасные для Церкви и государства, после запрещения вскоре ослабеют в своих действиях и замыслах, и пусть их с шумом погибнет, яко нечестивых".

Однако фактически прекратили существование только масонские ложи. Политические тайные общества продолжали свою деятельность, как мы видели, с ведома Александра. По словам остроуслова Вигеля, с закрытием масонских лож, которые в России имели целью только благотворительность и приятное препровождение времени, в Петербурге и Москве исчезли единственные места, где собирались не для игры в карты.

Конгресс, предусмотренный монархами во время их встречи в Лайбахе, открылся в Вероне 8 октября 1822 года. Он должен был снова заняться рассмотрением итальянских дел. Но с самого же начала итальянские дела отодвинулись на задний план. Все внимание членов конгресса было поглощено происшедшей в Испании революцией. Больше всех горячился Александр. Его доверие к Меттерниху возросло до такой степени, что даже Нессельроде и

Волконский не могли быть уверены, что их не подозревают в карбонаризме. Царь заявил, что восстановление законного правительства в Мадриде необходимо в интересах всей Европы, что, пока он не уладит этого дела, он не уедет из Европы, хотя бы ему пришлось здесь состариться и поседеть. "Я готов идти туда и затушить революцию, - говорил он. - Но как и где пройти в эту Испанию? Пропустит ли меня Франция, а между тем не опасно ли допустить ее одну вести войну столь важную?"

В разговоре с французским послом и писателем Шатобрианом Александр витал в облаках:

- Теперь уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской; существует только одна политика - общая, которая для спасения всех должна быть принята сообща народами и государствами. Я первый должен показать верность началам, на которых я основал союз. Один случай представился к тому: восстание Греции. Ничто, без сомнения, не казалось более отвечающим моим интересам, интересам моих народов, общественному мнению моей страны, как религиозная война с Турцией, но в волнениях Пелопоннеса я усмотрел признаки революции. И тогда я воздержался... Провидение предоставило в мое распоряжение восемьсот тысяч солдат не для удовлетворения моего честолюбия, а для того, чтобы я покровительствовал религии, нравственности и правосудию.

С Меттернихом царь обменялся клятвой, что никогда не изменит делу Священного союза и взаимному доверию.

Полному согласию относительно интервенции в Испанию мешала позиция Англии, наотрез отказавшейся выступить против конституционного режима в Испании только на том основании, что он конституционный. Из всех участников Священного союза Англия была единственной страной, преследовавшей чисто национальные интересы. Видя, что Александр окончательно устранился от греческих дел, Англия немедленно заняла место России на Востоке. Премьер-министр лорд Каннинг заявил, что Англия не может оставаться равнодушной к участи христианского народа, который в продолжение веков стонал под игом турецкого рабства. При помощи Англии Греция продолжила борьбу и все-таки добилась свободы.

В конце концов было решено воздержаться от вмешательства в испанские дела и ограничиться предупредительными нотами, требующими от испанского правительства немедленного возвращения Фердинанду его суверенных прав. После этого конгресс был распущен.

С обратной дороги в Петербург Александр писал Меттерниху: "Никогда еще единение трех монархов... не было более тесным. Оно окрепло еще более во время последнего свидания. Таким образом, средства, которыми располагает союз, громадны. Все дело в том, чтобы их держать наготове и употребить вовремя и кстати... Возвратившись домой, я намерен усиленно заняться, чтобы быть готовым в нужный момент оказать поддержку союзу". Нельзя не заметить, что Александр сделал громадные успехи в трудной науке легитимизма, преподанной ему в 1814 году Талейраном.

Основным "средством" против революции, находившимся в руках Александра, была армия, поэтому в следующем году царь поехал в Грузию осматривать военные поселения. Следствием этой поездки была отставка Волконского, которому Аракчеев не простил "проклятого змея". Непосредственным поводом к отставке явилось упущение Волконского по службе. Александр приказал сократить расходы по военному ведомству. Волконский, как начальник штаба, представил проект, предусматривавший экономию 800 тысяч рублей; но Аракчеев, увидевший в этом деле удобный случай свалить соперника, разработал план 18-миллионной экономии. Ознакомившись с обоими докладами, Александр сказал, что Волконский окружен либо дураками, либо плутами. Волконский попросил отставку, которая и была принята. Начальником штаба был назначен генерал-адъютант барон Дибич, которого царь при первой же встрече предупредил насчет отношений с Аракчеевым:

- Ты найдешь в нем человека необразованного, но единственного по усердию и

трудолюбию. Старайся с ним ладить и дружно жить.

В 1823 году окончательно решился вопрос о престолонаследии, но довольно странным образом, что спустя два года явилось поводом для известных событий на Сенатской площади.

Еще в январе 1822 года Константин Павлович формально отказался от права на престол, известив об этом письменно Александра: "Не чувствуя в себе ни тех даров, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить вашего императорского величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства".

Александр ответил брату в феврале: "По вашему желанию представил я письмо сие любезнейшей родительнице нашей. Она его читала с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным побуждениям, вас руководствовавшим. Нам обоим остается, уважив причины, вами изъясненные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему..."

Но только через год он решил придать этому семейному решению силу закона.

Летом 1823 года московский митрополит Филарет был уведомлен князем А. Н. Голицыным, что государь имеет к нему секретное поручение: написать проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича; этот акт должен был держаться в строгой тайне и храниться в кремлевском Успенском соборе с прочими государственными актами. Филарет пришел в недоумение: зачем хранить этот манифест в Москве, когда восшествие на престол, скорее всего, состоится в Петербурге? Он предложил, чтобы список с этого документа хранился также в Петербурге - в Государственном Совете и Сенате. Александр согласился с этим.

25 августа царь приехал в Москву и вручил Филарету манифест, подписанный им 16-го числа, в запечатанном конверте, с собственноручной надписью: "Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия". Аракчеев затем особо известил митрополита, что государю не угодна ни малейшая огласка в этом деле. С величайшими предосторожностями манифест поместили в ковчег, где хранились прочие важные государственные бумаги.

Впоследствии оказалось, что никто, даже московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын, не знал о существовании этого акта. В Петербурге, куда послали копии акта с той же надписью Александра, о нем знали всего два лица: князь А. Н. Голицын и Аракчеев. Наиболее удивительным обстоятельством было то, что сам наследник, великий князь Николай Павлович, знал о завещании Александра в его пользу лишь со слов матери, однажды вскользь упомянувшей о чем-то подобном.

III

О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства...

В. Шекспир. Гамлет (пер. М. Лозинского)

В последние годы жизни Александра чрезвычайно заботило, чтобы революционные волнения на Западе не перекинулись на Россию. Поэтому политика народного просвещения приобрела в его глазах величайшее значение, наряду с полицией умов - цензурой. Чтобы устранить опасность революционного движения в России, царь принял ряд мер, призванных дать должное направление школе и литературе. Не в первый и не в последний раз на Руси пытались создать официальную науку, официальную добродетель и официальное благочестие.

В эти годы главным лицом в министерстве народного просвещения стал Михаил Леонтьевич Магницкий. В свое время он не без успеха кончил курс в Московском университете, затем служил в гвардейском Преображенском полку, а перед Отечественной

войной сделался довольно бойким сотрудником Сперанского. В 1812 году он разделил судьбу своего начальника, однако быстро раскаялся в своих грехах, занял должность симбирского губернатора и показал на этой должности большую ревность в преследовании либеральных идей. Впрочем, эта ревность при отсутствии большого ума привела к увольнению Магницкого от должности губернатора. Тогда он поступил на службу в министерство просвещения. Дух времени произвел в нем последнюю метаморфозу вольнодумца: Магницкий превратился в елейного ханжу и вскоре стал пользоваться полным доверием со стороны князя А. Н. Голицына. Магницкого видели ежеминутно возводящим очи горе и твердящим кстати и некстати о милосердии Божиим, посте и искуплении грехов; принципы Священного союза не сходили с его языка. Чтобы убедить Голицына в том, что он полностью сменил прежние взгляды, Магницкий усердно посещал по воскресеньям и праздникам домовую церковь князя, где земными поклонами старался заявить о вдруг нахлынувшей на него набожности. Он внушал Голицыну, что его не оставляет мысль "основать народное просвещение на благочестии, согласно с актом Священного союза".

В 1819 году он был назначен попечителем Казанского учебного округа. Магницкий налетел на Казанский университет, как коршун на добычу. Все внимание он сосредоточил не на том, чему учили и как учились, а на том, как профессора и студенты мыслили и чувствовали. Главный порок, замеченный Магницким в преподавании, был "дух вольнодумства и лжемудрия". Он подлежал немедленному и полному искоренению. Пробыв шесть дней в Казани, Магницкий по возвращении в Петербург доложил, что университет по всей справедливости и строгости законов подлежит уничтожению, причем в виде его публичного разрушения. Александр наложил на докладе примиряющую резолюцию: "Зачем разрушать, можно исправить".

Магницкий, нимало не медля, принялся за исправление. Просматривая списки почетных членов Казанского университета, он с ужасом встретил имя аббата Грегуара, который был членом Конвента и подал голос за казнь Людовика XVI. Магницкий выставил этот факт как главное доказательство овладевшего университетом якобинства. Он издал инструкцию, призванную направить юношество на правильную дорогу.

Инструкция подробно определяла направление преподавания каждого предмета, а также быт студентов. Философия, например, должна была руководствоваться посланиями апостола Павла; политические науки - черпать свои доводы из книг Моисея, Давида и Соломона и, в случае крайней нужды, из сочинений Платона и Аристотеля; преподаватель всеобщей истории, говоря о первобытном обществе, должен был показать, как из одной пары произошло все человечество, и т. д. Определен был точный порядок жизни студентов, большинство которых жило при университете. Студенческое общежитие превратилось в подобие монашеского ордена, в котором господствовали столь строгие нравы, что по сравнению с ними тогдашние институты благородных девиц могли показаться школой распущенности. Студенты распределялись не по курсам, а по уровню личной нравственности; каждый разряд жил отдельно от другого, дабы избежать опасности заражения пороками. Провинившийся студент должен был пройти курс нравственного исправления, причем проказника называли не виновным, а грешным. Одетого в крестьянский армяк и обутого в лапти, его сажали в "комнату уединения" (попросту карцер), над входом в которую красовалась надпись из Священного Писания; в самой комнате на одной стене висело распятие, на другой - картина Страшного суда, на которой грешнику предлагалось самому отметить свое будущее место в пекле. Пребывание в "комнате уединения" продолжалось до полного нравственного исправления; все это время товарищи грешника обязаны были молиться за него. Само собой, взаимные доносы студентов и преподавателей вменялись в обязанность каждому честному христианину.

У Магницкого нашлись ревностные помощники. Так, ректор университета Никольский, преподававший математику, на своих лекциях доказывал студентам полное согласие законов "чистой математики" с истинами христианской религии. По его словам, "математику обвиняют в том, что она, требуя на все точных доказательств, располагает дух человеческий

к пытливости, отчего преданные ей люди ищут во всем - и даже тогда, когда дело идет о вере, очевидных убеждений и, не находя их, делаются материалистами". В доказательство полной правоверности математики Никольский приводил следующие примеры: как без единицы не может быть числа, так и мир не может быть без единого творца; прямоугольный треугольник является символом Троицы, а гипотенуза в этой фигуре есть не что иное, как символ соединения земного с божественным.

Не все преподаватели, однако, согласились профанировать свою науку. По требованию Магницкого из университета были уволены 11 профессоров.

Охранительное неистовство Магницкого в духе просвещенческой деятельности известных градоправителей Салтыкова-Щедрина нашло подражателей и в других университетах, сделавшись, таким образом, целым направлением в истории русского просвещения. Попечитель Петербургского учебного округа Дмитрий Павлович Рунич применил инструкцию Магницкого к Петербургскому университету и выгнал из него четырех профессоров. Из Харьковского университета выгнали двух преподавателей, из Дерптского - трех, из Виленского - четырех. Это сумасшествие прекратилось только в 1826 году, когда Магницкого уволили от должности и сослали в Ревель.

В подобные же условия пытались поставить русскую мысль и русское печатное слово. Цензурный устав 1804 года вполне соответствовал тогдашней политике Александра и был чрезвычайно благожелателен к российской словесности. Наиболее важный его пункт гласил: "Когда место (в сочинении. С. Ц.) подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, то лучше истолковать его выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать". Но, как заметил Рунич, "тогда было время, а теперь - другое". Устав 1804 года был признан неудовлетворительным и неспособным сдерживать разгул мысли. Теперь цензорам поручалось не только строжайшим образом следить за новыми изданиями, но даже пересмотреть все ранее выпущенные книги.

Князь А. Н. Голицын подвергал сомнению не только книги духовного содержания, но и невиннейшую светскую литературу. Так, по поводу одного романа он высказал мысль, что большинство романов "совершенно ничтожны и для чтения вредны, равно как и сказки волшебные и простонародные, не приносящие не только ни малейшей пользы, ни чести для жителей государства, но и служащие более к развращению вкуса и ума".

Шишков, сменивший в 1824 году Голицына в должности министра народного просвещения, пошел еще дальше. Будучи убежден, что уровень нравственности в обществе и литературе стремительно падает, он счел необходимым исправлять и слог, и мысли авторов. По поводу одной статьи в "Академических ведомостях" о статистике убийств и самоубийств в России он с возмущением писал: "Какая надобность знать о числе сих преступлений?... Хорошо извещать о благих делах, а такие, как смертоубийства и самоубийства, должны погружаться в вечное забвение".

Подобный уровень образованности и вкуса самих цензоров привел к тому, что новая политика в области литературы вылилась в ряд смешных или печальных анекдотов. Дошло до того, что в 1823 году приостановили печатание переводного сочинения "Нечто о конституциях", переводчиком которого был... Магницкий! Книгу, впрочем, нашли вполне благонамеренной, но сочли, что "нет ни нужды, ни пользы, ни приличия рассуждать публично о конституциях в государстве, благоденствующем под правлением самодержавным".

До сих пор Александр никогда не чувствовал каких-либо серьезных недугов: сказалось закаливание, полученное им в детстве. Но в январе 1824 года он впервые в жизни слег в постель с приступами лихорадки и жестокой головной болью. Лейб-медик Виллие и его помощник доктор Тарасов пришли к заключению, что Александр заболел горячкой с сильным рожистым воспалением на левой ноге. За эту ногу врачи особенно опасались, так как она уже дважды была травмирована. 14 января появился первый бюллетень о здоровье императора.

В конце января наступило улучшение. В начале февраля Александр уже мог сидеть в

вольтеровском кресле. 8 февраля в Петербург по случаю бракосочетания великого князя Михаила Павловича прибыл из Варшавы Константин Павлович и сразу поспешил в Зимний дворец, уже не надеясь застать брата в живых. В это время у царя находился Тарасов. "Как только камердинер Анисимов отворил двери, - вспоминает он, - цесаревич в полной форме своей, вбежав поспешно, упал на колени у дивана и, залившись слезами, целовал государя в губы, глаза и грудь и наконец, склонясь к ногам императора, лежавшим на диване, стал целовать большую ногу его величества". Тарасов, еле сдерживая умильные слезы, поспешил оставить братьев наедине.

Хотя весной царь уже начал ездить верхом, больная нога еще долго нуждалась в перевязке и тщательном уходе.

Болезнь окончательно отвратила мысли Александра от мира. Как-то после выздоровления генерал-адъютант Васильчиков сказал ему, что весь Петербург принимал участие в его болезни.

- То есть те, которые любят меня? - возразил царь.

- Нет, все.

Александр недоверчиво улыбнулся:

- По крайней мере, мне приятно верить этому, но, в сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящей меня.

Весной государь, по обыкновению, переехал в Царское Село. В царствование Александра эта загородная дача Екатерины значительно расширилась. Здесь появились фабрики, лицей, театр, триумфальная арка, посвященная государем "старым товарищам по оружию", и множество фруктовых и цветочных оранжерей; в зоопарке жили ламы и кенгуру. Имелась ферма по образцу голландских хозяйств, где выращивались лучшие образцы тиролевских коров, а также украинских и холмогорских буренок; были здесь швейцарский бык, по прозвищу Вильгельм Телль, злой, со спутанными ногами, и стадо мериносов. Александру нравилось воображать себя фермером. Он лично вел счетную книгу в великолепном переплете, куда скрупулезно вписывал приплод, и чрезвычайно гордился своей одеждой из шерсти собственных овец.

Его рабочий кабинет был весьма темным из-за густых кустов сирени под окнами. Устав от блеска и шума, царь искал здесь тени и тишины. Простая мебель, письменный стол с пучками перьев и вечно горевшей свечой составляли всю обстановку этого убежища, почти кельи. В царской спальне стояла жесткая походная кровать с сафьяновым мешком, набитым сеном, вместо подушки. Одевался Александр тоже просто - в военный сюртук и фуражку.

Обедал государь всегда один; его пищу в течение дня составляли почти исключительно фрукты из оранжерей; особенно налегал он на землянику. Елизавета Алексеевна жила отдельно, со своей фрейлиной Валуевой. Прогулки императора и императрицы были рассчитаны так, чтобы они не могли встретиться.

Императорский двор был почти безлюден. Министры приезжали из Петербурга раз в неделю и, быстро покончив с докладами, разъезжались. В десять часов вечера царь ложился спать. Военный оркестр под его окнами еще в течение часа играл меланхолические мелодии, потом жизнь в Царском Селе замирала до утра.

Из всех государственных дел одни военные поселения по-прежнему вызывали живой интерес Александра. Он вел оживленную переписку с Аракчеевым, в которой выражал надежду, что Всевышний "позволит и поможет привести сие дело к желаемому концу". Аракчеев отвечал утвердительно и опасался только "санкт-петербургского праздноголагания", то есть критики военных поселений. Сообщал он также и о том, что Бог наставил его на новую мысль: не одевать крестьян в военную форму (которую они будто бы так любили) и не брить им бороды. Народное долготерпение все-таки брало верх и над этим неутомимым от недумания человеком.

Тем временем в Петербурге реакция, разгромив все вокруг, принялась пожирать самое себя. Голицынское министерство затмения казалось Фотию слишком просветительным и вольнодумным - из-за большого количества выпускаемой Библейским обществом,

состоявшим под попечительством князя, переводной духовной литературы неправославного содержания. Фотий вновь решил отстаивать чистоту веры. Кроме того, духовенство было недовольно тем, что духовные дела находились в ведении светского департамента.

Начало 1824 года ознаменовалось для Фотия новым "видением" и "откровением". На этот раз он видел себя в царских палатах, стоящим перед царем, который просил, чтобы он благословил его и исцелил от болезни. Тогда Фотий, "обняв его за выю, на ухо тихо поведал ему, како, где, от кого и koliko вера Христова и Церковь Православная обидима есть".

Ободренный этим видением, Фотий помчался в Петербург и поселился под гостеприимным кровом "дщери-девицы". Здесь образовался центр заговора против Голицына, к которому не замедлил примкнуть Магницкий. Бумаги и документы, компрометирующие министра просвещения, тайно передавались государю через обер-полицмейстера Гладкова и генерал-адъютанта Уварова.

Вечером 17 апреля Александр назначил аудиенцию митрополиту Серафиму. Их беседа продолжалась до поздней ночи. Спустя три дня к государю был приглашен и Фотий, который был проведен в кабинет тайно, через задний вход. Чтобы придать веса своему "видению", архимандрит больше говорил не об обидах, чинимых Голицыным святой Церкви, а об опасности государственного переворота, к которому может привести направление политики министра просвещения.

Слова Фотия произвели сильное впечатление на Александра, которому казалось, что Сам Господь послал ему спасение от страшной опасности.

- Господи, сколь Ты милосерд ко мне! - воскликнул государь. - Ты мне как прямо с небес послал ангела Своего святого возвестить всякую правду и истину! Я же готов исправить все дела и Твою святую волю творить!

И, обратясь к Фотию, прибавил:

- Отец Фотий! Не возгордись, что я сие сказал тебе, я так о тебе чувствую.

Александр поручил ему составить "план" истребления крамолы, после чего пал на колени и попросил благословения. "Видение" сбылось.

Через несколько дней к митрополиту Серафиму приехал Аракчеев, посланный царем переговорить обстоятельнее о Голицыне в присутствии Фотия. Во время этого совещания митрополит снял свой белый клобук и, в сердцах бросив на стол, поручил Аракчееву передать государю, что скорее откажется от сана, чем помирится с князем Голицыным, с которым не может вместе служить, как с "явным врагом клятвенным Церкви и государства".

29 апреля Фотий представил царю доклад о том, "как пособить, дабы остановить революцию", к которому прилагался "план разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо". Способ этот, конечно, открыл Фотию Сам Бог. В числе "предложенных Всевышним" мероприятий главным было уничтожение министерства духовных дел и Библейского общества; Синоду же надлежало быть по-прежнему и "духовенству надзирать при случаях за просвещением, не бывает ли где чего противного власти и вере". В конце Фотий писал: "Повеление Божие я извещил; исполнить же в тебе состоит, с тобою Дух премудрости и силы, державы и власти. От 1812 года до сего, 1824-го, ровно 12 лет: Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию, да победит Он и духовного Наполеона лицом твоим, коего можешь ты, Господу содействующу, победить в три минуты - чертою пера".

Голицын не подозревал о чинимых против него кознях. Прозрел он весьма неприятным образом. Однажды он приехал в дом графини Орловой в отсутствие хозяйки. Между ним и Фотием завязался горячий разговор, который кончился тем, что Фотий предал министра просвещения анафеме. "Услышав глас сей, - с торжеством повествует Фотий, - князь вознеистовствовал, побежал вон в гневе и ярости, яко лишен ума, аз же вслед ему возгласил: "Ежели ты не покаешься и вси с тобою не обратятся, анафема всем; ты же, яко вождь нечестия, не узришь Бога, не внидешь в Царствие Христово, а снидешь в ад, и вси с тобою погибнут вовеки. Аминь"".

"Дщерь-девица", возвратясь домой и узнав о случившемся, пришла в ужас. Фотий же,

по ее словам, "скача и радуясь, воспевал песнь сию: с нами Бог!"

Весть об анафеме министру просвещения быстро разнеслась по столице. Митрополит Серафим по этому случаю сказал: "Вот ему должная плата. Сие много подвигнет сердце царево к действию во благо".

Ожидания митрополита сбылись. Голицын попросил отставку. При встрече с Александром он сказал:

- Я чувствую, что на это пришла пора.

- И я, любезный князь, - ответил царь, - не раз уже хотел объясниться с вами чистосердечно. В самом деле, вверенное вам министерство как-то не удалось вам. Я думаю уволить вас от звания министра, упразднить сложное министерство, но принять вашу отставку никогда не соглашусь. Вы останетесь при мне, вернейший друг всего моего семейства, и, кроме того, я прошу вас оставить за собой звание члена Государственного Совета и управление почтовым департаментом. Таким образом, дела пойдут по-старому и я не лишусь вашей близости, ваших советов.

Все это было совершенно по-александровски.

Увольнение Голицына состоялось 15 мая; министром народного просвещения был назначен Шишков. Из министерства духовных дел были изъяты дела православного вероисповедания. Президентом Библейского общества стал митрополит Серафим. Доклады по делам Синода по-прежнему поступали к царю через Аракчеева, о котором Фотий восторженно писал: "Он явился, раб Божий, за святую веру и Церковь, яко Георгий Победоносец". Кто в глазах Фотия был змеем, пояснять вряд ли требуется.

1824 год был отмечен еще двумя событиями, которые глубоко потрясли Александра.

Первое из них касалось личной жизни государя.

От связи Александра с М. Н. Нарышкиной родилось трое детей - двое мальчиков и дочь София, которую царь безумно любил. Все дети носили фамилию Нарышкиных, хотя муж, Д. Нарышкин, знал о своей непричастности к их рождению. (Однажды он на вопрос царя о здоровье жены и детей язвительно уточнил: "О каких детях справляется его величество: о моих или о ваших?") Софью Александр со временем узаконил, возведя в достоинство графини Романовой.

М. Н. Нарышкина была неверна Александру. Она изменила ему с князем Гагариным, который за это был выслан за границу, и с царским адъютантом графом Адамом Оярковским. В последнем случае Александр имел возможность убедиться в неверности любовницы собственными глазами: приехав однажды внезапно в дом Нарышкиной, он увидел, как Оярковский ищет спасения в платяном шкафу. Александр проявил утонченную мстительность. "Ты похитил у меня самое дорогое, - сказал он Оярковскому. - Тем не менее я буду обращаться с тобой и дальше как с другом. Твой стыд будет моей мезью". Действительно, Оярковский еще много лет после этого состоял при государе и продвигался вверх по служебной лестнице.

Эти измены в совокупности с религиозным обращением Александра привели к разрыву с М. Н. Нарышкиной. Бывшая любовница больше не смела показаться при дворе. А когда выяснилось, что у Софии развивается туберкулез, она уехала с дочерью за границу, на воды.

Разрыв с М. Н. Нарышкиной никак не отразился на любви Александра к Софии. Во время Веронского конгресса он подыскал ей блестящую партию молодого графа Шувалова. Молодые люди были помолвлены, а в 1824 году должна была состояться свадьба.

Здоровье Софии требовало дальнейшего пребывания в Швейцарии, но мать, спеша с заключением брака, повезла ее в Петербург. Здесь кровохарканье у девушки усилилось, и свадьбу пришлось отложить. Александр проявлял большую озабоченность здоровьем дочери: каждое утро и вечер фельдгегерь привозил ему в Царское Село бюллетень о ходе ее болезни.

В июне Александр выехал в Красное Село на гвардейские маневры. Однажды утром вместе с Виллие и Тарасовым в кабинет царя вошел Волконский. Пока врачи перевязывали царю ногу, князь печально молчал.

- Какие новости? - тревожно спросил Александр.

Волконский продолжал безмолвствовать. Вместо него царю ответил Виллие:

- Все кончено, ее более не существует.

Софья Нарышкина умерла накануне, в семнадцатилетнем возрасте. В день ее смерти из Парижа прибыло ее свадебное платье.

Александр молча возвел глаза к небесам и залился слезами. Все вышли, оставив его одного. Думали, что учения будут отложены, но спустя четверть часа Александр вышел из кабинета и сел на лошадь. На его лице не было и следа переживаний, он был ласков и приветлив. После учений царь сел в коляску и помчался в дом М. Н. Нарышкиной проститься с телом дочери.

Долгое время он никому не показывал, что происходит у него в душе. Но несколько позднее на вопрос графини Ожаровской о его здоровье сказал:

- Да, графиня, физически я здоров, но нравственно я все еще страдаю, тем более что никому не могу излить свое горе.

При этих словах он не мог сдержать слез и поспешно отошел.

Летом Александр, как обычно, предпринял путешествие по России. Вскоре после его возвращения Петербург постигло страшное бедствие - знаменитое наводнение 7 ноября 1824 года, превзошедшее по своим разрушительным последствиям наводнение 1777 года.

Всю ночь с 6 на 7 ноября над городом бушевала буря; сильные порывы юго-западного ветра потрясали кровли и окна, в стекла стучали потоки дождя. С рассветом вода в Неве сильно поднялась, но петербуржцы как ни в чем не бывало вышли по своим делам. Около десяти часов утра на набережных даже скопились толпы любопытных, наблюдавших, как вода в реке поднималась пенистыми волнами, которые с ужасным шумом разбивались о гранитные берега. В это время низменные места по берегам Финского залива и при устье Невы были уже затоплены и крестьяне окрестных деревень искали спасения от волн, которыми любовались жители Адмиралтейской стороны. Необозримое пространство вод казалось кипящей пучиной, над которой поднимался туман от сталкивающихся волн, разбиваемых ревушим ветром. Вода беспрестанно прибывала и наконец обрушилась на город. В одно мгновение две трети Петербурга скрылось под водой. Кареты и дрожки поплыли по улицам. Люди кинулись спасать свое имущество или искать спасения самим на высоких мостах и крышах домов. В первом часу пополудни город был залит водой почти в рост человека. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая вместе с Невой представляла огромное озеро, широкими потоками разливавшееся по улицам, по которым неслись бревна, дрова, мебель. Зимний дворец, как скала, стоял посреди бурного моря, выдерживая со всех сторон натиск волн, брызги которых доставали до верхнего этажа. Вскоре над Петербургом повисло мертвое молчание. Около двух часов на Невском проспекте на двенадцативесельном катере появился генерал-губернатор граф Милорадович, посланный Александром для оказания помощи и ободрения жителей. В третьем часу вода начала убывать, обнажая разрушенный город. На Неве были сорваны все деревянные мосты, каменные и чугунные уцелели; берега Невы были завалены судами, будками и разным хламом; под грудами развалин виднелись трупы людей и животных. Погибло более 500 человек, вода снесла 324 дома и повредила 3581 строение. В окрестностях Петербурга погибло еще около 100 человек и пострадало более 300 домов.

Александр был глубоко потрясен внезапным бедствием - он воспринял его как наказание, посланное Всевышним за его грехи. Как только вода спала, он отправился на Галерную. Здесь он вышел из экипажа и несколько минут, глотая слезы, молча разглядывал причиненные водой разрушения. Народ обступил его, слышались голоса:

- За наши грехи Бог карает нас!

- Нет, за мои! - с грустью отозвался Александр.

Тут же он начал отдавать распоряжения об оказании помощи пострадавшим. В разные части столицы были назначены временные губернаторы, каждому из которых на первое время было отпущено из казны по сто тысяч рублей. 11 ноября был учрежден "комитет о

пособии разоренным наводнением Санкт-Петербурга".

Царь лично посетил наиболее пострадавшие части города. Зрелище людских страданий страшно угнетало его. "Я бывал в кровопролитных сражениях, как-то сказал он, - видал места после битвы, покрытые бездушными трупами, слышал стоны раненых, но это - неизбежный жребий войны. А тут увидел людей, вдруг, так сказать, осиротевших, лишившихся в одну минуту всего, что для них было любезнее в жизни, - это ни с чем сравниться не может!"

Во время этих осмотров бывали и забавные случаи. На Петергофской дороге Александр посетил одну деревню, которая была совершенно уничтожена наводнением. Разоренные крестьяне столпились вокруг царя и наперебой горько плакали. Вызвав из толпы старика, Александр велел ему рассказывать. Тот начал перечислять: "Все, батюшка царь, все погибло: вот у афтово домишко весь унесло - и с рухлядью, и с животом, а у афтово двух коней, четырех коров затопило, у афтово то-то и то-то" и т. д. "Хорошо, - сказал Александр, - это все у Афтова, а у других что погибло?" Когда же ему объяснили, что старик употребляет "афтово" вместо "этого", царь рассмеялся, приказал построить на высокой насыпи новую деревню и назвать ее Афтово. Но, разумеется, забавные истории вроде этой или эпизода с сигом, обнаруженным в подвале императорской публичной библиотеки, не могли служить утешением в общем бедствии.

Личное горе, усугубленное петербургской катастрофой, вновь сблизило Александра с женой. Елизавета Алексеевна без малейшего упрека пошла навстречу неверному супругу. В это время от ее былой красоты не осталось и следа. Большие голубые глаза ее казались усталыми от множества пролитых слез; петербургский климат придал красноватый оттенок ее лицу, но нос остался белым, и это сочетание, конечно, отнюдь не красило ее. Единственным ее утешением уже давно стала религия, которая помогала ей безропотно переносить все страдания. Одна фрейлина называла императрицу "Спокойствие".

Сближению супругов помогла болезнь Елизаветы Алексеевны. Александр ухаживал за больной женой, подолгу не выходя из ее комнаты в Царском Селе. "Здесь все печально или уныло, - писал Карамзин Дмитриеву. - Мы здесь уже около недели и в беспокойстве о здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны, которая от простуды имела сильный кашель и жар. Я видел государя в великом беспокойстве и в скорби трогательной: он любит ее нежно".

В 1825 году все в России бредили тайными политическими обществами. Н. И. Тургенев свидетельствует: "Публика... принимала видимость за действительность: это свойство толпы во всех странах. Сколько раз до этого периода и в продолжение его можно было видеть людей, обращавшихся к лицам, которых считали вождями тайных обществ, с настойчивой просьбой принять их туда! В армии офицеры низшего ранга обращались с тем же к своему начальству; старые генералы искали покровительства своих молодых подчиненных, чтобы удостоиться той же чести. Напрасно говорили тем и другим, что не существует никакого тайного общества, - умы тревожно ждали политических событий, воображали, что готовится произойти какая-то великая перемена, и никто не хотел оставаться в стороне".

Бедра состояла не столько в существовании тайных обществ, сколько в том, что в каждом доме открыто высказывались ультрареволюционные взгляды. "И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь, - вспоминает А. И. Кошелев, - словом, чуть-чуть не все беспрестанно и без умолку осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды... Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, восемнадцатилетним юношей, у внучатого моего брата М. М. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, князь Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec ce gouvernement* ("покончить с правительством")".

Подобное положение вещей, конечно, должно было рано или поздно вызвать доносы, и они действительно вскоре последовали.

13 июля 1825 года Аракчеев известил царя, что некий унтер-офицер Украинского уланского полка Шервуд желает сообщить государю "нечто, касающееся до армии", а именно о каком-то заговоре, сведения о котором "он не намерен никому более открыть, как лично вашему величеству".

Иван Васильевич Шервуд, англичанин по происхождению, родился в Кенте, близ Лондона, в 1798 году. В 1800 году его отец по повелению императора Павла был вызван в Россию в качестве механика на Александровскую мануфактуру; благодаря этому обстоятельству он стал известен и Александру. Молодой Шервуд получил в России отличное образование; кроме того, он обладал от природы наблюдательностью, вдумчивым и логическим умом.

В 1819 году он поступил на военную службу в 3-й Украинский уланский полк рядовым из вольноопределяющихся. Полк квартировался в Херсонской губернии, в Миргороде; командиром его был полковник Алексей Гревс. Шервуд был радушно принят в офицерской среде и заслужил благосклонность полковника. Через несколько месяцев его произвели в унтер-офицеры, в каковом звании он и оставался последующие пять лет.

Гревс часто давал Шервуду различные поручения в Крым, в Одесскую, Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии. В этих разъездах Шервуд внимательно прислушивался к разговорам и изучал страну и людей. Постепенно у него сложилось твердое убеждение о существовании политического заговора. Раз придя к такому мнению, Шервуд действовал дальше как истинный англичанин - хладнокровно, обдуманно, систематично. Но понять, что именно кроется за этими разговорами, ему, конечно, в значительной степени помогло почти фантастическое отсутствие всякой конспирации у декабристов.

Вскоре после предыдущего случая Гревс послал Шервуда по полковому делу к действительному статскому советнику графу Якову Булгари, который должен был находиться в Ахтырке. Приехав туда на рассвете, Шервуд отыскал квартиру графа и, усевшись в приемной, спросил у лакея кофе и трубку. Дверь в спальню была открыта. Шервуд обнаружил, что граф не один; на другой кровати спал какой-то незнакомый ему человек. Спустя какое-то время незнакомец проснулся, и Шервуд невольно оказался свидетелем следующего разговора.

- А что, граф, спишь? - было первым вопросом незнакомца.

Булгари отвечал, что нет, так как все думает о вчерашнем разговоре, и затем спросил:

- Ну, что же, по твоему мнению, было бы самое лучшее для России?

- Самое лучшее, конечно, конституция, - не раздумывая, отвечал собеседник.

Булгари расхохотался:

- Конституция для медведей!

- Нет, позвольте, граф, вам сказать: конституция, примененная к нашим потребностям, нашим обычаям.

- Хотел бы я знать конституцию для русского народа! - иронически воскликнул Булгари и вновь захохотал.

- Я много думал об этом, а потому скажу вам, какая конституция была бы хороша, - отозвался незнакомец и принялся без запинки излагать статьи.

"Я в это время перестал курить, - пишет Шервуд, - и, смотря ему в глаза, подумал: "Ты говоришь по писаному; изложить конституцию на словах дело несбыточное, какого бы объема ум человеческий ни был"".

- Да ты с ума сошел, - прервал незнакомца Булгари, - ты, верно, забыл, как у нас династия велика, - ну куда их девать?

У его собеседника заблестели глаза, он сел на кровати, засучил рукава и сказал:

- Как куда девать? Перерезать.

Булгари поморщился:

- Ну вот, ты уже заврался, ты забыл, что их и за границей много. Ну да полно об этом, это все вздор, давай лучше о другом чем-нибудь говорить.

Здесь Шервуд велел лакею доложить о себе. Булгари позвал его в комнату и представил

незнакомца:

- Господин Вадковский.

В дальнейшем разговоре Вадковский, выяснив, что Шервуд служит в миргородских военных поселениях, почему-то проникся к нему величайшей симпатией и доверием. Когда Булгари зачем-то вышел из комнаты, Вадковский, немного изменившись в лице, подошел к Шервуду и сказал:

- Господин Шервуд, я с вами друг, будьте мне другом, и я вам вверю важную тайну.

Шервуд отступил на шаг и ответил, что не любит ничего тайного.

Вадковский подошел к окну и ударил рукой по раме.

- Нет, оно быть иначе не может, наше общество без вас быть не должно.

"Я в ту минуту понял, - пишет Шервуд, - что существует общество, и, конечно, вредное..." Он сказал, что сейчас не время и не место для подобных признаний, но он дает честное слово, что придет к Вадковскому в полк. Тут в комнату вернулся Булгари, и их разговор окончился.

Шервуд решил раскрыть заговор. "Я любил блаженной памяти покойного императора Александра I не по одной преданности как к царю, - объясняет он свой поступок, - но как к императору, который сделал много добра отцу моему". Вернувшись в полк, он стал размышлять, как переговорить об этом деле лично с царем. "Я придумал написать его величеству письмо, в котором просил прислать и взять меня под каким бы то ни было предлогом по делу, касающемуся собственно до государя императора... потом вложил письмо в другое, к лейб-медику Якову Васильевичу Виллие, прося его вручить приложенное письмо государю императору".

Шервуд ждал ответа недолго. Его письмо, конечно, оказалось у Аракчеева, который поручил фельдъегерю доставить Шервуда в Грузино. Встреча состоялась 13 июля. Аракчеев встретил Шервуда, стоя на крыльце своего дома. Осмотрев его с головы до ног и, видимо, не найдя в молодом унтер-офицере ничего подозрительного, Аракчеев взял Шервуда под руку и повел в сад. Здесь он сделал ему выговор, что писать следует по начальству.

- Но если я не хочу, чтобы мои командиры знали об этом? - возразил Шервуд.

Аракчеев предложил рассказать все дело ему, но Шервуд настаивал на аудиенции у государя, так как дело касается непосредственно его особы.

- Ну, в таком случае я тебя и спрашивать не буду, поезжай себе с Богом, - произнес Аракчеев.

Эти слова так тронули Шервуда, что он ответил:

- Ваше сиятельство! Почему мне вам и не сказать?.. Дело - в заговоре против императора.

17 июля в пять часов пополудни Шервуд был принят Александром в Каменноостровском дворце. Позвав Шервуда в кабинет, царь запер за ним двери. "Первое, что государь меня спросил, - вспоминает это свидание Иван Васильевич, - того ли Шервуда я сын, которого он знает и который был на Александровской фабрике. Я ответил: того самого".

- Ты мне писал, - продолжал Александр. - Что ты хочешь мне сказать?

Шервуд подробно поведал о своих наблюдениях и умозаключениях. Царь, подумав, произнес:

- Да, твои предположения могут быть справедливы... Чего же эти... хотят? Разве им так худо?

Шервуд отвечал, что от жиру, собаки, бесятся.

- Как ты полагаешь, велик ли заговор? - продолжал расспрашивать Александр.

- Ваше величество, по духу и разговорам офицеров вообще, а в особенности второй армии, полагаю, что заговор должен быть распространен довольно сильно.

На вопрос царя, как он предполагает раскрыть заговор, Шервуд ответил, что просит позволения вступить в тайное общество, с тем чтобы затем выдать его участников и их намерения. К этому он добавил, что государственные мужи, по его мнению, делают грубые ошибки.

- Какие? - живо спросил Александр.

- В военных поселениях людям дают в руки ружья, а есть не дают, сказал Шервуд. - Что им, ваше величество, остается делать?

- Я вас не понимаю... Как есть не дают?

Шервуд объяснил, что крестьяне обязаны кормить, помимо своего семейства, еще и постояльцев, действующих резервистов и кантонистов, и это при том, что они так заняты постройками и перевозкой леса, что не имеют и трех дней за лето на свои полевые работы и что были случаи, когда люди умирали с голоду.

Александр выслушал его с большим вниманием, но не стал развивать эту тему, а спросил, не лучше ли будет для раскрытия заговора, если Шервуда произведут в офицеры. Шервуд отвечал, что после разоблачения заговорщиков император будет волен произвести его во что ему будет угодно. Царь впервые за весь разговор улыбнулся: "Я надеюсь тебя видеть" - и, поручив Шервуду изложить свой план действий письменно, отпустил его. (Начальнику штаба генерал-адъютанту Дибичу, уверявшему, что Шервуд наговорил вздор, Александр сказал: "Ты ошибаешься, Шервуд говорит правду, я лучше вас людей знаю".)

Шервуд некоторое время еще жил в Грузино, ожидая, пока будут готовы бумаги, оправдывающие его поездку в столицу. Однажды за столом у Аракчеева он встретился со знакомым декабристом Батеньковым, который раз шесть осведомился, почему Шервуд здесь, пока наконец ответы последнего не успокоили его подозрительности.

Отпуская Шервуда в полк, Аракчеев сказал ему на прощание:

- Ну, смотри, Шервуд, не ударь лицом в грязь.

Впоследствии выяснилось, что оплошать суждено было самому временщику.

По дороге в полк Шервуд начал завязывать знакомства с офицерами в разных местах и "по их разговорам ясно видел, что заговор должен быть повсеместный". Представившись полковому начальству и показав документ о годовом отпуске, выданный Аракчеевым, он быстро уладил свои дела и отправился в Курск к Вадковскому.

Состояние здоровья Елизаветы Алексеевны продолжало внушать опасения. В конце июля врачи заявили, что императрица должна провести зиму в южном климате. Выбор царя почему-то пал на Таганрог. Александр объявил, что поедет туда с супругой и возвратится в Петербург к Новому году. Князю Волконскому было поручено сопровождать императрицу, архитектору Шарлеману ехать в Таганрог для приготовления помещений.

Незадолго до отъезда Александр поручил князю А. Н. Голицыну привести в порядок бумаги в его кабинете. Голицын при этом заметил, что неудобно и опасно оставлять неопубликованными акты, касающиеся престолонаследия. Царь после минутного молчания указал рукой на небо:

- Положимся в этом на Бога: Он устроит все это лучше нас, слабых смертных.

Причину, по которой Александр считал нужным держать этот важный документ в тайне от всей России и от самого наследника, он унес с собой в могилу. Некоторые историки полагают, что вместе с манифестом о престолонаследии Александр намеревался объявить о своем отречении от престола. В пользу этого предположения говорит странная надпись, сделанная им на запечатанном пакете с текстом манифеста: "Хранить до моего востребования". На тот же мотив указывает и его беседа с принцем Орлеанским, который весной 1825 года посетил Петербург. В разговоре с ним царь поведал о своем решении оставить престол и уйти в частную жизнь. Конечно, все это было повторением юношеских мечтаний, но Гете недаром предупреждал, что следует опасаться грез молодости, потому что они непременно сбудутся в старости.

28 августа Карамзин в последний раз беседовал с государем. При расставании он сказал:

- Государь! Ваши годы сочтены. Вам нечего более откладывать, а вам остается еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала.

Александр кивком головы и улыбкой выразил одобрение этим словам и сказал, что непременно даст России конституцию. "Мы расстались не без чувства, - пишет Николай

Михайлович, - привязанность моя к нему сердечная и вечная".

1 сентября царь навсегда оставил Петербург. Елизавета Алексеевна должна была отправиться вслед за ним. Александр выехал из Каменноостровского дворца ночью, без провожатых. На рассвете его коляска остановилась у ворот Невской лавры. Митрополит Серафим и братия, предупрежденные о приезде государя, ожидали его. Александр, в шинели и фуражке, без шпаги, поспешно вышел из коляски, принял благословение от митрополита, приказал запереть ворота и направился к соборной церкви. Войдя в храм, он остановился перед ракой святого Александра Невского и дал знак начать богослужение. Во время службы он плакал, а когда подошла очередь читать Евангелие, он опустился на колени и попросил, чтобы книгу положили ему на голову. После молебствия царь посетил схимника старца Алексия и был поражен аскетическим убранством его кельи и тем, что старец спал в гробу.

- Жалею, что я давно с тобой не познакомился, - сказал он старцу.

Итак, последнее, что видел Александр, оставляя Петербург, был гроб.

У заставы царь еще раз вышел из коляски и в задумчивости несколько минут смотрел на спящий город. Может быть, он думал, что в последний раз уезжает из него императором, а может, его томило предчувствие смерти - кто знает?

Во время этого путешествия единственный раз на всем пути царя не было ни смотров, ни маневров, ни парадов.

13 сентября он прибыл в Таганрог. Виллие в этот день записал в дневнике: "Здесь кончается первая часть путешествия" и сделал надпись: "Finis" ("Конец").

Дом, избранный для жительства их величеств, был каменный, одноэтажный, с подвалом и помещением для прислуги. На половине императрицы, состоявшей из восьми комнат, две были выделены для двух фрейлин; одну отвели под походную церковь. Большая сквозная зала посередине дома служила столовой и приемной. Александр занял две комнаты: одну под кабинет и спальню, другую, небольшую, с окном во двор, - для уборной. Меблировка комнат была самая простая. При доме находился небольшой сад с плодовыми деревьями.

Первой заботой государя было устройство помещений для жены. Он лично все осмотрел, сам расставил мебель, вбил гвозди для картин, разбил дорожки в саду. После приезда 23 сентября Елизаветы Алексеевны он сам разместил супругу и ее фрейлин в доме. Таганрогский двор, по скромности и простоте, представлял скорее зажиточную усадьбу провинциального помещика.

Александр окружил жену самой нежной заботой, предупреждал малейшие ее желания и стремился доставить ей побольше развлечений. Под влиянием этой любви Елизавета Алексеевна начала оживать. Свита, радуясь этому необычному медовому месяцу, называла императорскую чету "молодыми супругами".

Царь ежедневно ходил по городу пешком, был всем доступен, не соблюдал никакого этикета. Он казался спокойным, но ему не дано было испытать душевный мир в последние дни. Его по-прежнему мучили подозрения. Однажды, взяв за утренняя чаша сухарь, он обнаружил в нем камешек, нахмурился и велел тотчас убедиться, что это не отравка. Виллие нашел, что камешек совершенно безобиден, а хлебопек клялся, что он попал в тесто по неосторожности, а не по злему умыслу. Тем не менее Александр еще долго пребывал в крайнем волнении.

22 сентября Александр получил известие об убийстве в Грузино дворовыми людьми Аракчеева его любовницы Настасьи Минкиной*.

Затем пришло письмо самого Аракчеева, свидетельствовавшее о крайнем душевном расстройстве.

Аракчеев - Александру:

"Батюшка ваше величество!

Случившееся со мною несчастье, потерей верного друга, жившего у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю и ищущу, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай,

батюшка, вспомни бывшего тебе слугу; друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою голову преклоню, но отсюда уеду".

Чувство Аракчеева к Минкиной нельзя назвать любовью - он знал одну собачью привязанность. "И, однако, - пишет современник, - этот человек, для которого чувство не имело никакой цены, предался самым диким выходкам, когда умертвили женщину, которая некогда была его любовницей и затем не переставала удерживать за собой его привязанность. Он вполне отказался от служебных обязанностей, удалился в Грузино, отпустил себе бороду, носил на шее платок, омоченный ее кровью, стал дик и злобен и подвергал ужаснейшим истязаниям множество людей, которые на деле или только помыслами участвовали в убийстве или могли хотя косвенно знать о нем". Итак, при первом ударе судьбы "преданный без лести" бросил дела и предоставил "батюшку", который столько сделал для него, самому себе.

Империя осталась фактически без верховного управления. Александр не на шутку встревожился. По свидетельству Дибича, царь полагал, что Минкину убили для того, чтобы устранить Аракчеева от дел. В этом случае он следовал той же собственной логике, которая ранее заставляла его видеть в семеновской истории отголосок мирового революционного заговора.

Царь постарался, как мог, утешить "верного друга": "Сердце мое чувствует все то, что твое должно ощущать. Но, друг мой, отчаяние есть грех перед Богом. Предайся смело Его святой воле. Вот единая отрада, одно успокоение, которое в подобном несчастье я могу тебе указать. Других не существует, по моему убеждению". Кроме того, он отправил письмо Фотию, прося подкрепить силы Аракчеева, "ибо служение графа Аракчеева драгоценно для отечества".

Временщик в ответ лобызал заочно колени и руки государя, но настоятельное приглашение приехать в Таганрог не принял, ссылаясь на сильное сердцебиение и ежедневную лихорадку.

Самовольное удаление Аракчеева от дел имело важные последствия. Незадолго перед тем Шервуд просил его, чтобы 20 сентября в условленный час на почтовую станцию в городе Карачеве Орловской губернии приехал фельдъегерь, которому он мог бы вручить сведения, собранные им о тайных обществах. Свидание с Вадковским в Курске было успешным. "Он мне рассказал о существующих обществах, Северном, Среднем и Южном, - пишет Шервуд, называя многих членов; на это я улыбнулся и сказал ему, что давно принадлежу к обществу, а как я поступил в оное, скажу ему после". Шервуд убедил Вадковского, что готовит восстание в миргородских военных поселениях, а Вадковский в свою очередь заверил его, что солдат, "этих дураков, не долго готовить, кажется, многие в том подвинулись вперед".

Подготовив отчет об этой беседе, Шервуд приехал в Карачев, прождал там фельдъегеря десять дней и в недоумении уехал. По его мнению, потеря этих десяти дней имела решающее значение: "Никогда бы возмущение гвардии 14 декабря на Исакиевской площади не случилось; затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы. Не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяния императором Александром Первым и которому он был так предан, пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь государя и спокойствие государства, для пьяной, толстой, рябой, необразованной, дурного поведения и злой женщины. Есть над чем задуматься"*.

Между тем Александр в начале октября посетил Землю Войска Донского, а затем отправился в Крым. Накануне отъезда, во втором часу дня, царь занимался в своем кабинете. Вдруг на небо набежала такая темная туча, что комната погрузилась в сумерки. Александр попросил огня, и камердинер Анисимов поставил на его стол две свечи. Когда туча рассеялась и вновь стало светло, Анисимов вошел в кабинет и встал у стола, ожидая приказания потушить свечи.

- Чего ты хочешь? - спросил Александр.

- Нехорошо, государь, что перед вами днем горят свечи, - ответил камердинер.

- А что ж за беда, разве, по-твоему, это значит что-нибудь недоброе?
- По нашему преданию, перед живым человеком среди бела дня свечей не ставят.
- Это пустой предрассудок, без всякого основания, - отозвался царь, видимо, взволнованный, и добавил: - Ну, пожалуй, возьми прочь свечи для твоего успокоения.

Этот случай, как мы увидим, врезался в память Александра.

В Крыму он повеселел и рассказывал всем, что скоро исполнит свою мечту вернуться к частной жизни: "Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил двадцать пять лет, и солдату в этот срок дают отставку". Иногда подшучивал над князем Волконским: "И ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем".

28 октября Александр почувствовал первые признаки недомогания. В этот день он отказался от обеда, чего ранее с ним никогда не случалось. На следующий день он приказал Тарасову приготовить из риса то питье, которое он принимал в 1824 году во время горячки. Однако вечером он приказал закладывать лошадей и двинулся дальше.

Смерть следовала за ним по пятам. В дороге царскую коляску нагнал фельдъегерь Масков с бумагами от Дибича. Прочитав депешу, Александр приказал офицеру ехать за ним на тройке. Дорога была крайне ухабистая. Через какое-то время колесо открытого экипажа, в котором сидел Масков, с такой силой подскочило на кочке, что фельдъегерь вылетел из экипажа и буквально воткнулся головой в землю. Он умер на месте. Когда Александр, уехавший вперед, вечером слушал донесение Тарасова об этом случае, его знобило; царь сидел у очага и ежился, на лице его было тревожное и болезненное выражение.

На ночлеге 4 ноября в Мариуполе Александр позвал Виллие, который нашел его "в полном развитии лихорадочного сильного пароксизма". Лейб-медик приготовил для больного стакан пунша с ромом и пытался уложить его в постель, но Александр желал непременно на следующий день быть в Таганроге, так как Елизавета Алексеевна ожидала его возвращения к этому сроку.

В шесть часов вечера следующего дня Александр был в Таганроге, отмахав без малого 90 верст. На вопрос Волконского о здоровье ответил, что у него маленькая лихорадка. Однако, ложась спать, сказал камердинеру Анисимову:

- Я очень нездоров.
- Надо лечиться, государь.
- Нет, брат, - вздохнул Александр, - свечи, которые приказал я убрать со стола, у меня из головы не выходят: это значит мне умереть, и они-то и будут стоять передо мною!

Наутро Волконский нашел, что взгляд у государя мутен и глухота приметнее обычного. За обедом у Елизаветы Алексеевны Александр принужден был покинуть стол из-за сильной испарины. Его уложили в постель.

8 ноября Виллие в дневнике наконец определил болезнь: "Это лихорадка, очевидно, *febris gastrica biliosa*"* - и добавил, что император всецело полагается на Бога: "Мне нужны только уединение и покой. Я уповаю на волю Всевышнего и на свой организм".

Александра тревожила не столько болезнь, сколько готовящийся заговор. Он все-таки получил донесение от Шервуда и 10 ноября распорядился арестовать заговорщиков, сделав оговорку, что к сведениям Шервуда следует относиться "с должной осторожностью". Этот приказ, отправленный Дибичу, был последним государственным распоряжением Александра.

До 14 ноября царь отказывался от всяких лекарств. Но в этот день, встав поутру, он принялся за бритье. Вдруг рука его задрожала, он порезал подбородок и спустя мгновение рухнул на пол в обмороке; камердинеры не успели поддержать его. Виллие совсем потерялся, а врач Стофреген принялся растирать государю виски одеколоном. Только с приходом Елизаветы Алексеевны Александра перенесли в его кабинет и уложили на диване, встать с которого ему было не суждено.

Врачи пали духом и уже не надеялись на выздоровление. Тарасов, войдя в кабинет императора, нашел положение больного безнадежным: "При самом моем входе взглянув на государя, я был поражен его положением, и какое-то бессознательное предчувствие

произвело решительный приговор в душе моей что император не выздоровеет и мы должны его лишиться... Рейнгольд (другой лейб-медик. - С. Ц.) разделил со мною такое предсказание".

Около полуночи к Александру пришла Елизавета Алексеевна. Хотя она старалась сохранять спокойствие, было видно, что она смущена. Сев на диван к мужу, она стала уговаривать его аккуратно принимать лекарства. Затем сказала по-французски:

- Я намерена предложить тебе свое лекарство, которое всем приносит пользу.

- Хорошо, говори.

- Я более всех знаю, что ты великий христианин и строгий наблюдатель всех правил нашей Православной Церкви. Советую тебе прибегнуть к врачеванию духовному, оно всем приносит пользу и дает благоприятный оборот в тяжких наших недугах.

- Кто тебе сказал, что я в таком положении, что уже необходимо для меня это лекарство?

- Твой лейб-медик Виллие.

Александр распорядился тотчас же позвать Виллие. Когда тот явился, государь сказал повелительным тоном:

- Ты думаешь, что болезнь моя уже так далеко зашла?

Виллие смущенно подтвердил, что не надеется на выздоровление. Тогда Александр совершенно спокойно обратился к жене:

- Благодарю тебя, друг мой, прикажи - я готов.

Позвали соборного протоиерея Алексея Федотова. Но Александром овладела сонливость, и он не дождался его прихода.

Проснувшись в шестом часу утра, царь сразу спросил Тарасова, здесь ли священник. Когда Федотов вошел, Александр приподнялся на локте, попросил благословения, поцеловал руку священнику и твердым голосом сказал:

- Я хочу исповедаться и причаститься святых тайн. Прошу исповедать меня не как императора, но как простого мирянина.

Исповедь продолжалась час с четвертью. По ее окончании Александр казался ободренным и спокойно разговаривал с Елизаветой Алексеевной, Дибичем и Волконским, пришедшими поздравить его с причастием. Врачам он сказал:

- Теперь, господа, ваше дело. Употребите ваши средства, какие вы находите для меня нужными.

15-го и 16-го Александр провел в полузабытьи; у него был сильный жар. Утром 17-го наступило улучшение. День был прекрасный, солнце светило совсем по-летнему, и его лучи падали прямо на диван, на котором лежал больной. Александр велел поднять шторы и любовался игрой солнечного света.

- Какой чудесный день! - умиротворенно промолвил он по-французски.

Однако это была всего лишь последняя вспышка жизни. Уже в тот же день наступило ухудшение. Ночь государь провел в забытьи и беспамятстве, открывал глаза только на голос Елизаветы Алексеевны и изредка смотрел на распятие, висевшее на стене, крестился и читал молитвы. 18-го Виллие записал в дневнике: "Нет надежды спасти моего повелителя".

Ночь на 19 ноября Елизавета Алексеевна, свита и врачи провели у постели больного. Последнее утро в жизни Александра было пасмурным. Перед домом стояла толпа народу, молившаяся за исцеление государя. Царь угасал на глазах и поминутно искал мутнеющим взглядом жену и распятие. "Последние взоры его столь были умилительны, - пишет Тарасов, - и выражали столь спокойное и небесное упование, что все мы, присутствовавшие, при безутешном рыдании, проникнуты были невыразимым благоговением".

В чертах Александра уже не оставалось ничего земного. Дыхание его становилось все реже, и в 10 часов 47 минут утра он скончался. Ему было от роду 47 лет 11 месяцев и 7 дней; правление его продолжалось 24 года 8 месяцев и 7 дней.

Елизавета Алексеевна помолилась, стоя на коленях, перекрестила тело усопшего, поцеловала его, еще раз перекрестила и закрыла ему глаза; затем, сложив платок, подвязала

супругу подбородок. В тот же день она написала матери: "Ангел наш на небе, а я еще прозябаю на земле; но я надеюсь вскоре соединиться с ним..."

В десять часов вечера в Петербург поскакал курьер с сообщением: "Император Александр I 19 ноября 1825 года в десять часов сорок семь минут в городе Таганроге скончался от горячки с воспалением мозга"*.

* В "Истории болезни и последних минутах императора Александра Первого" приводятся следующие результаты вскрытия: "В задней части головы, как того и ожидали доктора, оказалось около полстакана воды; мозг с левой стороны почернел в том месте, которое государь указывал, жалуясь на мучительную головную боль, а артерия около левого виска перепуталась с другой жилою до того, что казалась связанной с нею вместе. Сердце в отношении других органов было мало, и его нашли окруженным небольшим количеством воды, которая могла образоваться еще до болезни; предположение это оправдывается тем, что император еще до болезни жаловался на биение сердца. Печень не представляла никаких особенностей, она была только слишком открыта и испускала много желчи... Хрящи между крестцовыми позвонками окостенели так, что между этими позвонками не видно было хряща, и казалось, позвоночный столб в этом месте состоит из одних костей. Остальные внутренние органы найдены были в нормальном состоянии".

Тело Александра было забальзамировано, однако из-за недостаточной квалификации врачей лицо его почернело и сильно изменилось. 11 декабря гроб с покойным государем, облаченным в генеральский мундир со звездой и орденами, был выставлен для прощания в таганрогском Александровском монастыре, где простоял до 29 декабря. Затем его отправили в Петербург. В последний путь Александра вез все тот же верный его кучер Илья Байков; несмотря на жестокий холод и преклонные года, он ночью ложился под карету с останками своего господина. Тарасов также безотлучно находился при гробе и несколько раз открывал его, чтобы удостовериться в сохранности тела.

13 марта 1826 года Александр был погребен в Петропавловском соборе.

После смерти Александра в народе некоторое время ходили слухи, что в Петербург был привезен гроб с куклой, а сам царь скрылся в Америку. Позже его имя связывали со знаменитым старцем Федором Кузьмичем, который якобы и был Александром, скрывшимся от мира. Здесь нет возможности говорить об этой легенде подробно. Существует достаточно исследований, убедительно опровергающих ее. Загадка Александра заключается не в его смерти, а в его жизни. Любимый внук Екатерины - и страстный ее порицатель; ученик Лагарпа и друг Аракчеева; сторонник конституции - и учредитель военных поселений; защитник польской независимости - и глава Священного союза; ревнивый централизатор - и учредитель финской автономии; поклонник женщин и "обольститель" мужчин - и мрачный меланхолик, нередко поступавший "крутенько"; самолюбивый самодержец, тоскующий по частной жизни; искренний мистик, презиравший светскую суету, и в то же время щеголь, не могший равнодушно вынести сплетню, что у него фальшивые икры; большой дипломат, принесший так мало пользы России, - вот те неразрешимые противоречия, которые поставят в тупик еще не одного историка. Александр, эта моральная жертва русской истории XVIII века - века дворцовых переворотов, еще долго-долго будет оставаться для нас русским сфинксом, коронованным Гамлетом, двуликим Янусом российской власти.